Обложка не найдена
LIB.RUSEC

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

…Если в первые годы на берегах Плещеева озера я находил стоянки на песчаных валах древнего берега, возвышающихся на два-четыре метра над озером, то, по мере того как накапливался опыт и возникали новые вопросы, мне все чаще приходилось спускаться в сырую озерную пойму…

Однако самое любопытное ожидало меня на Польце.

Копать это огромное многослойное поселение, где, словно визитные карточки, лежат черепки самых различных культур, отдаленных зачастую сотнями километров друг от друга, было трудно. Трудности возникали оттого, что подстегивали сроки: за лето надо было вскрыть большую площадь, чтобы освободить место для строительства железнодорожной станции, во всем требовалось разобраться сразу, все увидеть, сравнить, взвесить. Нельзя было остановиться, подумать, отложить на следующий сезон, чтобы вернуться с новыми силами и новыми мыслями: Вместе с тем копать было захватывающе интересно. Каждый день открывалось что-то новое — новые соотношения археологических комплексов, новые возможности истолкования прошлого, новые факты, понять которые удавалось порою спустя годы.

То было удивительное лето на берегу еще прозрачной тогда и рыбной реки, под солнцем и соснами, где прошлое переслаивалось настоящим, глубокая древность — современностью. Я рассказал об этом времени в своей книге «Дороги веков» — о том, как мы жили, копали и что находили…

Археология всегда была для меня не «наукой о древностях», как точно переводится это слово, а «наукой о прошлом», причем прошлое включало в себя не только историю человеческого общества, но и историю биосферы в целом… И потому речь здесь пойдет не столько о предметах, найденных при раскопках, сколько о закономерностях, на которые указывает анализ этих предметов; не столько о фактах, сколько о процессах, разворачивающихся на протяжении тысячелетий; не столько о следствиях, сколько о возможных причинах, истоки которых приходится искать иногда за пределами биосферы. А чтобы увидеть все это, понять, какое место в пространстве и времени занимает прошлое, ограниченное тем или иным квадратом раскопа, современный археолог должен уметь преодолевать эти границы, уметь подняться над ними, соединив в своем сознании результаты множества исследований. Вот почему сейчас я пишу не как только писатель или только археолог, а как оба они

вместе.

Андрей Леонидович Никитин.

- А. Л. Никитин
  - От редакции
  - Дороги веков
    -
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
    - 21
    - 22
    - 23
    - 24
    - 25
    - 26
    - 27
    - 28
    - 29
    - 30
    - 31
    - 32
    - 33
    - 34
    - 35
    - 36
    - 37

        - 38
        - 39
        - 40
        - 41
        - 42
        - 43
        - 44
        - 45
        - 46
        - 47
        - 48
        - 49
        - 50
        - 51
        - 52
        - 53
        - 54
        - 55
        - 56
    - Несколько слов о первобытной истории Волго-Окского междуречья
    - Географический указатель
    - Именной указатель
    - Предметный указатель
    - Оглавление
    - От публикатора fb2-версии
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16

А. Л. Никитин
Дороги веков

От редакции

Андрей Леонидович Никитин начал раскопки близ Переславля в июле 1957 года. Осенью того же года появился Переславский отряд Института археологии АН СССР.

События, описанные в книге, происходят в 1961 году. На это указывает и денежная реформа, и открытие стоянки Теремки, и, наконец, дата раскопок, названная самим Никитиным.[1]

Фамилия Афанасьевых-Кузнецовых точно не обозначена. На с. 52 Роман Иванович назван Кузнецовым, а на с. 22 его огород назван огородом Афанасьевых. Мы более доверяем первому свидетельству и потому выносим в указатель фамилию Кузнецовых. Хочется думать, товарищи из Купанского сообщат нам действительное положение дел.

***

Никитин, А. Л. Голубые дороги веков / А. Л. Никитин. — М.: Мысль, 1968. — 192 с. с илл.

Никитин, А. Л. Дороги веков / А. Л. Никитин. — М.: Советский писатель, 1980. — 232 с.

Во втором издании автор упростил свой текст, убрал некоторые важные местные детали и долгие археологические отступления. Мы восстанавливаем такие фрагменты по первому изданию (*курсивом*), когда они дают новые детали о местном быте.

В первом издании в заголовке главы стояла дата событий, и мы сохраняем это в оглавлении, хотя в поздней редакции автор просто нумеровал главы по порядку. После даты события в оглавлении стоит текстовый заголовок, и это снова фантазии редакции, добавленные для удобства читателя.

В первом издании при одной из дат даётся и день недели: 29 апреля, понедельник. По календарю это 1963 год. Как это сочетается с нашей указанной выше датой — 1961 годом — мы объяснить не можем и оставляем для догадок читателя.

Стихи, показанные отдельными главками, взяты из первого издания; оттуда же и послесловие О. Н. Бадера.

В первом издании персонаж Вадим Васильевич назван Андреем Васильевичем и определён как сын вахтанговского артиста. Таким образом, это А. В. Куз*а*,[2] сын Василия Васильевича Кузы.

Проезд Владимирова до 1928 года назывался Юшков переулок, а с 1994 года стал Никольским переулком. Мирон Константинович Шейнфинкель-Владимиров в 1924—25 годах был заместителем председателя ВСНХ.

***

В качестве опыта мы даём в именном указателе полные имена и отчества. Мы надеемся, что такой вариант будет более удобен тебе, читатель, и ты наконец-то свяжешься с нами и начнёшь **сам** составлять указатели с раскрытыми именами. Мы, признаться, от этого устаём. Пора уже и тебе что-нибудь делать!

Дороги веков

По весне, ещё самой ранней, когда с сосулек начинают срываться капли, выбивая в подоконниках частую и весёлую солнечную дробь, когда сами сосульки начинают падать и биться с тонким хрустальным звоном, а снег сереет и оседает, словно его прижимают к разогревающейся земле длинные синие тени, — по весне мне начинают сниться летние сны.

Я вижу мерцающие под солнцем голубые извивы речушек, что текут неторопливо и плавно в тени шелестящих кустов или подмывая ослепительно белые обрывы, над которыми, словно трубы янтарных органов, поднимаются звонкие корабельные сосны; вижу загорелых людей с лопатами, слышу шорох осыпающегося песка, ощущаю в руках холодное и сильное тело бьющейся рыбы и рукоятку весла, которое поёт и стонет, борясь с течением; вижу дальние закаты, когда небо наливается медью, и сонную тишину городской квартиры начинает тревожить терпкий и горький запах лесных костров.

Эти сны входят сначала робко и незаметно, скользят едва уловимыми тенями, потом приходят всё чаще, и, просыпаясь, я подолгу бездумно стою у окна, смотрю на подёрнутое влажной дымкой небо, на стаи оголтелых воробьёв, на прогалины в сквере и чувствую, как издалека, из-за горизонта долетает ко мне едва слышный шум струящейся воды, треск льдин и запах пробуждающегося от зимней спячки леса. И в сердце растёт беспокойство о дальних дорогах, о не хоженных ещё тропах, о земле, влажной и мягкой, которая готовится прорасти цветами, густыми травами, а из семечка, упавшего в снег, поднять маленький зелёный росток…

1

Настойчивый звонок будильника слабеет, гаснет, но почему-то не прекращается, словно завод бесконечен, и слабый молоточек всё стучит и стучит о погасшую чашечку звонка…

Дождь! Это он барабанит по стеклу нудно и долго, словно бы на дворе не весна, а самая настоящая осень. Серенький слабый рассвет никак не может пробиться сквозь сетку дождя, чтобы обернуться весенним днём. В такой дождь выезжать? Но проснувшиеся мысли уже успели сделать зарядку и сейчас, опережая друг друга, пытаются расшевелить ещё не пробудившееся тело: «Дождь? А на Переславль — всегда с дождём, если хочешь, чтобы там ждала хорошая погода. Сам знаешь, не первый раз так. Дождь? Это же замечательно: он съест остатки снега, проточит на озере лёд, и в реку пойдёт плотва. Так вставай же скорей, лентяй, потому что дел невпроворот и через два часа возле академического склада тебя будет ждать машина и твои спутники. Вставай!»

Машина?

Да, всё верно — сегодня уходит машина с оборудованием для экспедиции. И чертовски здорово, что её удалось получить именно сегодня, накануне майских праздников, которые уже не смогут задержать нас в Москве.

Только вот по какой деревяшке постучать, чтобы в самый последний момент машина не сломалась?

Но машина приходит к складу ровно в десять, одновременно со слабыми проблесками синевы среди лохматых облаков.

Машину грузим на проезде Владимирова. Она пришла к десяти часам, и все четверо — Андрей, Саня, Костя и я — таскаем из подвала институтского склада экспедиционное снаряжение, полученное и упакованное в ящики накануне.

Нас четверо: двое моих сотрудников, когда-то сокурсников по университету, Вадим и Саша, так сказать, костяк экспедиции, и Константин Иванович, или попросту Костя, наш общий приятель, заведующий складом, который помогает вытаскивать из подвала и укладывать в кузов снаряжение, полученное и упакованное в ящики накануне.

Раскладушки, спальные мешки, ведра, канистры, две керосинки, ящик с нивелиром, штатив, рейки… С кряканьем вскидываем вьючные ящики. Громыхают увязанные лопаты.

Кажется, всё!

Саша укладывает в кузове вещи, подгоняет плотнее ящики. Он — квартирьер и сегодня едет один. Мы с Вадимом приедем

завтра — никогда не удаётся сделать все дела до отъезда. А Саша тем временем должен всё привезти на нашу постоянную базу, выгрузить, распаковать, расставить, разложить… И наловить рыбы. Чует моё сердце, что там, на Вёксе, сверкая под ножами хозяек, уже посыпалась на мостки первая весенняя чешуя!

Костя привычным глазом досматривает — всё ли взято. Я проверяю по списку:

— А мотор-то вы, братцы, что же?

Вот-вот, чуть самое главное не забыли!

Поднатужившись, втаскиваем в кузов ящик с новым, ещё не распечатанным подвесным мотором для лодки. Этим летом я собираюсь копать в нескольких местах, а потому скрепя сердце впервые соглашаюсь на мотор: конечно, на вёслах тише и без хлопот, но не очень-то разгуляешься.

— Теперь ты кустарь-одиночка с мотором! — шутит Костя.

— Всё, начальничек! — Саша выпрямляется в кузове и отирает вспотевший лоб. — Давай говори речь, и в путь!

Подобрав полы новенького плаща, он спрыгивает на землю, затягивает завязки у брезента и поднимает задний борт.

Всё новое — новая машина, новый брезент, новый плащ на Саше, новая, ещё блестящая фабричным глянцем кирзовая сумка, которая сползает ему на живот, когда он наклоняется, новые кирзовые же сапоги. И новая экспедиция. Пока я доволен её составом. И не потому только, что два человека, с которыми мне придётся делить радости и невзгоды грядущих дней, знакомы мне ещё по университету. Нет. Дело здесь в ином.

Как известно, никто не может объять необъятное. Каменный век, эпоха первых металлов — вот «моё» время. Я не заглядываю в предшествующие тысячелетия великих оледенений, пытаясь разобраться только в последующих веках — от появления первой глиняной посуды до того, как человек научился обрабатывать железо. В здешних краях это произошло, по-видимому, в начале или в середине первого тысячелетия до нашей эры.

Дальше «эстафету», если таковая случится, должен подхватить Саша. Железный век — «его» эпоха. Он занимается загадками племён, лишь малая часть которых отмечена в первых строках русских летописей или упомянута в записках восточных купцов и путешественников. Да и как было этим людям привлечь к себе внимание спешащих за прибылью иноземцев, если жизнь их была простой и мирной, такой незамысловатой на первый взгляд?

Они распахивали свои маленькие, усыпанные валунами поля, охотились в окрестных лесах, ловили рыбу в озёрах и реках, выпасали по весне на сочных поёмных лугах небольшие стада;

они понемногу обживали скудную лесную землю, расчищали её, протаптывали дороги, рубили маленькие посёлки и укреплённые городки, торговали пушниной и мёдом с заезжими купцами, редко-редко собирались в набег на соседей, если уж те начинали особенно досаждать…

Теперь же, оглядываясь на то время, мы видим, что за тысячелетие с небольшим подобной жизни они без особого шума и помпы, не привлекая ничьего внимания, смогли заложить именно ту основу, на которой меньше чем в полтора столетия возникла и расцвела Северо-Восточная Русь.

Но это уже по ведомству Вадима, который занимается исключительно славянами.

Курганы, городища, летописи, повествующие о спорах и сварах князей то за наследство, то за престолы, то просто потехи ради, «заставы богатырские», русские города, зажжённые татарскими стрелками, берестяные грамоты, древние волоки на торговых путях — да можно ли перечислить всё, что приберегает для археолога прошлое и с чем так или иначе можно столкнуться при раскопках? А ведь переславская земля — одна из тех «срединных» древнерусских земель, историю которых мы знаем куда как плохо! Вот и уговорил я обоих своих знакомцев хоть часть этого лета, до начала их собственных экспедиций, провести на переславской земле, куда я отправляюсь ежегодно, а они — лишь изредка, разве только на весеннюю рыбалку.

Да, вот ещё что… Порывшись в своём портфеле, я вручаю нашему квартирьеру флаг экспедиции: на белом поле, сшитом когда-то из двух белых коллекционных мешочков, синяя диагональ — «полуандреевский флаг», как иронизируют мои друзья. Почему бы и нет? Каждое утро флаг этот водружается на раскопе, а в плавании развевается на носу лодки.

Если у экспедиции есть начальник, то почему не быть у начальника личному штандарту?!

— С богом! — командую я, и через минуту машина медленно выкатывается со двора в переулок. Ещё поворот — и её зелёный брезентовый верх исчезает в потоке московских машин.

Экспедиция началась.

2

Началась экспедиция? Мне кажется, она началась не сейчас, а ещё давным-давно, в незапамятные времена студенческих лет. И виноват во всём был дождь, тоскливый и беспросветный.

Накануне было тепло и ясно, озеро лежало свежевымытым зеркалом, и летняя ночь обволакивала мою палатку в Урёве заботливой звёздной тишиной. И кто бы подумал о таком коварстве? Лёгкие, неслышные капли оседали на брезент росой, потом осмелели, били чаще и чаще, набирали силу, и под утро я проснулся уже в шуршании мелких капель, зарядивших не меньше чем на неделю.

С рассветом серая пелена приникла к овалу Плещеева озера, скрыла его, и только колышущаяся кромка воды чмокала и лизала низкий песчаный берег.

Моего терпения хватило только на два дня. Ещё четыре я отсиживался и отсыпался в тесной, но тёплой избушке Новожиловых, стоявшей у самого истока Вёксы из озера, играя в подкидного дурака с такими же, как и я, застигнутыми непогодой рыбаками.

По ночам нас донимали тараканы.

Дождь прекратился только в воскресенье, уже к вечеру. Пелена туч, подворачивая край, как подол, медленно сползала на восток, и небо на западе становилось тёплым и чистым.

Вытащенная за ненадобностью на берег старая хозяйская лодка текла по всем швам. И всё же она оказалась достаточно крепкой, чтобы рискнуть отправиться на ней вниз по реке за хлебом и керосином в магазин.

Солнце садилось за дальним лесом. От воды поднимался пар, лес был полон влажной, булькающей тишины, и река, поднявшаяся в берегах, медленно влекла старую лодку через вскипающие водовороты и притихшие перекаты.

Редко на какой карте, только уж очень подробной, можно увидеть короткую синюю змейку Вёксы, что тонкой голубой тропкой бежит из Плещеева озера в лесное озеро Сомино. Там она словно набирается сил после короткого отдыха и дальше к Волге бежит уже Большой Нерлью, расталкивая берега, набирая глубину, шевеля колёса у мельничных плотин.

Теперь по Вёксе спускаются на байдарках туристы, местные жители возят на лодках сено, дрова, гуляют по воскресным дням, заливаясь рёвом моторов… А ведь ещё совсем недавно, какие-нибудь пятьсот-шестьсот лет назад, вот эта Вёкса была частью важной, чуть ли не главной дороги с Верхней Волги — от Твери,

Ржева, Углича — во ВладимироСуздальскую землю. Стоял тогда на Плещеевом озере загадочный древний город Клещин, потом, уже на Трубеже, встал Переславль-Залесский, первым из всех окружающих городов и княжеств «потянувший» к Москве… И, скользя теперь по безмолвной, зарастающей речке, ведомой лишь рыболовам и охотникам, приезжающим в эти края, словно повторяешь древний путь из Ополья в Залесье.

То далёкое лето было для меня не первым на Переславщине.

Я приезжал сюда ещё в школьные годы как рыбак и охотник, бродил здесь с ружьём по осенним болотам, взбирался над озером на крутые холмы, изрытые оспинами от раскопанных некогда курганов, успев полюбить густые дебри лесов и тоскливую жуть холодных болот, синие просторы вод и сияние белых стен старинных монастырей над городом.

Я ходил по этой земле, приглядываясь, принюхиваясь к тревожным лесным запахам, учась отличать в их общем порыве сладковатый и душный запах болот от свежести и чуть уловимой йодистости озера, долетающей с ветром из-за холмов. Смола корабельных рощ плавилась на солнце с мёдом цветущего вереска; яркие метёлки иван-чая вспыхивали между деревьев на вырубках, где, наклоняя головки цветов, суетливо гудели мохнатые шмели. Перескакивая с ветки на ветку, над моей головой цокали рыжие длиннохвостые белки, а из-за поворотов реки поднимались, всплескивая крыльями, тяжёлые ожиревшие утки…

Но всё это оказалось началом, как бы подготовкой сцены с её самыми первыми статистами.

Взглянуть новыми глазами на этот, казалось, такой знакомый, исхоженный край помог мне Пришвин — та его тоненькая, трогающая вниманием к окружающему миру книжка, которую он назвал «Родники Берендея». Я читал её и перечитывал, сравнивал прочитанное с виденным и однажды поймал себя на мысли, что я, археолог, не знаю здешней переславской археологии. Впрочем, археологии ли? Вернее — той земли, по которой хожу. Правда, тогда я по-настоящему не стал ещё археологом. Время моё ещё как бы не обрело своей «полноты»…

Стать кем-то… То есть перестать быть прежним? Стать иным? Для этого требовалось нечто большее, чем одно знание.

Раскапывая, расчищая в Новгороде остатки дома на Холопьей улице, я без трепета и волнения ходил по деревянным мостовым четырнадцатого века. Ни обломки глиняных горшков, которые по вечерам, оставшись после работы, я зарисовывал на карточки по просьбе одного из знакомых археологов, ни редкостные вещи,

некогда завезённые на новгородскую землю «заморскими гостями», ни — что греха таить! — даже знаменитые берестяные грамоты «…от Анфима», которые только ещё начинали попадаться и которыми бредила тогда вся экспедиция, не трогали моё воображение. Чужды и холодны показались мне на следующий год раскалённые закавказским солнцем руины Аринберда и Кармир-Блура с их величественными контрфорсами, сырцовыми стенами, узкими, засыпанными землёй коридорами, с их бронзовыми щитами и распадающимися от ржавчины мечами в древнеурартском цейхгаузе, с грудами красно-лощёных кувшинов в дворцовых кладовых, хранивших на пористыхстенках лёгкую изморось вина почти трёхтысячелетней давности.

Во всём этом чего-то не хватало. Чего?

Наверное, людей. Тех, кто создавал эти вещи, жил с ними, вкладывал в них частицы своих судеб.

Это не романтика. В этом и заключена настоящая наука, только путь к ней не каждый может увидеть сам, а подсказать, показать его… для этого тоже ведь необходим талант. Вот почему, когда мне показывали проржавевший, сточенный нож с костяной рукояткой, на которой чернели круглые глазки узора, — нож, который, быть может, держал, поигрывая, в своих руках сам Василий Буслаев, — и советовали запомнить его форму, размеры, орнамент, я ощущал в себе как бы внутреннее сопротивление: зачем? Чтобы знать? Но само знание — для чего оно? И когда я зарисовывал древний лощёный кувшин, у которого следовало запомнить изгиб ручки и форму носика, мысль моя устремлялась совсем на иное — кто и что пил из этого кувшина?

Да, археолог должен знать вещи — их форму, материал, из которого они сделаны, способ изготовления, но при этом должен помнить, что всё это только ниточка, с чьей помощью он обязан идти дальше, к людям, к Человеку, на котором, как лучи, собранные линзой, сходится всё, что было раньше и делается сейчас. Вот почему, ещё не постигнув этой простейшей из истин, я бился о стены науки, как бьётся в поисках выхода бабочка, залетевшая из темноты под сияющий колпак абажура. И меньше всего мог думать, что на пути этих исканий меня захватит «камень» — тот каменный век, мимо которого так резво пробегали посетители музеев и мы, студенты, сдававшие когда-то основы археологии.

Время это казалось мне совсем сухим и безликим. Камень я с детства любил иной, сохранивший свои первозданные краски и грани — не тронутый человеком, такой, каким открывается он на изломе под волнующим ударом геологического молотка.

А здесь — битый камень. Интересно? Ну-ну…

Тут-то и сыграл свою роль Пришвин.

Как-то вдруг оказалось, что каменный век находится не где-то далеко, за тридевять земель, а лежит здесь же, под боком, на Вёксе. Во всяком случае, если и не самый «век», то оставшаяся от тех времён неолитическая стоянка Польцо, которую видел М. М. Пришвин, вместе с краеведами путешествовавший «на попе»[3] по рекам залесской земли. И так зорко, так точно этот опытный наблюдатель и странствователь перекинул мостик из настоящего в прошлое, описав в «Родниках Берендея» и раскопки, к своё пробуждение на следующее утро, и размышление о плотве, что всё это мне захотелось пережить и увидеть самому.

Но где оно, это Польцо?

Найти его помог Виктор Новожилов, сын хозяйки дома, в котором в тот раз я спасался от непогоды.

Виктор не любил разговоров, трудно сходился с людьми, когда не было дела по дому, взяв острогу, отплывал в тростники, чтобы колоть рыбу. Медлительный, угрюмый, с голубой мутью от болезни в глазах, он работал мотористом на торфопредприятии и потому каждое утро отправлялся в посёлок на работу на лодке. Он захватил конец войны, вернулся контуженым, и с тех пор по вечерам, когда в доме зажигали керосиновую лампу или уже ложились спать, его вдруг бросал на пол тяжёлый, долгий припадок, на губах выступала пена, закостеневало тело, руки и ноги сводило в отчаянной судороге. Несколько раз его пытались лечить, он ложился в больницы. Но через год-полтора по возвращении домой его глаза незаметно начинала заволакивать мутная голубая пелена, он становился мрачнее, молчаливее, сторонился людей, словно прислушиваясь, как где-то внутри его просыпается и растёт то страшное и неотвратимое, от чего его безуспешно пытаются вылечить врачи.

Мне казалось, что и в озеро он уходит с какой-то тайной надеждой найти излечение; что гнёт и крутит его не болезнь, а воспоминание о войне, о том, что было пережито, как взрыв, что вырвал его однажды из числа живущих, и с тех пор он всё ищет и ищет дорогу к людям, и успокаивается, и верит, пока снова не охватит его серая мгла войны.

Знакомы с Виктором мы были и раньше, но только теперь, за дни вынужденного дождливого плена, Виктор привык ко мне. Мы вместе спустили в тот день старую лодку с берега, и теперь, вычерпывая из неё воду, я вспомнил о Пришвине и спросил Виктора, стоявшего рядом, не знает ли он здесь место, называемое Польцо. То самое, где когда-то вели раскопки.

— Да как же не знать? — улыбнулся он неожиданно широкой и доброй улыбкой. — Это же у моста, знаешь, где узкоколейка? И

раскопки помню, сам работал мальчишкой перед войной. Высокий такой археолог приезжал, Пётр Николаевич его звали… [4] Вот подумай, сколько лет прошло, а помню, как его зовут! Мы, мальчишки, все у него копали. Иглу костяную с зубьями нашли. А черепков там и сейчас много, с дырочками, такие они все… Говорили, что там люди первобытные жили, а черепки — от горшков ихних. Да тебе там всякий покажет! И ямы ещё видны, у самого моста. Знаешь Бочковых? Вот справа у тебя огород Бочковых будет, а напротив как раз оно, Польцо это…

Мост я знал. Вернее, тогда там было два моста через Вёксу — обычный, для телег и машин, и железнодорожный, с одной колеёй. Два раза в сутки пробегал по узкоколейке в Переславль маленький, почти игрушечный паровозик с несколькими вагончиками торфа. Возле мостов берега Вёксы повышались. Обрывалась чащоба ольхи, ивняка, мелкого осинника. На правом, более высоком берегу начинались дома посёлка. Напротив, на левом берегу, низком, но сухом, от воды шла ровная зелёная лужайка, за которой поднимался молодой соснячок.

Особого впечатления место это на меня не произвело, и, побродив по берегу, я отправился по тропке в магазин, привязав лодку к мостку возле огородов. Там она и стояла, дожидаясь меня и медленно наполняясь водой.

На обратном уже пути, спускаясь к лодке, я споткнулся о корень сосны, длинной узловатой змеёй перебегавший дорогу. Рядом с ним на прибитом дождём песке лежал черепок, покрытый мелкими ямками, словно отпечатками крупных дождевых капель, — первый неолитический черепок, который я нашёл сам. Чуть поодаль виднелся ещё один и ещё…

Что же, значит, стоянка была не только на левом, но и на правом, более крутом берегу, где никто не копал? А если посмотреть на огородах, где нет дёрна, где всё должно лежать на поверхности?

…Назад я отплывал уже затемно. Поднявшаяся луна протянула по плёсам жёлтый струящийся след. На носу лодки под сумкой с хлебом стояло старое дырявое ведро, которое нашли для меня сердобольные хозяева огорода. Оно было доверху наполнено обломками кремня, черепками, какими-то неведомыми мне орудиями, обломками костей — всем тем, что я успел найти и собрать на грядах и в междурядьях огородов.

Беззвучно расходились круги на плёсах, в тёмной воде тускло мерцало плотное серебро язей. Под днищем бормотно журчала вода, рассказывая о чём-то своём, ворчала и сопротивлялась, когда я сильнее нажимал на весло. А на одном из поворотов резко зашуршали тростники, пропуская тяжёлое тело, и из чащи

выдвинулся горбатый силуэт лося. Он замер, смотря на приближающуюся лодку, затем с храпом втянул воздух, повернулся и скрылся в кустах. И тогда до дрожи в спине я вдруг почувствовал, что не лось, а новый мир, суровый и прекрасный в своей силе и неизбывной юности, принял меня к себе на одном из поворотов маленькой лесной речки…

С Новожиловыми я простился на следующий день — он был солнечным, лёгким, только раз осыпал меня кратким и крупным ливнем.

К Переславлю я шёл вдоль узкоколейки по противопожарной борозде, прорезанной в почве широким плугом. Почти двухпудовый рюкзак с первыми находками оттягивал плечи. Наклонившись, я смотрел, как меняется под ногами цвет песка, как из белого он превращается в темно-кирпичный, потом сменяется ярко-оранжевым или жёлтым; как то там, то тут начинают мелькать в нём отщепы кремня. И, наконец, пройдя полтора километра от Польца, вместе с двумя неолитическими черепками я поднял маленькое кремнёвое сверло.

Передо мной лежала ещё никому не известная древняя стоянка. Примерно в полукилометре дальше я нашёл ещё одну.

Они-то и решили мою судьбу.

За эти несколько часов во мне что-то изменилось. В Москву я вернулся не тем человеком, каким из неё уезжал. Последующие две недели с яростью желания понять и постичь я рассматривал, изучал, обнюхивал, чуть ли не вылизывал каждую кость, каждый черепок, каждый обломок кремня из тех, что были подняты мной на берегу Вёксы. Я не хотел обращаться за помощью ни к книгам, ни к археологам-первобытникам, которые могли бы за какие-нибудь пять-десять минут в перерыве между занятиями растолковать «секреты» моих сокровищ. Рассказать, показать, объяснить. Меня это не устраивало. Это было бы таким же чужим знанием, что и раньше, и я ушёл бы успокоенным, немного разочарованным, охладевшим к разноцветным кускам кремня, каждый из которых теперь представал передо мной волнующей загадкой, дразнящей распалённое воображение. Нет, я сам хотел проникнуть в тайны этих осколков, понять заключённые в них закономерности, догадаться о назначении и принципах действия каждого из этих орудий, чтобы вот так, без толмачей и экскурсоводов войти в мир, который мне ещё предстояло открыть.

Вероятно, так каждый ищет себя.

И только разобравшись, убедившись в правильности понятого, я вернулся снова на берега Плещеева озера. Туда, где меня ждали не открытые ещё стоянки…

3

«Разве не скучно из года в год возвращаться в одно и то же место?» — спрашивают иногда меня знакомые.

Скучно? Нет, скорее наоборот. Впрочем, каждому своё: одним — постоянная смена впечатлений, другим — постоянство привязанности.

В знакомые места возвращаешься так же, как возвращаются к друзьям, к затронувшей тебя однажды и навсегда вошедшей в твою жизнь книге, как возвращаются к любимой женщине, в которой каждый раз открываешь для себя что-то новое… Сказывается здесь склад характера, взгляд на мир, а может быть, и возраст и опыт, научающие тебя не обращать внимания на движения внешние, случайные, пространственные, за которыми глазу твоему постепенно начинают открываться другие движения, внутренние, как бы сомасштабные твоей собственной сути, за которыми, в свою очередь, начинаешь постигать не только окружающее, но и самого себя.

Не так ли возвращаюсь я каждый раз на Плещеево озеро?

Удивительный этот край, не потерявший ещё своего таинственного очарования, я начинаю ощущать, лишь только вдали над автострадой возникает как бы парящий в воздухе до неправдоподобия огромный храм в селе Новом, от которого открывается извилистая и глубокая долина Кубри, воспетой ещё в начале прошлого века Д. И. Хвостовым, а в некотором отдалении, на холме, — поредевшая аллея и остатки усадьбы этого незаслуженно забытого бескорыстного служителя и почитателя нашей отечественной словесности.

Не он ли и поставил на этом месте храм, оказавшийся памятником более прочным, чем его пиитические опыты? Не знаю. До сих пор не удосужился остановиться здесь, походить, поспрашивать… Но геодезисты, спрямлявшие старый тракт, пустили новое шоссе, держа крест храма на пересечении визиров своих теодолитов, и тут произошло чудо.

Издали этот храм кажется величественным и необъятным. Однако чем ближе подъезжаешь к нему, тем непритязательнее глядят на тебя его обшарпанные колонны, поржавевшая жесть куполов, выщербленные стены. Но вот, обогнув храм и оставив его позади, когда скрываются детали и расстояние как бы пресекает возможность запанибратского разглядывания, обернувшись, снова дивишься и дивишься ему, как волшебному замку, который словно не удаляется от тебя, а растёт и растёт над прорезью дороги, прямой ниткой протянувшейся сквозь лиловую

весеннюю чащу леса.

Дальше, дальше… Мелькают деревни, поля, перелески, вспыхивает и пропадает в зелени сосняка красный кирпич шатра часовни над давно не существующим крестом, который был поставлен Иваном Грозным на месте рождения слабоумного Фёдора Иоанновича, вспучится последним горбом шоссе — и над окрестными полями, лесами и затаившимся на дне долины городом вдруг повисает огромный овал озера.

Переславль вытянулся не только вдоль большой дороги. Он протянулся вдоль всей русской истории.

В память далёкого Переяславля Южного, спорной «вотчины» Мономаховичей, Юрием Долгоруким поставлен был здесь город на речке с забытым названием, переименованной в Трубеж, словно бы каждый Переяславль, как и этот, потерявший в столетиях московско-ярославского говора срединное «я» и превратившийся просто в Переславль-Залесский, должен был стоять на Трубеже — «рубеже», «его же не прейдеши». Как всё то было доподлинно, мы вряд ли когда-либо узнаем, но именно этому Переславлю суждено было стать одним из краеугольных камней, на которых в дальнейшем созидалось, взрастало и крепло Московское княжество, ставшее сердцем и средоточием Русской земли.

Всё повидал на своём веку Переславль: княжеские усобицы, торжественные съезды и примирения, выборы великих князей, убийства, разорения. Земля его почти не тронута раскопками. Его культурный слой никем ещё не изучен и не измерен, как не измерен вклад в то, что мы именуем «русской культурой».

Здесь переписывали и составляли летописи, здесь какой-то неизвестный интеллигент XII века, поражающий до сих пор живым юмором своего почти скоморошьего языка, приспособил для современной ему злободневности сборник византийских афоризмов и пословиц, превратив его в «Моление Даниила Заточника». И здесь всего только век спустя, составляя житие великого князя Александра Ярославича Невского, другой начитанный книжник сохранил для нас знаменитый отрывок «Слова о погибели Русской земли», сделав его торжественным вступлением к героическому жизнеописанию знаменитого переславского князя.

То новгородцы, то тверичи подступали к Переславлю воевать северную крепость Владимиро-Суздальской земли. Сжигая и разрушая, волнами накатывались на город татарские орды, уводя в полон переславцев. В начале XVII века опустошали край отряды Сапеги и Лисовского. Отсюда они бежали, выбитые войсками Скопина-Шуйского и народным ополчением Минина и

Пожарского. Здесь, на этих древних берегах, в «потешных» играх долговязого царевича, а потом «царя-хозяина», Петра I, рождалась будущая слава русского флота.

И всё начиналось от Трубежа, от городского вала, который неправильным кольцом более полукилометра в диаметре обегает место древнего города. Время и люди пощадили вал. Рассчитанный на века, а не на годы, он был слишком велик и слишком прочен, чтобы его можно было легко снести, взорвать, стереть с лица земли, забыв своё прошлое.

Внутри его, как и прежде, теснятся дома; от причудливых барочных зданий бывшего Богородицко-Сретенского монастыря весенний ветер порывами доносит сочный запах свежеиспечённого хлеба; в огородах по весне переславцы выкапывают то ядро, то обломок меча, то маленькие чёрные кубышки с россыпью мелких серебряных копеек — напоминание о жизни далёкой, странной, не всегда понятной, но неразрывно связанной с каждым из нас, обязанным своим существованием не сиюминутности, а именно тем далёким векам…

Когда-то у этих валов останавливались на отдых караваны, идущие в душистые страны Арабского Востока, в Волжскую Булгарию, на Каспий — с мёдом, пушниной, воском, хлебом. А оттуда везли богатые узорчатые ткани, затейливые украшения из ярко сверкавших камней, отливающее голубой дымкой дорогое оружие.

…А на центральной площади у автобусного павильона — шум и суета, покидающие это место только с сумерками.

Изгородь новая — раньше просто был откос к реке. Теперь под жестяными табличками степенно выстраиваются красные, белые и жёлтые автобусы. Охая, вылезают бабки с мешками и бидонами. Кто-то провожает, кого-то встречают. Не спеша, скрипя подвёрнутыми резиновыми сапогами, сходят рыболовы в разномастных выгоревших плащах; заляпанные краской этюдники и буйноволосье выдают художников. Солдат-отпускник бежит ловить только что подъехавшее такси…

На зелёных, незастроенных берегах Трубежа под охраной валов открывались ярмарки, начинался весёлый и буйный торг, где покупатель — мужичок-переславец или осанистый и хитрый рыжебородый монах в подоткнутом подряснике и смазных сапогах — хотел купить подешевле и продать подороже, а не менее хитрый и жилистый купец-тверитянин, привёзший свой товар на больших, из досок шитых ладьях, стоящих у берега, божился и торговался, бил по рукам, плевал на землю, пускал пыль в глаза и, наконец, закончив сделку, отправлялся со вспотевшим покупателем пить сбитень под соседний навес…

И по этому же пути сюда, с Волги, поднимались суда, груженные белым камнем для жемчужины Переславля — Спасо-Преображенского собора.[5]

Строгий, скромный, одноглавый, похожий скорее на крепость своими узкими окнами бойницами, чем на храм, он высится возле самого вала — сердце древнего города, которое, по свидетельству летописи, князь-градостроитель «дивно наполнил» книгами и сокровищами ювелирного искусства. Смотря на него, каждый раз я невольно отмечаю его удивительную простоту и гармоничность — простоту, идущую от какой-то огромной сложности предшествующего опыта, что перекликается с совершенной гармонией окружающей его природы.

Мощные каменные стены, способные выдержать и удары каменных ядер, и первый натиск стенобитных машин, лишены затейливых узоров, покрывающих Георгиевский собор в Юрьеве-Польском, или фигурных композиций Дмитриевского собора во Владимире над Клязьмой. Нет, Спасо-Преображенский собор стоит на этой земле суровым воином, поднимая над бруствером вала только одну каменную главу с золочёным шлемом, — стоит воином, готовым к ежеминутному отражению врага.

Не повезло ему! Ещё в начале нашего века внутри собора жива была вся его древняя роспись, такая же, как те остатки, что с благоговением перед творчеством безымянных мастеров двенадцатого века показывают посетителям на хорах Дмитриевского собора во Владимире. Позабыв, что «лучшее — враг хорошего», накануне первой мировой войны реставраторы решили всю отстающую от стен штукатурку с живописью, для её лучшей сохранности, снять со стен, чтобы потом, укрепив и реставрировав, водворить на прежнее место.[6] Снять-то сняли и в ящики сложили, но началась одна война, за ней пришла вторая, а там, в годы строительства и коллективизации, было уже не до древних фресок с изображениями святых и князей российских… Так и остались голыми стены, споривше по красоте некогда с фресками погибшей Нередицы под Новгородом.

Город горел, разрушался, вновь отстраивался на пепелищах, но неприкосновенной оставалась вечевая площадь.

Здесь объявляли указы. Здесь князья целовали крест перед народом. Здесь висел колокол, собиравший дружину и ополчение на защиту родной земли. Отсюда под звон переславских колоколов в 1380 году уходили полки переславцев под знамёна Дмитрия Донского для решающем схватки с Мамаем. И отсюда же в 1941 году переславские добровольцы уходили на Великую Отечественную войну…

4

Острый, выбивающий слёзы из глаз, несущийся с озера ветер, пронзительно синее небо, слепящее солнце…

Далеко под Криушкином белеют остатки весенних торосов, громоздящихся возле берега: истаивает последний лёд.

Весенней свежестью сверкает над Подгорной слободой Горицкий монастырь, а вдали, на берегу озера, чернеют маленькие фигурки удильщиков, зашедших по пояс в воду.

К Вёксе, Усолью и дальше на Копнино и Нагорье, к Волге протянулось шоссе. Между ним и берегом озера легла узкоколейка. Когда-то по ней курсировала знаменитая дрезина, переделанная из фюзеляжа «Дугласа», без расписания, от оказии к оказии; теперь возле платформы стоят несколько зелёных вагончиков, в которые набиваются и свои, местные, и приезжие рыболовы, стремящиеся на Вёксу.[7]

Это было два часа тому назад.

…И вот — всё позади.

Мы сидим за столом в чистой просторной комнате, словно налитой янтарным светом жёлтых, сочащихся смолой брёвен. Тряпичные половики смягчают скрип подошв и половиц. Саша, торжественный и важный квартирьер, успевший к нашему прибытию всё прибрать и расставить, не забыл даже веточки в банке, осторожно раскрывающие прозрачные клейкие листочки.

Роман Иванович, хозяин дома, сидит напротив, положив на стол свои большие руки с крошками чёрной весенней земли под ногтями. Жилистый, высокий, с большим хищным носом и щетинистыми, глубоко запавшими щеками, с резкой границей загара на лбу от вечно надвинутой на глаза потёртой ушанки, он вглядывается в нас острыми, цепкими глазами и время от времени покрикивает и ворчит на Прасковью Васильевну, которая хлопочет в кухне у печки.

Для порядка. Чтобы показать, что в этом доме — он хозяин.

— А я тебя, Ленидыч, вчера ждал, даже маленькую приготовил. Иду домой вечером, смотрю — машина у дома стоит. Ну, думаю, приехал! А ты, оказывается, Лександра Сергеича заместо себя прислал. Вчера, слышь, Петька Корин плотвы пуда два взял, вот и пожарили на сегодня… Что ж это, больше никого у тебя народа и не будет?

— Пока, Роман Иванович, не будет. Здесь остальных наберём. Так, говоришь, плотва пошла?

— Вот только вчера и пошла, аккурат к твоему приезду. Ты ведь знаешь, когда приезжать! Словно тебе в Москве кто

говорит…

— И то хорошо, с рыбой будем… Ну а жизнь — как она, Роман Иванович?

— Да что жизнь?! Она, знаешь, всегда одинакова: если не ты на ей, то она на тебе едет, ещё всю холку сотрёт и под зад даст, чтобы быстрее бежал… Под Новый год боровка заколол — помнишь, тот год выращивал? Что сразу продал, а остальное присолил, сейчас едим, в магазин не ходить… Корова отелилась, тёлку оставили. Да Лидка наша замуж выскочила. Небось ты и не заметил, что её нет?

— Это за кого же? Вроде бы разговоров прошлое лето не было…

— А они теперь без разговоров, раз-раз и готовы, — начинает Роман, но его перебивает Прасковья Васильевна, вошедшая в комнату с шипящей сковородкой золотистой, умопомрачительно пахнущей плотвы:

— С Кубринска паренёк один, на мотовозе работает. И такой, я скажу, хороший паренёк, такой славный… ровесник ей. И не пьёт! Вот ждём, сегодня али завтра приехать обещались…

— Тебе только и хорошо, что не пьёт, — недовольно замечает Роман. — Такой же, как они все, не хозяин!

— Что ж, скоро прибавления ждать?

— Это их дело, а мы и так уже в дедах ходим. Вот у Константина… — начинает рассказывать Прасковья Васильевна о внучке, но Роман, отмахнувшись, перебивает её:

— А ещё, Ленидыч, что-то я болеть начал. И ноги ломит, и сердце прихватывать стало…

— Пил бы меньше, вот и здоров бы был! — не утерпевает вставить Прасковья Васильевна.

— А тебя, мать, не спрашивают, сколько мне пить! — уже всерьёз рявкает Роман, но, спохватившись, сбавляет тон: — Огурчиков лучше бы принесла гостям, чем без дела пустые слова говорить!

— И то правда! — спохватывается Прасковья Васильевна. — Закрутилась совсем, забыла… Вот сам бы и принёс!

К Роману я приезжаю уже третий год. Он выстроил этот дом, новый, рядом со старым, который теперь отдал Павлу, младшему сыну. Дом на берегу Вёксы, рядом с Польцом, откуда доносятся постоянные гудки паровозов и мотовозов.

От былой тишины, от безлюдья не осталось теперь и следа. У Ведомши, в самом непроходимом и глухом лесном углу вырос посёлок Кубринск. Новая узкоколейка соединила все посёлки с железной дорогой, и теперь через Польцо на Беклемишево идёт эшелонами торф. Разрабатываются «кладовые солнца». На левом

берегу Вёксы, на Польце, построили узловую станцию. Проложены маневровые пути, на месте маленькой будочки выросла двухэтажная диспетчерская, мастерские… Спасти стоянку не удалось — только чуть отнесли от реки строения. Поэтому и начинает работу наша экспедиция: на средства торфопредприятия нам предстоит исследовать оставшуюся часть древнего поселения, на которую скоро лягут неровные клавиши лёгких шпал и пройдёт водопровод от реки.

Не всю эту часть — разве что одну десятую…

— А как лодка, Роман Иваныч, на плаву?

— Сегодня доделаю. Всё руки не доходили! Вот крыльцо настелил, теперь огород… Я её, как письмо твоё получил, на берег вытащил, чтобы просушить да просмолить, а тут, как на грех, дожди пошли. Сегодня закончу. И вар и кочергу достал… Вот пойдёте на рыбалку сейчас, а я и примусь. Ну, чтобы все здоровы были, а ты своих черепочков накопал!

5

Все майские праздники пропадаем на реке. Идёт плотва.

Вместе с последними льдинами, которые изредка шуршат на воде, толкаясь и крошась о берега, в узкое горло Вёксы валом валит плотва.

Она идёт из Плещеева озера к своим древним нерестилищам, беспокойная, страстная, а на Вёксе, встав плечом к плечу на топких, полузалитых паводком берегах, ждут её сотни удильщиков. Со свистом прочерчивают воздух лески, и поплавки — белые, красные, пробковые, длинные перьевые, пенопластовые и пластмассовые — то глухо, то звонко чмокают серую холодную воду.

Поплавок выныривает, покачивается, устанавливаясь на воде, но вдруг мягко и решительно уходит вниз. Подсечка — и вот уже из глубины извлекается изумлённая холодная плотва. Несколько секунд она висит на крючке неподвижно, потом начинает отчаянно биться, дёргается; рыболов откидывает её подальше на берег, в траву, ловит и падает на колени в воду, чтобы не упустить это сверкающее на солнце чудо.

Кто-то провалился по пояс в воду, кто-то перепутал удочки, у кого-то кончился мотыль. Возгласы восторга, шутки, брань… Весеннее священнодействие!

Мы заняли наше обычное место, на повороте.

Струя, разбиваясь о берег, расходится здесь двумя потоками — в заводь, где промыта глубокая яма, и дальше, вниз по реке. Вадим стоит по колено в воде, нащупав в иле затонувший пень. Садок подвязан к его поясу, он методично забрасывает мотыля то в одну, то в другую сторону. Саша — слева от него, ближе к заводи. Он балансирует на проседающих кочках, старается не зачерпнуть воды сапогами, искоса поглядывает на нас. Клюёт у него явно хуже, но килограммов восемь уже есть.

Я закидываю в самый водоворот, доверяясь струе основного течения.

Заброс, поклёвка, рыба, насадка, снова заброс…

Идёт ледянка — плотва, приходящая со льдом. Крупная, с ладонь, холодящая разгорячённые руки, она тяжела от распирающей её икры, и бьётся, и ворочается в сетке садка. Она подходит стаей, когда только успеваешь вытаскивать и насаживать, потом небольшой перерыв — и уже новая стая. Иногда встречаются тёрочники, молочники — самцы с жёсткой, как мелкая тёрка, чешуёй и вспухшими синеватыми бугорками на массивной голове. Они беспокойны и начинают упираться, когда

ещё тащишь их из воды.

Откуда-то сверху, со стороны озера, нарастает и перекатывается вниз по реке, от рыбака к рыбаку, ликующий крик:

— Язь!.. Язь пошёл!..

И как бы в подтверждение Андрей вдруг начинает чертыхаться, тянет удилище, оно гнётся, тонко поёт леска, он отступает назад, проваливается в воду, тянет, и вот уже у самого берега, отчаянно плескаясь и мотая удилище из стороны в сторону, на мгновение показывается сильное широкое тело. Ещё, ещё… Ноги Андрея вязнут в иле, сапоги давно полны воды, но он не сдаётся; мы с Саней бросаемся ему на помощь, и на траве, сорвавшись с крючка и стремясь прорваться к воде, отчаянно бьётся серебряный красавец. Андрей с воплем шлёпается прямо на него и прижимает животом. Поймал!

И, словно подтверждая, Вадим вдруг начинает поминать чёрта, тянет удилище, оно гнётся, тонко поёт леска, он отступает назад, проваливается в рытвину, тянет, и вот уже у самого берега, отчаянно всплёскиваясь и мотая удилище из стороны в сторону, на мгновение показывается сильное широкое тело язя…

Где-то рядом слышен такой же ликующий вопль:

— Язь пошёл!

Притупившийся азарт вспыхивает с новой силой.

Засунув пальцы под жабры, Андрей торжествующе поднимает язя, и вдруг из того начинает судорожно выливаться белая крупитчатая икра. Следуя древнему церемониалу, сохранившемуся с незапамятных времён, мы, словно язычники, поочерёдно подставляем рот и прямо так, без соли и масла, причащаемся этой бьющей жизнью.

Да разве вся эта вакханалия — не отголосок вечно живого, лишь глубоко спрятанного в каждом из нас прошлого? Неужели только из-за того, чтобы наловить и привезти в Москву полтора десятка килограммов переславской плотвы, приезжают сюда те люди, которых я вижу вокруг?

Все они разные — и по характеру своему, и по профессиям, — но в каждом из них, кроме своего, личного, только ему присущего, таится то загадочное общее, что заставляет уезжать за сотни километров в дождь, в холод из уютного и тёплого дома, в лес, в глухомань, к чёрту на кулички, чтобы, выискивая одними ими чаемые лесные озерца, вспухающие по весне речки, согреваясь у костра то спиртом, то чифиреобразным чаем с отсыревшим кусочком сахара вприкуску, вот так, стоя по колено в воде, тянуть из холодной глубины серебряную плотву и прижимать животом к земле скользкого и увёртливого язя?

Они даже не подозревают, что в каких-нибудь ста метрах от них, а то и под ногами, лежат остатки стойбищ древних рыбаков и охотников; что тысячелетия назад на этих же местах точно так же толпились их далёкие — очень далёкие! — предки, справляя весенний праздник рыбы и запасаясь пищей на много дней вперёд. Только для тех это было не просто праздником души, но и великим весенним обжорством после скудных и голодных зимних месяцев.

Так, может, остаётся что-то в крови, в той самой дезоксирибонуклеиновой кислоте, которая определяет каждого из нас? И вот это «что-то», в свою очередь, предопределяет наши встречи — здесь, на Большой Волге, в Брейтове, под Серпуховом или в Скнятине, во всех тех местах, где по весне стаями идёт плотва, прорывается вслед за нею прожорливый язь и, зайдя в траву, ворочается и бьётся на залитых пожнях щука…

Все мы здесь знакомые незнакомцы, встречавшиеся и расходившиеся не раз и не два у магазинов рыболовной снасти, на Птичьем рынке, возле оглядывающихся, пахнущих вчерашним перегаром мотыльщиков, в тесноте загородных автобусов и электричек, у заветных, уловистых мест. Что из того, что мы не знаем имён друг друга? В этой жизни — одно, в той, городской, — другое, имеют ли какое-нибудь значение эти имена, степени, звания здесь, когда в руке у тебя лёгкое бамбуковое удилище с капроновой жилкой, на конце которой в холодной глубине колышется рубиновый червячок твоей горячей веры в надежде, что он соблазнит скользящую мимо одуревшую от весенней страсти плотву?

Вон, чуть выше поворота, на том берегу стоит рыболов… он присел сейчас, доставая из коробка новую порцию мотыля. Пожилой седеющий мужчина с тёмной родинкой на правой щеке, всегда безукоризненно выбритый, в потёртой кожанке типа «комиссарок» двадцатых годов, в синем берете, по-парижски сдвинутом на левое ухо, в оранжевых охотничьих сапогах, пристёгнутых к широкому кожаному поясу. Я не знаю, ни как его зовут, ни кто он там, за пределами Вёксы, хотя и вижу его не первый раз, и оба мы примелькались друг другу за прошлые вёсны. Но…

Мы киваем друг другу как старые знакомые, иногда хвастаем уловами, одалживаем мотыля, обмениваемся прогнозами. И не больше.

Знаю только, что, какая бы ни была погода, мой знакомый незнакомец не уходит с реки. Возле берега в кустах на кочках настлана подстилка из веток, прикрытых плащом; над костерком на рогульках висят закопчённый армейский котелок и маленький

помятый жестяной чайник.

Как-то в дождь я пригласил его к нам в дом. Он поблагодарил и отказался: он приезжает на реку и для реки…

Вот и с Андреем, который теперь не успокоится, пока не поймает второго язя, нас свела рыбалка. Он учился на курс позже меня, и на кафедре я встречал чернявого, высокого юношу в тяжёлых роговых очках, за которыми видны были мягкие карие глаза. Толстые, немного негритянские губы делали его похожим на Пьера Безухова. Это был очень деликатный и интеллигентный, немного застенчивый и нерешительный сын известного вахтанговского артиста. Андрей занимался славянами, ездил на раскопки в Новгород и в Смоленск, копал Гнездовские курганы. И я помню своё удивление, когда в коридоре исторического факультета он вдруг подошёл ко мне и немного смущённо спросил:

— Я слышал, что ты собираешься на рыбалку в Переславль. Там что, действительно хорошо ловится?

Рыбак рыбака…

— Привет археологам! — раздаётся за моей спиной густой хриплый бас, и на плечо ложится тяжёлая рука.

Эх, сорвалась плотва!..

— Лапу-то сними, чай, плечо моё, не казённое! — говорю я, поворачиваясь. — Да и руку пусти, глядишь, ещё и понадобится… Пусти, медведь! Совсем за зиму здесь одичал, да?

Королёв смеётся довольным, утробным смехом, отпускает мою руку и чуть отстраняет меня от себя. Кряжистый, сутуловатый, высокий, с красно-бронзовым от вечного загара лицом, со стальными синими глазами, остро смотрящими из-под белесой, выгоревшей на весеннем солнце пакли бровей, он кажется ещё больше, ещё грузнее, чем обычно, в своём обширном брезентовом плаще, высоких сапогах и неизменной кепке, которую, по-моему, не снимает даже зимой. Явственная двухдневная щетина да красные от бессонницы глаза говорят, что он здесь уже давно. Как же, плотва идёт!

Стало быть, его бивак где-то рядом, чуть выше нашего поворота…

— Что так мало поймал? — спрашивает он, присев на корточки и полувытащив из воды мой садок с рыбой. — У меня и то больше!

— То-то смотрю, рыбы не стало… Или мотыль кончился, что не ловишь? Так мы дадим! А лодку у кого взял? — спрашиваю я, заметив поодаль вроде бы знакомую лодку, с которой мне машет рукой его личный шофёр.

— Есть мотыль. А лодку у главного браконьера здешнего… небось знаешь его, как там его… ну, одноглазый этот… Корин!

Так ты на рыбалку только или копать? А то махнём ко мне после мая: на Игобле у меня знаешь какая весна! Да ты не бойся, стихами не заговорю!..

Знакомство наше с Королёвым произошло той самой холодной и сырой осенью, когда я ещё только заканчивал разведки на берегах Плещеева озера и краем уха уловил, что будто бы на Польце — не где-нибудь, на самом Польце! — решено строить железнодорожную станцию, куда сойдутся колеи со всех окрестных торфяников. Вот этот неопределённый слух и вполне определённая траншея, прорытая на моих глазах экскаватором через всё Польцо, как я ни пытался это дело остановить, и привели меня к Королёву. Он был тогда не просто директором торфопредприятия, возникшего в самом дальнем и глухом углу Залесья, но и фактическим начальником строительства, от решения которого зависело весьма многое, в том числе если и не изменение планов строительства, то финансирование предваряющих это строительство раскопок.

В посёлок Кубринск, выросший на берегу той самой Кубри, которую любил Д. И. Хвостов, я отправился на борту маленькой дрезины, подпрыгивавшей, вихлявшей из стороны в сторону на только что проложенной колее, лежавшей ещё не на шпалах, а на неошкуренных берёзовых плахах. Как нас не вывернуло на той времянке, как не сбросило под откос — до сих пор не пойму, потому что дрезины сходили с рельсов почти каждый день и все к этому настолько привыкли, что как-то и говорить на такую тему казалось неприличным. Разве что кивали попутно на то или другое место, подтверждая: этот здесь съехал, а тот во-он там, где осина поломанная наклонилась над канавой…

Но тридцать с чем-то километров были преодолены, дрезина остановилась возле подобия платформы, обозначавшей тупик, и передо мной открылись новые двухэтажные дома посёлка торфяников в окружении стройных высоких сосен.

Королёва я разыскал не сразу, уже к вечеру, и, сидя напротив сумрачного, несколько диковатого на первый взгляд человека, который отрешённо и даже вроде бы неприязненно рассматривал меня неподвижными синими глазами из-под густых светлых бровей, глядя на его загорелый, обветренный лоб, редеющие волосы неопределённого оттенка с проплешинами и залысинами, не мог отделаться от мысли, что всё виденное мною за этот день — шоколадные прямоугольники торфяных полей, колея подъездных путей, караваны сложенного к вывозке торфа, здания посёлка, чудом сохранённые при строительстве сосны, — всё так или иначе связано с этим человеком, является как бы его «развёрткой» во внешний мир, созданный, преобразованный по

его желанию и замыслу. Только вот понимает ли он, о чём я ему говорю? Захочет ли понять? Или это тот «чистый» хозяйственник, для которого существует только план и вал?

Наконец я всё высказал и замолчал. Наступила пауза. Королёв продолжал вертеть в пальцах зажигалку, но глаза его, ушедшие перед этим куда-то в сторону, снова остановились на мне.

— Слу-ушай, — протянул вдруг хрипло Королёв, — он именно так и тянул, протяжно и хрипло, — слу-ушай, а тебе нравится Ахматова?

Не строительство, не раскопки — нет, ему, видите ли, захотелось поговорить о поэзии, и не о чьей-нибудь, а ахматовской!

Вот-вот, с такого всё и начинается: не дружба (захочет ли такой дружить?), не приятельство (такой в приятелях ходить не станет), а какие-то особенные отношения, возникающие между мужчинами, когда каждый сохраняет необходимую дистанцию чуть иронической полуулыбкой, словно бы приспущенным забралом рыцарского шлема. Как территория магического круга, очерченного шпагой мага: до сих… Приоткроется — и снова всё наглухо забаррикадировано для нечуткого глаза, замечающего только «хозяина» — рачительного, чуть грубоватого, с заботой, прикрытой насмешкой или едким словцом, который враз досматривает, и сколько торфа вывезено из караванов, и какого качества борщ в поселковой столовой, и как строится новый дом на отведённом ему участке, и что новой школе оборудования не хватает. Всё видит, до всего ему дело есть.

Но за всем тем, за папиросным дымом совещаний, за шелестом бумаг и разбором ежедневных дел видит и маленькую, в две нары избушку на не тронутой пока ещё лесной речке Игобле, километрах в десяти от новой линии узкоколейки, где вольготно дышится и ему, и двум его лайкам, с которыми проводит он там весь свой отпуск: две недели осенью, когда кончаются работы на торфяных полях, и две недели весной, с началом тяги, когда работы ещё не начаты.

И там же, под говор раскачивающихся под ветром деревьев, пишет свои никому почти не известные стихи о пустынных, замирающих болотах, выгонах лешего, на которых обгладывают горькие побеги тёмные с подпалинами лоси, о кровавых следах на первом снегу, проступающих ягодами клюквы, и о песне торжествующей любви, которую самозабвенно поёт встающему солнцу грузный чёрный глухарь…

Нет, совсем он не прост и не лёгок, этот человек, хотя с той давней встречи порядочно и «соли» съедено было вместе, и

выпито водки, да и мои первые раскопки на Польце проведены были за счёт его строительного управления. В этом году, по сути дела, мы только продолжаем то, что было начато несколько лет назад, хотя финансирует нас уже другое предприятие, к которому «по наследству» отошло строительство станции на Польце.

Устроившись сзади меня на кочке, из которой поднимался полусгнивший пень в три кривых ствола ольхи, Королёв курит, изредка спрашивая о новых книгах, вышедших за зиму в Москве, о планах на лето, о наших раскопках, с которыми оказался так крепко связан. Паузы всё длиннее, словно ему трудно говорить, и вот, обернувшись, я вижу, как, забыв о папиросе, он весь отдался чему-то своему, отрешённо смотря на пустеющую к вечеру реку, на солнце, которое ныряет в лохматую чёрную гряду леса, на приткнувшиеся у берега лодки… Потом разом, словно что-то решив, встал, кивнул — пока! — и шагнул в лодку.

6

Кончились праздники.

Вчера, когда все гости уже разъехались по домам и река заметно опустела, Роман занялся лодкой. Он долго ходил вокруг, колупая ногтем отставший вар, подтаскивал и колол поленья, разжигал костёр, и всё это медленно и основательно, словно начинал дело важное, длиться которому не один день и даже не месяц.

Мы это поняли сразу и принялись помогать. К вечеру лодка была готова.

Сегодня мы спустили её на воду, покрутились возле дома, отмечая набегавшие из пазов струйки, и решили отправиться на озеро. С нами поехал Павел, младший сын Романа, работающий машинистом на торфопредприятии, прихватив с собой старую отцовскую острогу.

Я медленно гребу, иногда встаю на корме в рост и отталкиваюсь веслом как шестом, потому что течение быстрое и норовит развернуть тяжёлую лодку, ткнув её носом в берег. Павел стоит на носу, держит наперевес древко, вглядывается в воду, и частая гребёнка остроги готова вот-вот нырнуть, чтобы вонзиться в спину неосторожной плотвы.

В лодках, что встречаются на пути, — местные ребятишки. Вчера и позавчера рыбу ловили их отцы. Сегодня они, натянув отцовские ватники и перепоясав их кто ремнем, а кто просто верёвкой, важно, с достоинством сплёвывая сквозь зубы, ведут лодки вдоль полузатопленных берегов, всматриваясь в прибрежную траву. Они плывут без весла, отталкиваясь древком остроги, толкают лодку вперёд, быстро перехватывают древко и резко и часто тычут гребёнкой под берег. Время от времени они сбрасывают в лодку с острых зубьев одну, а то сразу две рыбины. Это называется «ловля на тычок» — ловля древняя, как сама Вёкса.

Конечно, острога — не лучший способ ловли, а теперь и вообще относится к числу запрещённых орудий, но здесь ею пока ещё пользуются.

Вчера Павел тоже колол плотву, но сегодня он шарит глазами по заводям.

— В заливчик подгони, правей, — говорит он мне хриплым шёпотом и переступает с ноги на ногу.

Справа в заливчике мелководье и сухой тростник. И, поворачивая лодку, я вижу, как кто-то ворочается там в воде возле кустов, всплескивает и по заводи бегут в стороны большие

круги. Мы подходим медленно, осторожно, стараясь не шевелиться, не стукнуть ненароком веслом о борт.

Павел поднимает острогу, выносит её вперёд, я налегаю сильнее на весло…

— А-а, стерва!

Он вскрикивает коротко и хищно, изо всей силы бьёт острогой в шевелящуюся воду и наваливается на древко так, что лодка вот-вот черпнёт бортом. Балансируя, упираясь в дно веслом, я пытаюсь удержать её на месте. Вадим перегибается через борт, древко остроги скрипит, гнётся, огромный хвост взбивает грязную муть, и над водой у борта появляется плоская темно-зелёная щучья голова, беззвучно разевающая хищную зубастую пасть.

Не подворачивая рукавов, мешая друг другу, по локти мокрые, втаскиваем чудовище в лодку.

Щука большая, с метр, тяжёлая и скользкая. Она продолжает биться и на дне лодки, пока Павел не оглушает её прихваченным для этого поленом.

— Ишь, зубастая… Килограммов на двенадцать!

— Побольше будет, пожалуй…

— А я вижу, она всё на оном месте ворчается, — начинает традиционный охотничий рассказ Павел. — Вот я и сказал, чтобы туда повернуть…

Все мы видели, всё пережили, но так нужно, и в этом, может быть, самое важное для человека, чтобы выразить в словах, уже смакуя победу и переживания, все перипетии короткой счастливой охоты. Мы сами долго — до следующего мая — будем рассказывать, каждый раз приукрашая по-новому, об этих рыбных майских днях.

А на озере ходит волна, прижимает к берегу, и льда почти нет — сошёл в Вёксу, да и съели его дождь и солнце.

7

Рыба рыбой, а вот на что экспедиция существовать будет?

Академическая дотация невелика — на нас троих и то, пожалуй, не хватит. Что ж, назвался начальником — добывай финансы. И чертыхаясь, обмозговывая, как лучше вывернуться, я с утра отправляюсь в контору торфопредприятия, к главному инженеру, с которым за те пять с лишним лет, что тянется «делопроизводство» о Польце, мы успели вроде бы подружиться.

Впрочем, как говорят, дружба дружбой, а удочки — врозь!

Валерий Николаевич Корнилов — главный инженер купанского торфопредприятия. Невысокий, коренастый, с мальчишеским улыбчивым лицом и озорными глазами. Весь он живой и неунывающий, и большие оттопыренные уши пламенеют на солнце из-под форменной фуражки.

Главный инженер похож на мальчишку — озорного, вихрастого, с широкой ребячьей улыбкой; скуластый мальчишка, что прыгает от избытка своих мальчишеских сил, как резиновый мячик, и успевает всюду — в ремонтные мастерские, на поля, на строительную площадку, даже в управление успевает съездить. Его звонкий голос, особенно когда он кого-нибудь распекает, слышен издалека, и большие (тоже мальчишеские!) уши пламенеют на солнце из-под форменной его фуражки.

На самом же деле не так уж он молод, да и опыта не занимать стать. Но с финансированием археологов, притом ещё таких настырных, ему приходится сталкиваться впервые. Вот и крутится Василий Николаевич Данилов, чтобы промеж огней ловчее проскочить: с одной стороны — интересы предприятия соблюсти (хотя, кажется, что там две-три тысячи рублей при полумиллионном размахе строительства?), а с другой — ну как нарушишь постановление об охране памятников, которое теперь лежит у него под стеклом на рабочем столе в кабинете?! А там чёрным по белому: в случае использования территории археологического памятника для хозяйственных нужд или под застройку требуется провести предварительное исследование всей территории (раскопки), причём все расходы относятся за счёт застройщика.

С этого обычно у нас и начинался с ним разговор.

Ну и как? Ах, сметой не предусмотрены? Значит, смета неверно составлена. Значит, надо изыскать эти средства по другим статьям, прежде чем будет выкопана хоть одна яма под столб. Тем более и прецедент налицо: раскопки той части, где теперь стоит будка стрелочника, оплачены Королёвым…

В прошлом году, такой же весной, он весело отругивался от наседавших на него Николая Павловича Масина, заведующего Переславским отделом культуры, и меня, сокращая, пытаясь утаить истинные размеры строительных работ на Польце, а мы тыкали ему под нос черепки, валявшиеся под ногами, и потрясали постановлениями об охране памятников.

Спорили обо всём этом мы с ним ещё в прошлом году, когда не были подписаны многочисленные протоколы, акты, соглашения, результатом которых и явилась наша экспедиция. И вдруг теперь оказывается, что выделенные сметой средства на раскопки до сих пор не переведены на банковский счёт института! Вот и повисает в воздухе экспедиция — даже рабочих нанять не на что. И я со всей страстью обрушиваю свой гнев на Данилова, который только зубы скалит.

Скоро переведут? На этой неделе? Вот прямо завтра-послезавтра? И всё подписано, всё согласовано? И никакой заминки не произойдёт? Ну что ж, тогда потерпим ещё немного…

И, снова заключив мир, мы отправляемся с главным инженером сначала в ремонтные мастерские, где теперь уже он распекает слесарей за какой-то неисправный барабан со шнеком, потом на торфяные поля, где готовятся к началу летних работ, оттуда, на мотовозе — на Польцо, где, в сотый раз сверяясь с планом строительства, выхаживаем по площадке, прикидывая расположение будущих раскопов. Отсюда Данилов снова спешит в диспетчерскую, и, покуда, замешкавшись на Польце, я подхожу к новому железобетонному мосту, сменившему оба старых, он уже обгоняет меня на попутном мотовозе и весело скалит зубы из кабины.

Я смотрю ему вслед и ловлю себя на странном чувстве. Нет, это не зависть, не восхищение, не уважение только, а какой-то сплав того, другого и третьего, который рождают во мне такие люди, как тот же Данилов или Королёв, преобразующие окружающую их жизнь.

Наверное, эта возможность всегда немного кружит голову — возможность по-своему изменить природу, проложить дорогу в совершеннейшем бездорожье, выстроить посёлок там, где ещё вчера шумел лес, перестроить судьбы сотен людей, причём всё это сделав своими руками, увидев результаты всех этих изменений.

Не всегда это проходит безнаказанно, не всегда получается хорошо, летят щепки от вырубаемого леса, и каким-то шестым или седьмым чувством я угадываю, что Королёву, который значительно старше Данилова, не всегда по душе то, что он делает. Не потому ли и срывы, и стихи, и избушка на Игобле, и

неожиданный взлёт гордыни, когда он чувствует себя «самодержцем всея Кубри»?

Завидую ли я?

Нет, пожалуй. У каждого из нас своё время, своё пространство, свой, так сказать, «плацдарм». И, честно говоря, я ещё не знаю, что больше преобразует окружающую жизнь: железные и шоссейные дороги, осушенные болота или отблески тех идей, которые зарождаются в результате раскопок. Всяких идей — и больших, глобальных, и тех незаметных, случайных, которые искорками блеснут в мозгу случайного наблюдателя, вдруг ощутившего себя между двух бездн времени — между Прошлым и Будущим.

И всё-таки хочется — ох как хочется! — вот так, зримо, вещно осязать плоды своей работы!..

8

Па-аехали… В треске, рёве, оставляя за собой синюю вонь… Ну кой чёрт дёрнул меня поддаться на уговоры этих любителей комфорта? До магазина им, видите ли, лень ножками пройтись! И всего-то полтора километра в одну сторону. Ходят же остальные: и Роман, и Прасковья Васильевна, и соседи… Нет, подавай мотор на лодку!

Ну и подал. А что поделаешь? Техника. Современность. Цивилизация. И — прощай, патриархальная тишина, неторопливые взмахи весла и безмятежный покой. Теперь только вперёд успевай глядеть…

Ко всякой технике я отношусь с некоторой опаской: а ну как выкинет какой фортель? В конце концов того и гляди окажется, что не ты управляешь этой техникой, а она тобою. А потому и мир, знакомый, казалось бы, до мелочей, вдруг оборачивается чужим и вывернутым наизнанку.

Вот с той же Вёксой. Кажется, исплавал я её за эти годы вдоль и поперёк, могу каждый поворот описать, каждый пень, каждый куст и дерево, каждую отмель помню, возле которой приходилось или рыбу ловить, или веслом отталкиваться. Но стоило впервые сесть за мотор, как оказалось, что совершенно ничего не знаю. То невесть откуда на перекате камень подворачивается под винт, то на плёсе этот же винт коряга хватает, то заносит на повороте лодку и бьёт её кормой о нависшее дерево.

А результат один — шпонка полетела. Нет шпонки.

— Саша, ты гвозди-то нарубил? А то, чует моё сердце, сейчас опять что-нибудь произойдёт!

— Не нервничай, Леонидыч, не нервничай… Ведь мотор — что конь: пока по реке не обкатаешь его, всё норовит за каждую палку задеть! — успокаивает меня Павел. — Вчера, пока ты на площадке был, мы тут гвоздей пять извели, а из десятки, сам знаешь, две шпонки верных выходят…

Трах! вззз!.. Ну, так и есть! Сбрасываю газ, и Вадим, держащий весло наготове, подгоняет лодку к пологому берегу, где её можно чуть приподнять кормой.

Опять снимать винт, опять выбивать остатки срезанной шпонки, опять ставить новую… Впрочем, обо всём этом когда-то рассказал Марк Твен, и не его вина, что вершиной техники в то время был только велосипед — будь в те времена лодочные моторы, он бы ещё не то написал!

Одно примиряет меня со шпонками и с мотором: с его появлением я вижу, как сокращаются расстояния и, наоборот,

увеличивается протяжённость времени. И если этот пачкающий маслом и воняющий бензиновым перегаром чёрт будет послушно исполнять взваленную на него работу, то можно на время смириться и с таким обликом цивилизации.

9

Удача, удача… Всем она необходима, и в науке без неё тоже делать нечего. Особенно в такой, как наша.

Обойдённый этой капризной богиней никакой усидчивостью и прилежанием не получит то, что другому, избранному, бросит она под ноги! Что там ни говори, но археологи и геологи, как и все, кто ищет, сродни кладоискателям, «фарт» которых — дело очевидное и доказательств не требующее. Не потому ли так и тянет всех к нашей профессии — нет, не к работе, а вот к тому неуловимому моменту, когда происходит как бы материализация мечты — освобождение от земляного плена, извлечение из небытия осколка минувших миров?!

А будет ли он, этот момент? Свершится ли чаемое? Об этом всегда думаешь, намечая сетку раскопа, выбирая для него место, таинственным чувством пытаясь угадать, что скрывает под собой ровный зелёный бобрик дёрна.

Опыт? Расчёты? Да, всё это необходимо. И интуиция нужна. Но старые археологи знают, что больше всего здесь требуется Удача!

Ещё с Даниловым наметили мы место будущих раскопов. А за прошедшие дни разметили уже точно: вдоль линии узкоколейки, к востоку от неё. Длинная траншея от четырёх до десяти метров шириной протянется от теперешней диспетчерской до самой реки, уткнувшись в сваи бывшего здесь моста. В эту траншею должно попасть всё — илистые отложения речной поймы, заросшей осокой и стрелолистом, плотная лужайка собственно Польца, где закладывал первые шурфы А. А. Спицын, собирал кремнёвые орудия и черепки основатель переславского историко-краеведческого музея М. И. Смирнов и вёл перед войной раскопки П. Н. Третьяков. А там, выше, возле диспетчерской, где ещё можно заметить отвалы и впадину моего первого раскопа, мы заложим несколько шурфов, которые покажут, что хранит в своих верхних слоях песчаная дюна, бывшая некогда берегом Плещеева озера.

Будущие раскопы мы обозначаем сетью вбитых колышков по углам квадратов. Каждый квадрат — два на два метра. Протяжённость каждого раскопа определяется количеством букв алфавита, которыми обозначена каждая линия квадратов — от А до Я. Сколько раз уложится в длину линейка алфавита — столько и раскопов, обозначаемых римскими цифрами. А в ширину уже цифры арабские — от нуля до бесконечности.

Всё, что при раскопках находят в квадрате, описывают под

соответствующей цифрой и буквой, и когда просматриваешь находки — сколько бы лет ни прошло, — по этой цифре и букве можно сразу представить место, которое каждая из них занимала в действительности.

С людьми так же, только титулы и чины оказываются куда более громоздки, чем коллекционные цифры.

И сейчас, забивая колышки, выверяя углы квадратов, гадаешь: а что в них? Может быть, ничего; может быть, всё самое важное окажется совсем не здесь, а в пяти метрах правее или левее, под железнодорожным полотном или по другую его сторону. Может быть. Всё может быть. А сделать ничего нельзя. Раскопки — «спасательные», они должны вестись именно в тех местах, где предстоят строительные работы.

Трасса наших раскопов — трасса будущего водопровода от реки к распределительной колонке станции.

Но любопытство пересиливает, и, закончив разметку, мы сообща решаем всё-таки заглянуть в своё будущее — вскрыть один из нескольких сотен квадратов в самом дальнем от реки конце раскопа.

…Моросит дождь, изредка гудят мотовозы. Рабочие с насыпи удивлённо посматривают на трёх чудаков, копающихся в земле. Нет. Удача сегодня явно против нас. Саша ворчит, Вадим стоически изрекает залежалые сентенции, на лопаты липнет мокрая земля, намок план, на котором я отмечаю редкие черепки, и, не выдержав, мы уходим домой.

И поделом! Всему своё время…

10

Настоящее — это кажется понятным. Ты сам, окружающие тебя люди, произнесённые слова, звуки, запахи, игра красок, — так сказать, всё сущее.

А прошлое? То, что ушло? Фикция? Нет его на самом деле? Существование несуществующего, бывшего…

Вероятно, можно подойти к этому вопросу несколько иначе, если предположить, что прошлое — это ставшее, свершившееся, реальное в противоположность настоящему, которое само по себе существует лишь как миг возникновения реальности…

Парадокс?

Что ж, не только наука, но и сама жизнь состоит зачастую из сплошной цепи парадоксов. И разве не парадокс, не насмешка над здравым смыслом все эти черепки, каменные орудия и древние кости, которые прибавляются у нас на подоконниках, в коробках, разложены на листах бумаги в углах? Их сделали человеческие руки несколько тысяч лет назад. Некогда они были настоящим, «сущим», затем стали прошлым, но от соприкосновения с нашими руками таинственным образом обрели реальность. Выпав из жизни, они снова вернулись в неё в том же самом виде, как прежде. Такими же?

Или время всё же наложило на них свой отпечаток и они — иные?

Не внешне — иные по сути своей?

Когда я отправился в свою первую разведку по берегам Плещеева озера, здесь было известно только четыре места с остатками древних поселений — Большая Песошница на Трубеже под валами древнего Переславля, Польцо на Вёксе, Торговище на озере Сомино и ещё одна стоянка, безымянная, расположенная где-то возле городской водокачки. Гдеименно, никто уже не помнил.

Сейчас их известно около трёх десятков.

Кроме Польца в первый же год разведок я нашёл на Вёксе четыре стоянки. Одна из них, Вёкса-3, прямо перед домом — невысокий песчаный обрывчик, который каждый год подмывается водой. Под слоем дёрна видна полоса чёрной земли сантиметров сорок толщиной. Это и есть «культурный слой поселения».

Теперь их более четырёх десятков.

Одна из таких стоянок почти перед самым нашим домом — высокий мыс, полого сбегающий к воде с обрывчиком на одной стороне, где поставлены мостки, чтобы полоскать бельё, и притулились соседские лодки. Каждый год по весне обрывчик

размывается водой, крошат его волны от моторных лодок и из чёрного слоя, лежащего между дёрном и белым песком, выпадает то черепок, то кремнёвый отщеп, а то и наконечник стрелы.

Чёрный слой — это и есть культурный слой древнего поселения.

С точки зрения формальной логики «культурный слой» — один из парадоксов словообразования.

Задумывались ли вы, что произойдёт, если с наших улиц внезапно исчезнут подметальные, поливочные и снегоочистительные машины, а мусорщики перестанут приезжать за скопившимися в баках отбросами? И совсем не будет канализации, той, сквозь решётки которой смывается с асфальта пыль и грязь? Очень скоро, за какие-нибудь три-четыре года, тротуары скроются под слоем земли, перемешанной с мусором, бумажками от мороженого, окурками, спичками и прочей дрянью. Покопавшись, здесь можно будет найти монеты, выскользнувшие сквозь прореху в кармане, ключ, пробку, обрывки проволоки, тряпье, гайки, осколки стекла и фарфора и множество других предметов, выпавших случайно или выброшенных за ненадобностью из нашей жизни. Всё это и будет «культурным слоем». Он накапливается из отбросов и отходов, из строительного мусора, сгоревших или разрушенных жилищ, растёт незаметно из года в год и под такими древними городами, как Новгород, Москва или Смоленск, достигает порой десятка метров.

Ещё толще культурные слои в Средней Азии и на Ближнем Востоке. Там строили из сырцового кирпича, не обожжённого, а всего лишь высушенного на солнце, и если здание ветшало, его не сносили, а разбивали, утрамбовывали, разравнивая площадку, чтобы на этом же месте возвести новый дом. Глина наслаивалась пластами на первоначальный фундамент, и получалось, что город, выстроенный на равнине, уже через тысячу лет оказывался стоящим на холме.

Чёрный цвет культурного слоя — цвет перегноя, остатки органических веществ, из которых сам слой вырос. Когда говорят о каком-нибудь доме, что он «врос в землю», это неверно, дом остался на прежнем месте. А вокруг него наросла земля, тот самый культурный слой, который и раскапывают археологи.

Теперь, ловя плотву с мостков, сбитых у древней стоянки, мы попутно собираем всё, что вымывает вода. То, что можно поднять с земли, не прибегая к раскопкам. У археологов всё это называется «подъёмным материалом».

Раскладывая на бумаге находки, сортируя по эпохам, я учу своих приятелей определять различные орудия, показываю, как

ими пользовались.

Среди множества каменных орудий, различить которые может лишь намётанный глаз археолога, есть два вида, понятные даже непосвящённому. Это наконечники стрел и копий, столь ювелирно обработанные мелкой отжимной ретушью, что кажется, будто они вышли из рук художника, и каменные топоры со сквозной сверлиной, отшлифованные, изящные в своём совершенстве, напоминающие о томагавках индейцев из романов Фенимора Купера. И стрела и боевой топор служили делу смерти. Не потому ли и требовалось для этих орудий совершенство выделки, чтобы они разили столь же совершенно, чтобы орудие смерти всегда можно было выделить из числа других, мирных?

Но вот чтобы заметить на внешне похожих отщепах кремня ту порой едва заметную подправку, которой ограничивался человек прошлого, увидевший в кремнёвом отщепе уже готовый нож, скребок, сверло, резец или какой-либо иной необходимый ему в данный момент инструмент, требуются и навык, и некоторые знания.

Для этого надо «войти в роль», представить самого себя человеком, который изготовлял эти орудия и пользовался ими; пробудить в себе глубоко дремлющее, ненужное в современной жизни прошлое, как пробуждается древняя страсть рыбака и охотника.

Там, в неведомых глубинах нашего «я», ещё жив «ветхий Адам», затаившийся, как джинн в бутылке, готовый в каждую минуту вырваться наружу.

Когда-то я нашёл безотказный приём, позволяющий использовать полузабытую память предшествующих поколений.

Надо взять в руки кремень, взять так, чтобы он как бы сам скользнул в пальцы, успокоившись между ними, позволив им двигаться независимо от нашего сознания, осязая ребра, ощупывая грани сколов. И пока сам ты разглядываешь этот камень, от датчиков, от нервных окончаний в мышечные волокна начинают поступать неуловимые сигналы, возбуждающие память клеток. Какие-то группы мышц начинают сокращаться, другие расслабляться, и в едва уловимых движениях руки начинаешь постигать назначение предмета, как будто бы в твою руку вдруг оказалась вложена рука твоего далёкого предка, изготовившего это самое оружие, а твоё сознание подключается к сознанию всех ранее живших на земле людей… Не о таком ли «узнавании» мира говорил Платон, убеждённый в истинности «снов души»?

Вот самое простое, самое распространённое орудие — скребок. И заложена в него наиболее простая идея — скрести, выскабливать что-либо. Но по мере того, как разнообразилось его

применение, менялось и само орудие, его форма, размеры, материал, угол рабочего края. Для шкур животных, с которых скребками снимались остатки жира (чтобы шкура не гнила), мездра (чтобы оставшаяся кожа была мягкой и гибкой), нужны были скребки широкие, с прямым или слегка выпуклым лезвием; для выделки деревянной посуды, для обработки кости и рога нужны были особые скребки — толстые, узкие, с крутым и крепким рабочим краем; для всяких мелких домашних работ требовались другие скребки — маленькие, круглые, с более острым лезвием, которым можно перерезать жилы, мясо, выскабливать и затачивать кость, кроить шкуру. Всем этим занимались женщины. Вот почему у эскимосов скребок до сих пор называется «женским ножом».

Есть скребки круглые, овальные, треугольные, обработанные тонкой ретушью не только по краю, но полностью, являя собой произведение искусства; концевые скребки на концах ножевидных пластин и вытянутых кремнёвых отщепов, а вместе с тем — боковые и угловые, каждый из которых имел своё назначение, подобно тому, как разнится внешне похожий, а на самом деле такой различный слесарный набор инструментов.

Вогнутые скребки — скобели — применялись для обработки древков стрел и их костяных наконечников…

Со скребками сравнительно просто. Ещё проще со шлифованными орудиями. Правда, они попадаются намного реже, чем скребки, обычно разбитыми, но над их назначением не приходится ломать голову. Человек шлифовал два вида орудий, одинаково связанных с обработкой дерева, — долота и тесла. Оба они ближайшие родственники топору, в отличие от которого у тесла лезвие желобчатое, а у долота — скошенное, потому что они рубили волокна дерева не вдоль, на раскол, а поперёк…

С самого начала истории, с того момента, как человек осознал себя человеком, идёт непрерывный, всё усложняющийся процесс материализации человеческой мысли, процесс её воплощения в нечто конкретное, зримое, осязаемое: в орудия войны и труда, в предметы окружающего нас быта, в произведения искусства, здания, станки, машины, космические ракеты, в строки стихов, в звук и цвет, наконец, в те электронные системы, имитирующие структуру нашего мышления, в которых накопление и обработка информации происходит неизмеримо более сложным путём, но в конечном счёте по тому же принципу, как человек создавал свой первый топор…

За окном моросит, лес стоит намокший и бормочущий, напряжённый в своём буйном весеннем порыве, который всё сдерживают и сдерживают холода и этот неспешный,

мутноповествовательный дождь.

Мы разбираем первые находки, описываем их, зарисовываем, заносим в опись, посмеиваемся друг над другом, над дождём, над задержкой в работе, уверяем, что дождь — это к лучшему, что он «земле нужен», и копим, взращиваем в себе сдерживаемое природой напряжение весны, которое должно разрешиться в первый же солнечный день зелёным взрывом пухнущих клейких почек…

11

Такое солнечное утро, такая неожиданная теплынь разлита в воздухе, так самозабвенно выводит сегодня трели скворец на берёзе, что решаем: ехать на Сомино озеро!

Удочки, рюкзаки… Саша кладёт в рюкзак хлеб, круто сваренные яйца, бутылки с парным молоком, которые уже налила и заткнула скрутками из газет заботливая Прасковья Васильевна. Вадим переворачивает за домом слежавшиеся за зиму пласты мокрой, прелой под навозом земли в поисках первых земляных червей: мотыль давно кончился.

Последним вытаскиваем из дома мотор с бензиновым баком.

Совсем незаметно, за какую-то неделю, наша новенькая «Москва» стала полноправным членом экспедиции — несколько капризным, тяжеловатым, но работающим на совесть.

Чтобы накормить её ворчащую, попыхивающую дымом утробу, мы отправляемся за бензином и маслом, а вернувшись, рубим на ступеньках крыльца из гвоздей злополучные шпонки. Самодельные с успехом заменяют фабричные: они мягче, легче срезаются, и меньше опасений повредить винт о корягу или подводный камень…

Лес зеленеет на глазах. Он навёрстывает упущенные дни. С каждой минутой кружевная зелень сверкает на солнце ярче, сочнее, и, приостановившись, кажется, что явственно слышишь тихий треск лопающихся почек и шорох расправляющихся листков.

Уложены в нос лодки продукты, прикрыты плащами рюкзаки. Вадим подсовывает туда же консервную банку с сизо-лиловыми, переливающимися на солнце перламутром, ещё сонными от холодов червями.

— Трогай!

Кренясь и скользя, убегают назад отражающиеся в воде берега. Река встаёт перед лодкой то кустами, то невысокими осыпающими песок обрывами, с мостками, примкнутыми к ним лодками, нависающими над водой сарайчиками, разворачивается то влево, то вправо широкими спокойными плёсами.

Эта часть посёлка протянулась вдоль реки к Польцу сравнительно недавно, уже в послевоенные годы. А до того на правом берегу Вёксы шумел и колыхался дремучий бор, сведённый под корень каким-то особо ретивым хозяйственником, и М. М. Пришвин, подолгу живший здесь, любивший этот лесной и озёрный край, немало написал писем в различные инстанции, возмущаясь насилием над природой. Хозяйственника наконец

убрали, переведя на другое место, где ещё был лес. А здесь вместо леса вырос посёлок. Одним из первых поставил здесь свой дом наш хозяин, несколько лет подряд корчуя в одиночку пни, проводя канавы, осушившие луговину у реки, и расчищая кустарник…

Последний поворот. Из-за кустов лодка вырывается на гладкий, всё расширяющийся плёс перед усольской плотиной.

Посёлок на правом берегу, Усолье — на левом. Чёрные вековые избы, редкие вётлы над рекой за плотиной, лодки, по три, по четыре приткнувшиеся к вбитым в берег рельсам, мостки. Древнее, как Русь, село, выросшее в незапамятные времена у маленьких соляных источников, «у соли».

Соль была дорога. Соль привозили из Крыма и с Белого моря. Во времена Московской Руси на счету был каждый соляной источник. Возле него вырастали сёла, ставились варницы — помещения с печами, в которые были вмазаны огромные сковороды-црены, где медленно выкипал, варился соляной раствор. Для добычи раствора рылись глубокие колодцы, в которые опускались и забивались ещё глубже массивные деревянные трубы, составлявшиеся из двух половинок выдолбленных древесных стволов, стянутых железными обручами. По таким трубам и качали раствор. Остаток одной из них, найденный здесь же, хранится теперь в переславском музее.

Первые письменные сведения об Усолье как дворцовом владении относятся к началу XV века. Уставной грамотой 1555 года Грозный пожаловал было усольцев правом самоуправления, но вскоре отдал село, правда, без соляных варниц, переславскому Данилову монастырю, а варницы — Троице-Сергиевой лавре. В XVII веке, после Смутного времени, когда «животы (скотину) пограбили у них воры литовские люди», как писали в челобитной усольцы, захирело, заглохло соляное производство. Пашенные крестьяне сидели на земле, остальные занимались торговлей «с возов и походячим торгом», бондарным делом и рыболовством. От прежних двух посадов по обеим сторонам реки сохранился только один, и в память о соляном промысле торчит над рекой, словно прыщ, крутая Козья горка, сложенная отвалами из шахт. За Козьей горкой растянулись огороды подсобного хозяйства торфопредприятия.

Плотина — самое трудное место на реке: лодку надо перетаскивать через дамбу. Из-за плотины, из-за построенной в начале века усольцами водяной мельницы, полусгнившие сваи которой ещё можно видеть возле усольского берега, у крестьян шла долгая тяжба с переславскими рыбаками, утверждавшими, что из-за плотины вода в озере поднялась и грозит подтоплением

Рыбачьей слободы в Переславле. Дело тянулось бесконечно, приезжали топографы, вымеряли уровень и решили, что на метр воду можно поднять, особой опасности ни для Рыбачьей слободы, ни для самого озера такой подъём уровня не представляет. Вот если бы выше…

Так появилась на Вёксе плотина с мельницей, работавшей довольно долго, чуть ли не до начала войны. Но теперь от бывшего затона перед плотиной осталось огромное болото, заросшее камышами.

И хотя уровень плотины со временем подняли ещё на полметра, чистая вода продержалась здесь недолго. Подпруженная река стала рассадником ряски и гниющих водорослей, которые стали медленно подниматься вверх по Вёксе, замедляющей своё течение в жаркие летние месяцы.

Разгружая лодку, переносим вещи на другую сторону дамбы. Потом долго ходим и собираем разбросанные по берегу чурки, палки, колья. Летом, когда движение на реке непрерывное, здесь всегда лежат самодельные катки. Сейчас их ещё нет.

Собранное раскладывается на пути лодки тщательно и продуманно. Первое бревно — на переломе дороги и откоса, самый лучший и гладкий каток — посредине, остальное — ближе к другому краю. Вадим заходит по колено в воду, чтобы толкать корму. Мы с Сашей хватаемся с двух сторон за железный шкворень, стягивающий борта у форштевня.

— Раз-два! Раз-два! А ну ещё! Ещё!..

В Усолье, со стороны Купанского, идут домой два моториста — усталые, чумазые, в испачканных мазутом спецовках. Не здороваясь, не спрашивая, как и что, подхватывают с обеих сторон лодку за сиденья. Вот она уже катится по чуркам, нос нависает над скатом, мы только успеваем направлять, и лодка плюхается в реку по ту сторону плотины.

— Спасибо!

— Не за что… Ни рыбы, ни чешуи!

Повороты, повороты… Крутится и петляет Вёкса вокруг Усолья, то отдаляясь, то подмывая нависшие плетни огородов.

Кажется, уже давным-давно отплыл от села, но вот ещё один поворот, и оно снова надвигается на тебя своими серыми избами. Наконец петли поворотов и прибрежные кусты скрывают дома окончательно, и мы оказываемся в мире почти столь же девственном, как столетие назад.

Если Плещеево озеро залегло в глубокой чаше безлесных холмов, с которых глядятся в его зеркало деревни и монастыри, то озеро Сомино отгородилось от мира коричневыми полями торфа, чащобой болотистых кустарников и беспредельным

разливом лесов. Озеро зарастает. К воде почти нигде нельзя подойти, берега озера колышутся, уходят из-под ног, а снизу с бульканьем подступает коричневато-мутная болотная вода. И глубина в нём редко где больше метра — ниже лежит чёрный вязкий ил. В особо жаркое лето озеро пересыхает, зарастает и становится похожим на большой цветущий луг, по которому разгуливают чайки и утки, гнездящиеся во множестве в камышах.

И лишь по центру его струится голубая живая дорожка: Вёкса бежит сквозь озеро и там, где оно кончается, становится Нерлью Волжской.

Я люблю Сомино. К нему подплываешь всегда неожиданно, петляешь, путаешься в многочисленных протоках дельты, слышишь за камышами гомон чаек, но только одна протока, сворачивающая под углом у Монашьего острова, выводит лодку на озёрную гладь.

Это единственный на озере островок — маленький, низкий, намытый весенними разливами Вёксы, заросший теперь камышом и тростниками. До революции озеро Сомино принадлежало Никитскому монастырю. Тогда на островке стояла избушка и в ней, карауля рыбные ловы от окрестных крестьян, жил брат Кирилл, ражий, здоровый, пивший горькую и озиравший с крыльца избушки своё озёрное хозяйство. Впрочем, на рыболовов, будь то с удочкой или острогой, он смотрел сквозь пальцы, следя только, чтобы в озере не вымётывали сетей и не ставили верши.

Старожилы усольские хорошо помнили Кирилла и показали мне бабку Матрёну, больную, сгорбленную старушку, ходившую с батожком через плотину в магазин, когда-то первую красавицу на селе, бегавшую по болотистой тропке на свидание к силачу монаху да так и оставшуюся бобылкой, когда в двадцатом году монах, занявшийся к тому времени бондарным делом, был затребован в какие-то иные, более далёкие края…

За лесом, за невысокими буграми северного берега виднеются избы Хмельник. ов. Ещё дальше поднимает из леса белую иглу колокольни гора Новосёлка.

Сегодня на озере, кроме нас, только одна лодка. Какой-то усолец медленно движется вдоль хмельниковского берега и тычет в воду острогой. Время от времени он ударяет ею о борт и сбрасывает в лодку рыбу. Пока ещё Сомино рыбой богато.

Солнце бьёт в глаза, отражается от воды; лёгкий ветерок доносит с берега медовый запах цветущего ивняка. Тишина, налитая всклень весенним птичьим гомоном. Сегодня наш день. И, бросив якорь в начале Нерли, мы закидываем удочки, полулёжа следим за убегающим по течению поплавком и даже не разговариваем.

12

Вчера был в купанской школе и договорился, что на раскопках будут работать старшеклассники. К сожалению, не раньше конца мая!

А сегодня, благо погода исправилась, закончили начатый шурф.

Мы заложили его на самом конце будущих раскопов, вдали от реки. Находками он не порадовал: здесь был край поселения.

Большой раскоп тут можно не разбивать, но траншея нужна обязательно. Надо увидеть, как образовалась дюна, на которой возникло поселение. Была ли она действительно дюной, перевеваемой ветром, или сложили её озерные пески и сейчас она отмечает древний берег усыхающего Плещеева озера?

Есть у меня давняя мечта, сладкая и нереальная. Вот так, ранней весной, когда только ещё сошёл снег с полей и бугров Переславля, а земля, лиловая и влажная, лежит в первозданной наготе под греющим её солнцем, мне хочется подняться в воздух на одном из вертолётов, облетающих зелёные моря Залесья. Хочется не в воображении, не на карте, а воочию увидеть сверху этот край. Вглядеться в него, увидеть его весь сразу, а не маленькими, микроскопическими порциями в ракурсах и поворотах холмов.

Это не прихоть. Это действительно нужно, чтобы проверить всё то, что было продумано, прочувствовано, предсказано…

«Большое видится на расстоянии…» Человек познал шаровидность Земли давно. Позднее он смог это исчислить, проверить и доказать. И всё-таки в глубинах своих душ человечество было потрясено свидетельством первого, кто глянул на Землю из космоса и принёс весть, что она действительно круглая…

Из вычислений, выкладок топографов, из линий горизонталей, проведённых чертёжниками на картах, я знаю, что Переславль лежит в углу грандиозной впадины-треугольника, открывающегося на северо-запад, к Волге. Этот треугольник, ограниченный высокими моренными берегами, залитый водой бесчисленных озёр, коричневой жижей торфяных болот, отделённых друг от друга невысокими узкими песчаными грядами, в конце ледникового периода был обширным пресноводным водоёмом.

На высоких холмах расстилалась тундра с чахлыми берёзками, кривыми сосенками и ёлочками. Медленно, очень медленно одевалась в зелёный наряд земля. Но чем дальше на север отступал ледник, чем теплее становилось лето, тем выше

поднимались первые молодые леса.

Одновременно мельчал и водоём. Уровень его падал то быстро, то замедляясь, и его историю можно читать по сохранившимся террасам на склонах коренных берегов, по изгибу профиля, ступенчатости оврагов и балок, разрезающих склоны, по той летописи земли, которая именуется рельефом.

Плещеево озеро удивляет всех. Можно идти и идти от берега, а вода все будет по колено, потом, словно нехотя, поднимется до пояса, но настоящая глубина начинается за полкилометра. Там она резко увеличивается.

Когда мне случалось ловить рыбу с лодки в озере, часто бывало, что на носу, закреплённом якорем, отмериваешь по канату всего три метра, а на корме через каких-нибудь четыре метра — десять-двенадцать.

Впадина на озере Сомино по сравнению с Плещеевым озером как булавочный укол. Её диаметр пятнадцать-двадцать метров, а глубина сейчас — не более двенадцати. Яма. Так её и называют — «яма» и встают над ней на лодках, чтобы ловить окуней. Но эта яма оказалась для науки неоценимой, поскольку её первоначальная глубина была много больше, около пятидесяти метров, и вся она оказалась заполнена сапропелем, озёрным илом. В яме озера Сомино исследователи нашли самую большую в мире толщу ила — самую подробную летопись климата и растительности этих мест за все послеледниковое время.

Все знают цветочную пыльцу. Весной, когда цветут деревья, и в начале лета лужи бывают затянуты зернистой жёлтой плёнкой. На озёрах у берега она колышется под ветром, как ряска. Ветер разносит её за сотни километров. Кажется, такая нежная вещь! А пыльца может сохраняться миллионы лет.

Каждый год миллиарды микроскопических пыльцевых зёрен ложатся на почву, выпадают вместе с илом на дно озёр, откладываются в торфяниках. Изучением пыльцы занимаются палинологи. И она им рассказывает о древних лесах, которые росли здесь тысячелетия назад, о том, какие породы деревьев были в этих лесах, о климате. Для этого лишь нужно взять из разреза почвы в определённой последовательности образцы, обработать их, чтобы выделить всю пыльцу, и подсчитать под микроскопом количество пыльцевых зёрен каждого вида. Тогда, сопоставив процентное соотношение в каждом образце, можно определить, какие породы здесь росли, каких было много, а каких мало. Именно эти соотношения и будут показывать, как менялся климат.

Когда человек начал обживать берега Плещеева озера, современный рельеф уже полностью сложился. По берегам

шумели леса, изобилующие той же дичью, что водится в них и сейчас, только дичи было несравненно больше; в реках и озёрах, которые простирались на месте современных болот и озёр, водилось много рыбы, и человек бил её острогой так же, как и теперь иногда охотятся на неё современные переславцы, ставил ловушки, сплетённые из веток, перегораживал реки заколами…

Все это происходило в неолите — новом каменном веке.

В повседневной жизни своей мы пользуемся обычным календарём, счисляя время днями, месяцами, годами, отсчитывая десятки и сотни лет, но почтительно останавливаемся перед тысячелетиями, лежащими как бы за пределами даже обобщённого человеческого опыта. Вот почему, обращаясь к истории всего человечества, мы переходим к иному счислению, определяя эпохи характерными, самыми важными завоеваниями человека, изменяющими его жизнь, когда в быт входят новые материалы, новые орудия труда, когда человеку подчиняются новые силы природы.

От золотого, серебряного, медного и железного веков римского поэта в обиходе науки остались лишь два последних. И это не случайно. Если два первых были лишь метафорой, то последние определили два главнейших рычага, перестроивших и экономику человеческого общества, и его самого.

Характерно, что и наше время, двадцатый век, столь богатый событиями, резкими общественными сдвигами, эпоху революций и реакции, мы пытаемся определить не по многообразию общественно-политических формаций, существующих бок о бок в сегодняшнем мире, а по развитию его научно-технической мысли, по вершинам технических достижений.

Правда, именно двадцатый век оказался удивительно многолик. Сначала его окрестили «эрой электричества», и это было справедливо, потому что совершеннее электричества люди не могли себе ничего представить. Но уже колдовали над радием супруги Кюри, затем Н. Бор открыл секрет атомного ядра, и, наконец, над развалинами Хиросимы вспухло грибовидное облако, объявившее начало «атомного века». А меньше чем через два десятилетия перед человеком открылся космос, положив начало «космическому веку»…

Что определило эпоху, которую археологи назвали греческим словом «неолит»? Открытия, неизмеримо меньшие современных и в то же время неизмеримо более значительные: лук со стрелами, топор и глиняная посуда.

Стрела разит на расстоянии. Если раньше, чтобы поразить зверя, нужно было подобраться к нему вплотную, то теперь стрела достаёт его издалека. Стрела и лук решили проблему пищи —

проблему вечную, о которой ещё никто не посмел сказать, что она тривиальна из-за своей повседневности. Пища — основа жизни. «Не хлебом единым…» — это гораздо позже. Но стрела стала большим, чем только орудием войны и охоты. И лук, посылающий смертоносную стрелу, очень скоро породил лучковую дрель, а сама стрела превратилась в сверло, создающее отверстия в камне и кости, которым «высверливают» из дерева огонь. Память о первых каменных свёрлах до сих пор жива в сверхзвуковой скорости современных сверлильных станков, в алмазных бурах, вгрызающихся в недра земли, в змее бормашины.

Топор подарил человеку дерево, которое стало с тех пор пластичным и покорным. С помощью топора человек извлёк из дерева дом, лодку, челнок для плетения сетей, создал первую мебель. На протяжении всей этой эпохи топор видоизменялся, трансформировался, порождая своих братьев и сыновей — долота, стамески, кирки, мотыги, рудничные кайла, тесла…

Из мягкой и податливой глины, которую размывала вода, человек создал первый искусственный камень: придав ему форму, он обжёг его на огне и собрал в него эту же воду.

Горшок был не просто первой кастрюлей. Он стал хранилищем жизни, прообразом складов, холодильников, шкатулок, коробок, консервных банок, огромных нефте- и газохранилищ, колб и реторт, уникальной химической посуды. Запас пищи — это концентрированное время, которое можно обратить на творчество, время, похищенное у повседневной заботы о пище. Глиняный горшок остановил человека в его странствиях и дал ему досуг, чтобы познать себя и природу. Освободив время, он освободил мысль.

Чем дальше в глубь времён, тем призрачнее рубежи, условнее вехи. И в собственном, личном прошлом мы очень скоро теряем часы и дни событий, определяя лишь месяцы и годы. В исторические времена от годов мы переходим к десятилетиям, потом — к векам, а вскоре уже начинаем отсчитывать тысячелетия, как отсчитываем минуты или секунды: несоизмеримые с нашей собственной жизнью исчезающе малые величины оказываются соразмерны необъятно большим. Вот и в этом случае, прорываясь к истокам возникновения и формирования человека, так легко сделать шаг от сотен тысяч лет к миллионам, которыми определяют возраст древнейших каменных орудий. Это палеолит, древний каменный век, верхний рубеж которого совпадает с концом последнего оледенения, приходящимся на двенадцатое-десятое тысячелетие до нашей эры.

Между последним оледенением и нашим временем, эпохой

голоцена, лежит переходный период, именуемый мезолитом, средним каменным веком. Как всякий переход, он трудноуловим, но именно через него лежал путь в неолит, новый каменный век.

В течение нескольких миллионов лет происходило становление человека как вида. За четыре или пять тысяч лет, что продолжался неолит, была создана цивилизация. Во всяком случае — заложены её основы.

Здесь, на Переславщине, остатки поселений неолитических охотников и рыболовов лежат в золотистом песке по берегам бывших и ныне существующих рек и озёр. Ныне существующие — это просто и понятно, это — перед глазами и под ногами. А вот бывшие надо искать. Для этого и надо подняться в воздух. Сверху виднее. Сверху видны морщины земли, которые она замазывает наносами и припудривает зелёной пудрой растительности.

Чтобы увидеть морщины, надо взглянуть в лицо.

Пока мы рассматриваем то, что выпадает из этих морщин.

13

Едва только установилась погода и солнце начало греть и сушить влажную землю, выгоняя из неё острый ёжик бойкой весенней травы, как мы вернулись на Польцо.

Нет денег? Нет рабочих? Но три человека не так уж мало, когда есть уйма мелких дел, теодолит с рейкой, светит солнце и можно не спеша снять обстоятельный план древнего поселения со всеми ямами, канавами, раскопами прошлых лет, заложить шурфы, чтобы хоть примерно представить, что тебя ждёт впереди…

Глядишь, и экспедиционный день покатился по наезженной своей колее, так что к вечеру мы возвращаемся домой с намятыми руками, усталые, голодные, радующиеся и домашнему уюту, и сухому теплу.

И комната наша успела преобразиться.

В углах понемногу растут горки пакетов с находками; другие, развёрнутые, лежат на подоконниках, дожидаясь своей очереди; зелёные чехлы удочек, спиннинга, ружья; возле белой печи приткнулся мышино-серый ящик с теодолитом. На вьючных ящиках рулоны чертежей раскопов прежних лет, а рядом новый, только ещё проступающий на оранжевой миллиметровке план, прикнопленный за неимением чертёжной доски к большому листу фанеры…

Мы вернулись домой после полудня с твёрдой решимостью никуда больше не двигаться. Поработали, хватит! И вот… сегодняшнее число я обвожу на календаре красным карандашом, на столе, освобождённом от чертежей, отпотевает охлаждённая в Вёксе бутылка шампанского, невесть как оказавшаяся в здешнем сельпо. А рядом — кучка неолитических черепков, несколько отщепов, скребок и маленький наконечник стрелы медово-жёлтого кремня.

Торжественный и важный Вадим поднимает синюю эмалированную кружку:

— Что ж, за удачу, отцы-благодетели!

…Всё началось с пустяка: у нас кончились сигареты.

Эту печальную новость Саша провозгласил после того, как долго рылся во вьючном ящике, отданном под его хозяйственные нужды. Сами виноваты: на Сомино ездили, а в магазинзаехать поленились.

Чистые бревенчатые стены светятся под вечерними лучами солнца. Поблёскивая очками, Саша копается в консервной банке,

изображающей у нас пепельницу, надеясь найти чинарик побольше, и ворчит по поводу того, что начальство никогда завхозов не слушает. Ему, начальству, только всё вынь да подай, а чтоб было вынь да подай, то об этом позаботиться вовремя нужно. Вот ведь говорил он, что пора в магазин отправляться, так нет, не послушали его, хотя ещё сегодня утром — Вадим свидетель — он, завхоз, выдал последнюю пачку сигарет и предупредил об этом…

Насколько помнит начальство, то бишь я, ни вчера вечером, ни сегодня утром никакого разговора о сигаретах не было.

Но мне не хочется спорить, тем более что Саша, насколько я понимаю, сейчас чувствует себя виноватым. А Вадим спит, забравшись в мешок с головой. Вадим отличается удивительной способностью засыпать сразу, в любом положении, на полуслове.

И в этот момент в комнате появляется Судьба.

— Можно к вам? — входит в комнату Прасковья Васильевна, как обычно вытирая руки передником. — К вам я, Александр Сергеевич. В магазин сегодня не собираетесь? А то за хлебом я не ходила, не успела, да и масло ваше кончается…

Ну, если и хлеба нет… Вадим поднимает голову и близоруко щурится. Саша смотрит на меня и молчит.

Я понимаю моих друзей: они знают, что ехать надо, но ноги гудят от усталости, а спальный мешок на раскладушке куда как приятнее жёсткого сиденья лодки! Знают, что ехать всё равно надо, но делают вид, что ждут только моего решения — решения начальника экспедиции.

— Что ж, отцы-благодетели, ехать надо! Кто со мной?

Минутное молчание. Вадим надевает очки и внимательно смотрит на Сашу.

— Так уж и быть, Вадим, поезжай ты, — лицемерно вздыхает тот. — У тебя бессонница, нервный ты стал какой-то… Вот проветришься, может, лучше спать будешь! — Голос Саши приобретает томную глубину. — И аптекаршу опять же увидишь, уступаю тебе, что поделаешь, приходится другу уступать и в этом!

Но Вадима так просто не взять.

— Да я, Александр Сергеевич, за друга не то что аптекаршу — своей спальный мешок отдам, вот ей-богу! — божится Вадим, и не думая покидать нагретое место. — Вот скажи, Саша, нужны тебе мои сапоги, чтобы ехать? Бери! Не жалко! Плащ нужен? И плащ бери! Канистру? Мотор? Лодку? Да что хочешь, слова не скажу! Даже аптекаршу, раз она тебе нравится! Даром, что я не завхоз, как ты, а всего только зам по научной части…

Хватит. Так в магазин действительно опоздать можно. И я решительно поднимаюсь.

— Эй, отцы! Ладно вам дурака валять! Надо ехать? Надо. Всё.

Подъём!

— Уж вы тогда и керосинчику прихватите, — просит Прасковья Васильевна, с улыбкой наблюдая привычную сцену. — Сейчас я вам бидоны приготовлю…

Кряхтя и потягиваясь, «замы» навивают портянки, всовывают ноги в сапоги, расправляют плечи под отсыревшими ватниками, показывая своё неодобрение начальнику, который не мог обеспечить экспедицию сигаретами и хлебом.

Сборы недолги. Мотор повешен на корму, весло в лодке, бидоны и бак на месте, рюкзак для продуктов брошен в нос. А где инструменты?

— Известно где — на вьючном ящике у окна! — брюзжит более всех недовольный Саша.

— Нет их там, уважаемый товарищ завхоз, — с изысканной язвительностью произносит Вадим. — В другое место положить изволили…

— Коли нет, то с себя и спрашивайте! — Саша идёт в атаку. — Последний раз у кого шпонку сорвало? У нашего товарища начальника, так? Вы и чинили. Ты на веранде посмотри, где мотор стоял…

Что правда, то правда. Не везло мне на обратном пути от Сомина озера. От плотины до дома вёл Саша — и благополучно.

Вадим возвращается с веранды пустой.

— А на плотине мы не могли оставить, когда лодку перетаскивали на обратном пути?

— Не выдумывай! Я сам носил и ещё потом посмотрел, не забыли ли что, — отмахивается Саша. — Куда-нибудь вечером сунули…

Похоже, я начинаю догадываться.

Последний раз мы меняли шпонку перед Усольем. Потом нужды в инструменте не было, и мы о нём не вспомнили. И если его нет сейчас здесь, то, вероятнее всего, он остался лежать на месте последней починки. Значит, надо ехать туда. Значит, опять таскать лодку через плотину. Значит, нельзя по дороге задеть ни за одну корягу или мель: чинить нечем, нет даже запасного ключа… И это вовсе не значит, что наш инструмент дожидается нас на том месте, где мы его оставили. Скверная ситуация!

Вадим соглашается с моими соображениями, а Саша, обиженный незаслуженными по- дозрениями, становится в позу:

— Вы, отцы, теряли, вы и ищите! Я — завхоз, моё дело до магазина. Через плотину сами будете лодку таскать…

Ну, это мы ещё посмотрим… Ворча, мы усаживаемся на свои места, Вадим отталкивается веслом от берега, и я пытаюсь завести мотор. Конечно, опять капризничает! Рывок… ещё

рывок…

— Что, Ленидыч, не хочет? Ишь, конь у тебя какой — с норовом! — слышу я голос с берега. На мостках стоит Роман Иванович — в брезентовом плаще и резиновых сапогах, он только что вернулся с работы. — А я тебе тут черепочки принёс. На подсобном хозяйстве за варницами был, на грядах собрал. Может, нужное что?

Вадим отталкивается веслом и снова подгребает к мосткам.

Из карманов плаща на траву Роман вываливает груду черепков — плоские серые донца, резко отогнутые края горшков, куски стенок с одной или двумя прочерченными по глине полосами. Это уже по ведомству Вадима: он занимается славянами, а перед нами самая что ни есть типичная славянская керамика. Вадим осматривает черепки, вглядывается в излом, где блестят мелкие чешуйки слюды…

Один черепок привлекает его внимание:

— А это что-то раннее, может, даже двенадцатый век… Гляди, отец, как раз для нас!

Я знаю, на что намекает Андрей. Это началось ещё в первый год.

Тогда осенью я остановился не в Купанском, а в Усолье, в доме Назара Павловича Михайлова. Его дом, примыкавший к лесхозу, стоял на отшибе от села, почти в самом лесу. Во время войны в этом доме жил М. М. Пришвин, и меня поселили как раз в пришвинской комнате, из окна которой сквозь частокол сосен видна была дорога, река, посёлок и белая церковка Купани, стоявшая на противоположном крае Купанского болота. Степан, сын Михайлова, работавший монтёром на торфопредприятии, жил в этом же доме и каждый вечер приходил ко мне, чтобы посмотреть новые находки и «пофилософствовать».

Я знаю, на что намекает Вадим.

Столкнулся я с этим ещё в первый год своих разведок.[8] Тогда я жил не в Купанском, а в Усолье, у Михайловых. Их дом стоял на отшибе от села, почти в самом лесу. Во время войны в этом доме жил М. М. Пришвин и меня поселили как раз в пришвинской комнате, из окна которой сквозь частокол сосен видна была дорога, река, посёлок и белая церковка Купани на противоположном крае купанского болота. Сын Михайлова Степан, работавший монтёром на торфопредприятии, приходил ко мне каждый вечер, чтобы посмотреть мои находки и, как он выражался, «пофилософствовать». И хотя я только ещё входил в первобытную археологию, во мне уже жила мечта найти неолитический могильник. Чем больше я открывал стоянок, тем больше крепла во мне уверенность, что должны быть здесь и

могильники.

Но где?

— А ведь я, кажется, знаю, что тебе нужно. И где искать знаю, — сказал как-то со своей обычной хитрецой Степан.

Это было в один из самых дождливых дней, когда я решил отсидеться дома.

— Во-он, видишь трубу? — Степан подошёл к окну и показал на видневшуюся из-за домов посёлка трубу купанской бани. — Теперь считай столбы. Второй столб слева от магазина стоит возле пятнадцатого барака. Я сам ставил этот столб два года назад, и когда копали яму, череп вытащили. Жёлтый, трухлявый…[9]

— А с черепом было что-нибудь? Он глубоко лежал?

— Лежал неглубоко, так с метр от поверхности… А больше ничего не было…

Степана я уговорил быстро, и, невзирая на дождь, мы отправились с ним на противоположный берег.

Столб стоял на своём месте. Подумав, мой проводник не очень уверенно сказал, что теменем череп был обращён к реке. На запад? Следовательно, если в яму попал только череп, само погребение следовало искать к востоку от столба.

Степан был огорчён, мне кажется, больше, чем я сам. Да что говорить, конечно же, было обидно вместо чаемого крупного открытия получить заурядное славянское погребение с не менее заурядными вещами!

Между тем, пеняя на судьбу, я был не прав. Открытие произошло — это я его не смог углядеть и оценить. И понимание, как часто случается, пришло гораздо позже, вместе с опытом и знанием…

Начало этой истории было положено более ста лет назад, в самый разгар ожесточённой полемики между западниками и славянофилами, когда на заседании учёных обществ, вплоть до Императорской Академии наук, в литературных салонах и просто в кружках друзей велись споры об исторических путях России, о смысле русской истории, об истоках славянства и его превосходстве над всеми другими народами и племенами, как отмеченном особой благодатью. А вместе с этими спорами, в пылу которых над далёким Босфором начинал уже мерцать золотой крест, попирающий турецкий полумесяц, с неизбежностью поднимался вопрос о ранней российской истории, о достоверности летописных известий, которые только и могли наметить пути к познанию прошлого и настоящего.

Так неожиданно взошла на историческом небосклоне звезда графа Алексея Сергеевича Уварова, на многие десятилетия

определившего развитие археологической науки в России и интерес к историческим знаниям вообще.

Граф А. С. Уваров, основатель московского Исторического музея и Русского археологического общества, был одним из первых крупных учёных-археологов. Заслуги его перед археологией, в особенности первобытной, до него не привлекавшей специального внимания исследователей, неоспоримы. Но и по сей день археологи-слависты с грустью вспоминают его имя. Задумав подтвердить или опровергнуть летописи, повествующие о раннем расселении славянских и иноязычных племён, Уваров решил предпринять раскопки курганов, скрывавших под своими насыпями останки обитателей Владимирской (по летописи — мерянской) земли.

А. С. Уваров был человеком с размахом, но главное — с необходимым капиталом и связями, и в 1854 году командировал археолога и нумизмата П. С. Савельева, выхлопотав ему полк солдат, в Переславский уезд. Раскопки почти двух тысяч курганов, оставшихся в наследство от веков, были закончены чуть ли не в один сезон. Результатом была великолепная выставка найденных предметов, которую лично осмотрел император, первая монография о древней истории центра русской земли — «Меряне и их быт по курганным раскопкам» — и попрёки последующих поколений археологов, в наследство которым достались груды прекрасных вещей, однако никак не паспортизированных: в день вскрывалось до полусотни курганов, а документация, как видно, не велась…[10] Вещи оказались «немыми». Заставить заговорить их могло лишь чудо — открытие новых могильников того же времени, не замеченных усердным исследователем.

Но П. С. Савельев поработал на славу. Не раз и не два, обходя вокруг Плещеева озера, мы с Вадимом пытались усмотреть среди громадных оспин, испещривших зелёные склоны берега — у села Веськова, на горе Гремяч возле музея «Ботик», под Городищем, в зарослях дубняка и орешника под деревней Криушкино, — следы пропущенных или оставленных раскопщиками насыпей. Напрасно! Словно гигантским гребнем в сотни лопат был «прочёсан» этот край. И, как бы по молчаливому сговору, археологи-слависты поставили крест на этих местах.

Погребение, раскопанное мною в Купанском, было сродни чуду. Правда, лишь в том случае, если здесь были и другие захоронения, а не одно это случайное погребение.

Обо всём этом мы не раз говорили с Вадимом. В отличие от меня он верил, что находка не была случайной и в песке купанских дюн, под домами и бараками старого посёлка, лежит

никем ещё не тронутый славянский могильник.

— Понимаешь, — доказывал он мне, — ну просто должен быть здесь могильник! И место подходящее, и песочек… А время-то какое: одиннадцатый век, славяне только-только сюда пришли, расселились, ещё о новом Переславле и мыслей нет, живут на Клещине городище. Но если есть здесь могильник, должно быть и поселение. Ты мне только пару черепков покажи, а дальше я уже всё сам найду.

Но черепков как раз и не было. И теперь, вертя в пальцах вот этот единственный, принесённый из-за Козьей горки Романом, Вадим поглядывал на меня хитрым заговорщическим взглядом, в котором искорками мерцала надежда: а вдруг то самое?

— Ну как, пойдут для дела?

— Ещё бы, Роман Иванович, спасибо большое! Так, говорите, у варниц? Обязательно посмотрим…

Вадим расстёгивает ватник и старательно прячет черепок в нагрудный карман. Остальные Саша уносит в дом. «Ещё черепочков прибавилось!» — говорит, наверное, сейчас Прасковья Васильевна.

Снова усаживаемся в лодку. На этот раз мотор заводится неожиданно быстро, и мы скользим по свинцовой холодной воде.

За те несколько дней, что осваиваем мотор, я успел привыкнуть к новой скорости проносящегося и меняющегося вокруг пейзажа. Я уже не напрягаюсь, у меня не устаёт рука, не затекает спина, а главное, сквозь грохот мотора я ухитряюсь слышать, о чём говорят мои друзья.

Они удобно устроились на носу, следят за проплывающими в небе кронами сосен и ведут неторопливую беседу всё о том же неолите, которому посвящены здесь все наши дни. На этот раз темой дискуссии служат размеры Польца, та громадная территория — около ста тысяч квадратных метров, — по которой разбросаны находки. Настоящий районный центр тех времён! И удивительно насыщенный всем, чем только можно. По прошлым раскопкам я знаю, что иногда здесь нельзя двинуть лопатой и слой приходится разбирать ножом.

И сейчас Саша, наш главный спорщик, кипятится, доказывая Вадиму, невозмутимо взирающему на небо, что здесь-то не так.

— Пойми ты, не может это быть одним поселением, не может! Наверняка их здесь было несколько… А каждое последующее не совпадает с предыдущим. Вот копай на разных концах — и материал будет разный…

— Может быть, они жили здесь непрерывно.

— Чудак! Ну сколько жили? Тысячелетие? Два? И на одном месте всё?

— Куда же им бежать было? И зачем?

— А войны? А эпидемии?

— Что же что войны… Из-за чего воевали? Опять же из-за озёр, из-за дичи. Ну, пришёл кто-нибудь, перебил здешних, сам на их место сел… Тут поинтереснее штука есть: откуда они кремень брали? Своего-то у них не было — нет здесь нигде известняков, не выходят они на поверхность. На Оке или на Верхней Волге просто: поработай с часок киркой на обрывах, и хватит тебе кремня на целый год…

— Вот и привозили оттуда.

— А там свои гаврики сидели и за так кремня не давали. А кремень верхневолжский у них есть. Вот тебе и загадка!

— Слушай, начальник, а что они пили? Для сугрева-то? Им ведь даже пива сварить не из чего было — земледелия-то ещё не знали…

— Мухомор пили, — кратко бросаю я. — А заготавливали они мухомор по осени всем обществом и выдавали по календарным праздникам на разгул души…

— Мухоморовку, значит… Слушай, а соль они знали?

— А хлебушек белый пекли? А сельдь-залом делали? — ехидствует над Вадимом Саша.

Но тот знал, что спросить.

Мы знаем много, но, в сущности, ничтожно мало. Мы ухватываем только схему, только генеральную линию исторического процесса, но это не означает, что мы ухватываем саму жизнь. Достаточно открыть любой учебник истории, любой раздел его: там будет перечень событий, лиц, даты, будут названы силы, суммированные до безликости, которые эти события вызвали, но не жизнь.

Облик жизни складывается из тысячи мелочей, на которые живущие не обращают внимания, не замечают их до тех пор, пока вдруг та или другая мелочь из этой жизни не выпадет.

Что мы знаем о пище неолитического человека — не о том, что он употреблял в еду (хотя и этого мы как следует не знаем), но о том, как именно он употреблял эту пищу?

О том, что он её варил, можно судить по черепкам, сохранившим остатки нагара на стенках горшков. О том, что он ел и рыбу, и мясо, свидетельствуют кости рыб и животных. Но как готовил человек эту рыбу и мясо? Чем приправлял и заправлял? Ел в виде шашлыков, рагу, супов, похлёбок? Это от нас скрыто, как и то, употребляли ли в неолите соль? А ведь человек мог обратить на неё внимание, по крайней мере здесь, рядом с выходами соляных источников.

— Думаю, знали. Хотя прямых доказательств этому нет…

Правда, у меня есть ещё доказательства косвенные, вернее, догадки. Если их привести в стройную систему, они тоже свидетельствуют «за». Первая из них та, о которой только что говорили Вадим и Саша.

Польцо — совершенно исключительное по размерам древнее поселение, для наших мест, разумеется. В его земле хранятся не только напластования разных культур, сменявших друг друга, но, что гораздо загадочнее, вещи явно не местного происхождения. Об этом можно судить по формам орудий, по материалу, из которого они сделаны, по орнаменту на черепках, по составу глины. Их мало, но они всё же есть.

И зачастую их родина оказывается за несколько сот километров от Плещеева озера.

Как и почему — второе важнее — попали они сюда?

Вывод напрашивается один: в результате торговли, обмена. Но что могли предложить в обмен обитатели этих мест, не имевшие даже собственных месторождений кремня, столь же важных для той эпохи, как нефть, урановые руды, железо и марганец для современной?

Соль?

— А ты не пробовал искать у варниц? — спрашивает Вадим.

— Пробовал. Только напрасно: усольцы там всё перекопали. Даже намёка на черепки нет…

Последний поворот. Я направляю лодку прямо на отражение высокой трубы новой бани, которое колышется от слабых волн и, сокращаясь, убегает из-под носа. Глушу мотор, резко выкидываю его на себя из воды. Становится тихо. По инерции, теряя скорость, лодка скользит и мягко утыкается носом в трухлявые чёрные сваи. Саша выпрыгивает из лодки и рывком втаскивает нас на берег. Потом, подхватив рюкзак, идёт в магазин. Я тоже вылезаю и иду с бидоном направо, к маленькой поржавевшей крыше, торчащей над обрывом берега. Здесь керосиновая лавка.

Вадим остаётся у лодки.

Когда я вернулся, он стоял на мостках, облокотившись о перила, и смотрел на купанские огороды, сбегающие по буграм к реке.

— Что, тоскуешь?

Вадим повернулся и подбросил на ладони черепок, принесённый нашим хозяином.

— Копать надо! Быть здесь могильнику… Не зря ты тогда со Степаном погребение раскопал.

— Где копать-то? Всё не перекопаешь, а курганчиков не видно. Может, они просто какого-нибудь бедолагу, скончавшегося в пути, здесь зарыли?

Всё может быть. И мы стоим с ним рядом и смотрим на огороды.

Со стороны станции доносятся гудки маневровых паровозов. Там кипит работа, днём и ночью вывозят торф.

На противоположном от нас берегу чернеют фигуры нахохлившихся удильщиков. После тёплых дней снова потянуло холодом. Плотва уже прошла, отнерестилась, но рыболовы нет-нет да и вытащат какую-нибудь зазевавшуюся рыбину.

Наконец из-за бани появляется довольный Саша с дымящейся сигаретой. Важно, не спеша спускается он по песку, неся набитый рюкзак.

— Получайте, тунеядцы! Не какая-нибудь «Прима» — московская! — говорит он, оделяя нас красными пачками сигарет. — Вот, говорил вам, что надо заказывать хлеб? То-то, сидели бы сейчас ни с чем, а так — оставили… Небось опять о братьях-славянах вздыхали? А что, если нам их поискать, покопать, пока Польцо стоит без рабочих? А? Всё-таки дело…

— Правда, начальник, может, копнём? — загорается Вадим. — Ну, поищем день-два, пару траншеек заложим возле того столба, где ты со Степаном копал… Не найдём погребений — и бог с ними!

В предложении этом есть разумный смысл, и, многозначительно отпустив: «Надо подумать…» — я усаживаюсь в лодку, повернув её в сторону плотины…

Ушли в сторону надвигавшиеся было тучи, вечернее усталое солнце красит землю в оранжево-красный цвет. Тени длинные, почти чёрные. Повороты, повороты… Мы тарахтим вдоль Усолья, а навстречу плывут рыбаки, возвращающиеся с озера Сомина. Лодки расходятся, качаются на встречных волнах, и справа остаётся Козья горка.

— Может, прямо сейчас и заглянем на варницы? — спрашивает Саша. — А потом и за инструментом…

Он благодушествует, полуразвалившись на носу лодки. Конечно, он едет с нами — каждый из нас любит порой побрюзжать и постращать другого. Жизнь идёт, и, если она сама не подсовывает нам никаких встрясок, в меру своих сил мы пытаемся её разнообразить, как разнообразят её удачи и невзгоды.

— Бывают же самоуверенные люди, — продолжает через некоторое время размышлять Саша, так и не получив ответа на свой вопрос-предложение. — Инструмент найти! Да где же его найдёшь? Так он и ждёт нас на прежнем месте… Давно уже кто-нибудь его прихватил. А если и лежит, что ж, все кочки до самого Сомина озера обшаривать? Я и то не помню, где мы тогда

приставали: то ли до магистрального канала, то ли после. Зряшное дело!..

— Ты бы лучше по берегам смотрел, коли так, — прерывает его Вадим. — Глядишь, и помог бы найти, а то бубнишь себе под нос…

— У нас на поиски главный есть, — возражает Саша. — Небось должен же он реку знать…

Вот-вот, опять в мой огород камешек! Пусть его. Коряги — дело другое, на моторе я раньше не ходил. Но что касается берегов и ориентиров, то могу их перечислить во всех деталях от самого Сомина до Плещеева озера. И где мы приставали последний раз — тоже знаю.

— Саша, хватай струмент! — кричу я ему, круто поворачивая лодку к низкому приболоченному берегу, где на одной из кочек чернеет небольшой свёрток с ключами.

Мотор глохнет.

Несколько обескураженный, Саша вылезает на берег, поднимает брезентовый свёрток с инструментами и прыгает назад в лодку.

— Вот так-то, Сергеич, так-то! — смеётся Вадим, потом поворачивается ко мне. — Ну что, к варницам?

…Вытащив лодку неподалёку от Козьей горки, мы разбрелись по полю.

На мягкой и влажной пашне с полкилометра вдоль реки, как раз напротив Усолья, хорошо видно огромное чёрное пятно — место бывшего посада и варниц. У краёв пятно сереет, светлеет, сходит на нет, уступая место светлым белесоватым пескам, чуть приглушённым болотистым перегноем. В пятне повсюду торчат и лежат черепки. Чёрные, коричневые, красные и жёлтые, чёрные со свинцовым отливом и графитным лоском. Вот этот черепок с перехватом был частью высокого узкогорлого кувшина XVII века, а серый и шершавый скол на его поверхности — напоминание об отбитой ручке. И ручка лежит рядом, только не от него, а от какого-то другого кувшина. Донца и крутые бока маленьких горшочков, куски огромных и толстых горшков. Остатки большого и сложного хозяйства, в котором без кузницы не обойтись.

И действительно, немного спустя Вадим поднял сначала один кусок шлака, потом другой, он стал попадаться всё чаще и чаще, и наконец мы вышли на место древнего железоделательного производства. Кроме шлака здесь лежали крицы — крупные лепёшки полуфабриката, приготовленного здесь же, по-видимому, из местной болотной руды, плиты которой я изредка встречал на торфяных полях.

Мы двигались зигзагами, прочёсывая поле и собирая находки сначала в карманы, потом в отогнутые полы плащей, затем стали относить их к лодке. Ноги проваливались в рыхлую влажную землю. Начало смеркаться, а мы обошли ещё только половину участка, но — увы! — ни одного кусочка керамики, сколько-нибудь напоминавшей черепки двенадцатого века, пока нам не встретилось. Похоже, что старания наши напрасны.

Пора было возвращаться.

— Так ты говоришь, соляные источники как раз здесь были? — каким-то странным голосом спросил у меня Саша.

— Да, где-то здесь. А почему ты спрашиваешь? — не отрывая взгляда от пашни, ответил я.

— Так просто спросил. Вот знать хочется: дисциплинарный устав у нас есть, а поощрения какие-нибудь предусмотрены?

— Всё, всё тебе, Сергеич, будет: и щука с перцем, и кофе с какавой, и рыбу чистить вне очереди! — в тон ему ответил Вадим обычной экспедиционной присказкой.

— А тебе-то что с твоими славянами? — как обычно взвился Саша, но тут же сменил тон. — Похоже, начальничек, твои охотнички солью промышляли… Вот они, самые что нина есть доподлинные!

В руках Саша держал черепок. Да, это была она, такая знакомая, ни с чем её не спутаешь, неолитическая керамика: толстая, синевато-красная, покрытая глубокими коническими ямками. Средневековые усольские солевары, по-видимому, каким-то чудом не перекопали небольшой участок возле берега. И теперь, когда при пахоте плуг поднял более глубокие пласты, он выворотил этот черепок на поверхность.

Но первая радость недолговечна. И в душу закрадывается червячок сомнения: а вдруг случайность? Черепок настоящий, но поднят был кем-то не здесь, а в другом месте, на том же Польце, — поднят и положен в карман. А здесь наткнулся на него рукой и выбросил за ненадобностью. Не для мистификации, не по злому умыслу, просто так. Один ведь! А в жизни чего только не бывает…

— А вот ещё один! — воскликнул Вадим.

— И наконечник!

Да, находки не были случайными. В комке земли я углядел жёлтый отщеп кремня. Потом поднял ещё несколько. Черепок мог быть принесён сюда случайно, наконечник — тоже. Но отщепы не приносят. Их бросают, чтобы больше не поднимать. Во всяком случае, до прихода археологов.

Итак, здесь жили охотники неолита. Рядом с соляными источниками. Значит, они знали соль. Вероятно, собирали

солёную воду и выпаривали её. И менялись с соседями. За этот такой обычный минерал, без которого нельзя сейчас представить нашу жизнь, они могли получать с Верхней Волги лиловый кремень; через многих посредников — оранжево-красный, как этот закат, янтарь с далёких берегов Балтики, а потом, много позднее, от южных соседей — медные орудия и слитки бронзы. Не в этом ли и заключается загадка этих мест?

Сюда, к этим соляным источникам, отправлялись торговые экспедиции за маленькой горсткой сероватого порошка, насыпанного в кожаный мешочек…

Возвращались домой затемно. Как-то разом перекинули лодку через плотину. Над лесом, над притихшим посёлком в зеленоватом небе висела чистая весенняя луна, расстелившая по реке дрожащую призрачную дорожку. На этот раз лодку вёл Саша, и она летела на полной скорости, вспарывая плёсы, срезая повороты. Но, готовые к неминуемой, казалось бы, аварии, мы готовы были заранее простить её нашему завхозу, первым углядевшему в земле старого Усолья дырчатый неолитический черепок. Но Саша показал в тот вечер высший класс моториста. И когда с разгона лодка ткнулась в дощатые мостки возле нашего дома, взяв рюкзак с хлебом и бидон с керосином, он только произнёс:

— Реку надо знать, отцы-благодетели! Так-то вот…

Но мы простили ему даже это.

…Вот почему сегодня вечером на нашем столе стоит бутылка шампанского.

* * *

Жёлтое — пески; листва и хвоя — зелень,
Небо — сине, белы — облака…
Буйно разметавшимся деревьям
Тяжесть их шумящая легка!

Краски разольются — и болота
Залегли зелёно-голубым,
Повилика стебли обовьёт их,
Сизым дымом вспыхнет гладь воды…

Ярко и торжественно убранство
Мира, окружающего нас!
Постоянное непостоянство,

Душу всколыхнувшая весна…

И когда мучительно и сонно
Повлечёт меня к краям иным,
Вспомню снова: жёлтое с зелёным,
Белое с прозрачно-голубым…

14

Всего сто тридцать километров, и то не по меридиану, а наискосок, — и какая разница! За два дня беготни по городу я успел привыкнуть к лету, бушующему на московских скверах и улицах. А теперь, возвращаясь на Переславщину, обогнал его шествие где-то между Пушкином и Загорском.

Что было? Ничего не было. «Числа не помню. Месяца тоже не было. Было чёрт знает что такое», — мог бы я написать вслед за бессмертным Николаем Васильевичем Гоголем. Была Москва — душная, по-летнему пыльная, с обычной толкотнёй, суетнёй, очередями и тем великим множеством дел, которых никогда не переделать, из-за которых никуда не поспеть, но их всё-таки и делаешь, и успеваешь, и дышишь, как загнанная ломовым извозчиком лошадь, испуганно озираясь на вдруг успевший потемнеть, притихнуть и даже заснуть этот уже отдалившийся от тебя за две с половиной недели естественной жизни город.

А зимой живём — и ничего, терпим…

Нет-нет, скорее назад, в джунгли Вёксы, к черепкам, плотве, к наконечникам стрел, посылаемых нам через тысячелетия «папуасиками», как любовно называет Королёв древних обитателей этих мест. И не поехал бы я в Москву, если бы не всё тот же треклятый вопрос с деньгами, которые по словам Данилова уже переведены на счёт института. Туда-то они, может, и переведены, а вот когда их ждать обратно в Переславль, когда они появятся на счету экспедиции?

Но всё обошлось. Старый институтский бухгалтер, обучавший не одно поколение археологов премудростям полевой отчётности и подводным камням «финансовой дисциплины», встречавший каждого настороженным и словно бы оценивающим взглядом — сколько пришёл просить? — на этот раз позволил себе лёгкую тень улыбки и, не ожидая вопроса, протянул бумагу:

— У вас всё в порядке. Уведомление о переводе мы уже получили и завтра же вам переведём. Так что можете смело начинать!

Эх-эх, начинать… С кем, спрашивается, начинать? Нет рабочих. А если бы даже и были, то никто не согласится работать за ту плату, которая предписывается финансовой инструкцией Академии наук, той, что получает каждый начальник экспедиции перед выездом в поле. Это раньше было просто: вот деньги, а вот рабочие, которые с радостью готовы махать лопатой за восемнадцать… то бишь теперь за рупь восемьдесят в день. Не та жизнь пошла. И заработки у людей выше, и самих людей на

временную работу не найдёшь. Вот и с деньгами так же. Вроде бы они у тебя и есть, числятся, а на поверку как бы и нет: все по графам расписаны, и из пяти тысяч дай бог иметь возможность хотя бы одной распорядиться так, как это для дела нужно.

Остальное же всё — фикция, которую только с одного счёта на другой переводишь…

Тут и крутись, тут и придумывай различные комбинации. И не то чтобы незаконные, а, попросту говоря, дурацкие, чтобы порученное тебе дело до ума довести.

Ну кому, скажите на милость, я эти три или четыре тысячи переведу, чтобы он мне рабочих поставил, да ещё таких, как надо, местных, чтобы ни о жилье, ни о питании их не думать, со своими лопатами, да ещё в нужном количестве? Нет таких волшебников. И остаётся одно — школа. Местная школа ремонтируется, средств на ремонт, как всегда, не хватает, школьников директор организовать может, а уж как они там потом выкручиваться будут — не моё это дело. То ли школьникам засчитают как практику на подсобном хозяйстве торфопредприятия, то ли оформят их как бы временными ремонтными рабочими…

Главное — что в принципе с директором школы мы договорились. И он заверил меня, что не позже двадцать пятого мая первый отряд землекопов выйдет на Польцо. По нынешним временам и это — слава богу!

Так, внутренне ликующий, я ринулся из Москвы на Вёксу.

…Вечером в доме неожиданно появился Володя Карцев. Он приехал на велосипеде и, оставив его у крыльца, долго шаркал ногами в сенях, старательно счищая налипшую грязь и песок. И лишь потом, застенчиво, как-то боком, протиснулся в полуоткрытую дверь в комнату — по-прежнему нескладный, немного колючий от стеснения, каким я увидел его в первый раз у себя на раскопках.[11]

И я почувствовал, как вместе с ним вошло всё то хорошее, забавное и трогательное, одновременно романтически-героическое, что связывалось моей памятью с теми годами.

Тогда, холодной и мокрой осенью 1958 года, я впервые заложил раскоп на Польце. Целый год длились долгие, порой казавшиеся безрезультатными переговоры о том, кому финансировать раскопки. Из конца в конец шли письма, рекомендации, отношения, выезжали на место комиссии, мы шагали по Польцу, обмеривали его, сверялись с планами строительства, спорили, закладывали шурфы, тыкали пальцами в слои и потрясали друг перед другом находками… И теперь после стольких лет мне кажется, что разрешением этих дел больше всего я обязан моему другу Славе Королькову, директору торфопредприятия, которому мои

«папуасики», как называл он неолитических обитателей этих мест, были не менее интересны, чем мне. Во всяком случае вместе с началом дождей начались раскопки.

Лаборантов у меня было двое: Степан Михайлов, которого я быстро научил разбираться в керамике и нехитрых тайнах ведения плана раскопа, и Наташа Кирьянова — большеглазая, застенчивая, казалось, всему на свете удивлявшаяся студентка нашего факультета, приехавшая со мной из Москвы. Ещё было девять десятиклассников и Володя Карцев. [12]

В ту далёкую уже, холодную и мокрую осень я впервые заложил раскоп на Польце. Лаборантов у меня было двое: Степан Михайлов, которого я быстро научил разбираться в черепках и нехитрых тайнах ведения плана раскопа, и Валя — застенчивая, большеглазая, казалось, всему на свете удивлявшаяся студентка, приехавшая со мной из Москвы. Ещё было девять десятиклассников и Володя Карцев.

На долю Володи выпала нелёгкая судьба. Мать его была больна, он был старшим, и, чтобы поддержать семью, ему пришлось распрощаться со школой.

Медлительный, неторопливый, с большим, полным, ещё ребяческим лицом и крупными, уже рабочими руками, он выделялся среди остальных не только старанием и тщательностью работы, доходившей до виртуозности, но и своей пытливостью, безостановочной и ненасытной. Он хотел знать всё. Это было не праздное любопытство: Володя не мог выполнять работу, если от него был скрыт её смысл. Каждый черепок, каждое орудие, каждый отщеп, звякнувшие под его лопатой, Володя очищал от песка, вытирал о ватник и старательно разглядывал, пытаясь понять, что к чему. Наверное, потому что в известной степени считал и себя археологом, раз уж пошёл работать в археологическую экспедицию. Затем начинались вопросы. Эти вопросы, задаваемые медленно, бесконечно добродушным и благожелательным голосом, выводили из себя Валю, на участке которой работал Володя. Думаю, иногда он этим злоупотреблял: порой в его глазах мне случалось замечать огонёк лукавства, вспыхивающий и исчезающий в щёлках припухлых век… Простые, односложные ответы его не удовлетворяли. Валя выходила из себя, в сердцах кричала, бежала на другой конец раскопа, где нужно было отмечать новые находки, а Володя неприметно ухмылялся и снова брался за лопату.

Во время перерыва он подсаживался ко мне, и у нас начинался долгий разговор, останавливаемый только началом работы.

Последние годы Володя учился в Ростове, в

сельскохозяйственном техникуме, поэтому я не ожидал его увидеть здесь. Но оказалось, что с ученьем ему опять пришлось проститься из-за болезни матери, он вернулся домой, в Купанское, работал осень и зиму в бригаде плотников, а теперь, узнав о моём приезде, поспешил сюда.

— Теперь на мотовозе буду работать, Данилов меня берет, — говорил Володя, привычно растягивая слова и налегая на «о». — Дома пока всё в порядке, матери легче, а то без меня она тут маялась… Значит, вы на всё лето? Вот бы мне опять покопать с тобой!

— Ты же знаешь, Володя, что для тебя всегда и место и лопата найдутся. Приходи, я только рад буду. Поставлю тебя лаборантом, мне же легче…

— Не выйдет. На постоянную работу берут, тут думать уже не приходится. Да и по хозяйству дома тоже дел много, матери помогать надо. А так бы пошёл. Хочется! Я ведь здесь раскопки производил, не говорили тебе ещё?

— Пока не слышал. Где же это тебе довелось?

— На площадке. Весной этой, когда плотничал. Мы около девятнадцатого барака яму выгребную копали. Песок там, копать легко. Вот я копаю и смеюсь, что настоящий шурф закладываем, вот-вот сейчас покойника откопаем. Надо мной, конечно, смеяться стали: чего здесь в песке найдёшь интересного? Песок — он и есть песок… А я не зря говорю: ещё с первых штыков приметил, что вроде бы на этом месте пятно какое-то от древней ямы. Тут как раз Юра Нестеров подошёл, он в соседнем бараке живёт, у нас клубом заведует. Помнишь, приходил как-то к нам в ту осень? Подошёл, посмеялся: дескать, опять по раскопочному делу? Ну а я говорю: подожди, вот откопаю сейчас… И понимаешь, как раз в это время лопатой кость задел. Смотрю — вроде бы на человечью похожа. Тут уж я всех из ямы выгнал. Зачистить, говорю, следует, посмотреть, что и как… Мужики, конечно, ругаются, дескать, время идёт, работать надо, а ты тут с костями возишься, чистить их вздумал…

Саша с Вадимом, в момент прихода Володи игравшие в бесконечный бридж, давно оставили карты и слушали его рассказ.

— …Ну, значит, расчистил я его по правилам, скелет этот, замерил, даже компас ребята притащили… Тут народу набежало, столпились все, смотрят. Он, значит, на спине лежал, головой к реке, на запад, и ноги чуть приподняты, градусов на двенадцать. Вокруг угольки и пятно от ямы, в которую его положили.

— *А с упокойничком было что-нибудь? — не выдержал Андрей.*

— А с покойником что-нибудь было? — не выдержал Вадим.

— Особенно ничего, только вот колечко одно с лучиками,

вроде бы серебряное. Я его под черепом нашёл, когда разбирать стал… и волосы чёрные, так, пучок небольшой. А кости совсем плохие, и череп рассыпался…

— А колечко, колечко-то где?

— *А я принёс его! Его хотели в школу взять, да я не дал: затеряете, говорю, а я Андрею Леонидовичу отдам, когда он приедет. А кости у Нестерова, в клубе…*

— Принёс я его! В школу хотели его взять, да я не дал: затеряете, говорю, а я археологам отдам, когда приедут…

Володя полез за пазуху и достал пакет. Он развернул газетную бумагу, вытащил спичечный коробок, поставил его на стол и осторожно открыл. В нём лежало серебряное височное кольцо — плоское, со щитком внизу, от которого отходили семь лопастей, оканчивающихся расширениями, как будто на них повисли крупные капельки металла.

— *Вятичи! — ахнул Саня. — Доподлинные! Баба была…*

— Вятичи! — ахнул Саша. — Самые что ни есть… Женщина была.

— Женщина? — переспросил Володя. — Вот я и смотрю, что кости больно тоненькие, слабый человек был… А волосы чёрные, поди, косы.

— Вятичи вятичами, да не совсем, — в раздумье проговорил Вадим, рассматривая находку. — Тут даже и не скажешь сразу: лопасти это или лучи? И вятические кольца побольше да поопределённей… Здесь же сразу как бы и вятичи и радимичи. Похоже, круг здесь и смыкается!

Володя Карцев в раскопанном им случайно погребении нашёл височное кольцо. В те времена женщины ещё берегли мочки своих ушей и украшения вплетали в волосы. Раскапывая курганы на территориях, занимаемых некогда славянскими племенами, известными по летописям, археологи выяснили, что у различных племён были различные типы украшений, в частности височные кольца. У двух славянских племён — вятичей и радимичей, согласно легенде ведущих своё происхождение от двух братьев, Радима и Вятко, пришедших в наши края «из ляхов», — украшения оказались очень похожими. Разница была только в височных кольцах да в тех территориях, на которых их находили. Судя по погребениям, Радим отправился вниз по Оке, а Вятко прошёл севернее, на Верхнюю Волгу. Южные, западные, северные границы этих племён были очерчены довольно точно, а вот восточная граница до сих пор оставалась загадкой.

Вадим полагал, что именно здесь, на Переславщине, могло происходить смешение родственных, когда-то разделившихся племён. И вот это височное кольцо, сочетавшее в себе признаки

обоих типов, казалось, подтверждало его догадку.

— А по-русски так и будет — то ли лопасти не получились, то ли лучи расплылись при отливке. По размерам вроде радимичское, а по орнаменту — вятичское. Стало быть, обособленности не было, смешивались и перемешивались, женились друг на друге, жили вместе, новую культуру создавали…

— Это какую же? — спросил Андрея Володя, внимательно прислушивавшийся к разговору.

— Общерусскую, паря, ту самую, в которой и сейчас живём! — не удержался, чтобы не съязвить, Саня, хотя ответ был в общем правильный.

— Вот, отцы, завтра и начнём копать на этом бугорке! — резюмировал Вадим. — А мы ещё голову ломали, откуда начинать…

— Значит, будете там раскопки вести? — обрадовался Володя.

— А как же! Пока на Польце не начали работать, весь бугор перекопаем! — ликовал Саша. — Ты не слышал, может быть, там кто-нибудь ещё что находил?

Володя задумался.

— Нет, не слышал. Вот только… Может, это неинтересно, я погреб копал под домом своим, ещё давно, так тоже вроде кости попались… Ну, тогда я ничего не знал, внимания не обратил, а потом косарь нашёл — совсем ржавый, разломился он, но большой, с метр будет. Я таких и не видал. Ещё вытащил и удивлялся, кому надо было косарь так глубоко зарывать…

— Да ведь это меч, меч был! — закричал по всегдашней привычке Саша. — Куда ж ты его дел?

— Выбросил, — виновато протянул Володя. — Не знал же я… Потом вот ещё… У Нестерова я спрашивал, он аккурат в девятнадцатом бараке живёт, ну, где я эту женщину нашёл… Говорит, когда в войну на огороде щель рыли, тоже кости находили, колечки какие-то, бусинки… Теперь-то я понимаю, откуда всё это!

— Ай да Володя! — радовался Вадим. — Нашёл всё-таки могильник, который граф пропустил!

— Какой граф? — искренне удивился тот.

И мы рассказали ему, как сто лет назад были раскопаны переславские курганы, как потом перепутали найденные в них вещи и как многие археологи, в том числе и мы, безрезультатно пытались отыскать оставшиеся нераскопанными, чтобы с их помощью разобраться в груде вещей, лежащих в подвалах Исторического музея в Москве.

15

Неподалёку от усольской плотины, на пологом песчаном бугре с одинокой сосной, раскачиваемой всеми ветрами, позади домов протянулись огороды посёлка.

Здесь песок. Бывший когда-то почвенный слой давно уже сдут ветрами и смыт дождями, растёт на песке только картошка, но кто пожертвует этой картошкой, хотя бы ещё и не посаженной, для трёх археологов, поставивших свою лодку в ряд с другими под бугром?

Сдавшись на уговоры друзей, я не очень верил в благополучный исход нашей миссии. Нестеровых я не знал, и потом одно дело вести раскопки, так сказать, на «ничейной» земле, и совсем другое — вторгаться в личное хозяйство… Огород — основа и залог благополучия! Поддерживала только надежда, что между домом и сараями нам удастся найти свободный участок, чтобы попытать счастья.

Но всё обошлось как нельзя лучше.

Бугор, как выяснилось, вообще был свободен от огородов. Их забросили здесь несколько лет назад, убедившись в бесплодности почвы, оставив этот участок для ребячьих игр и как проход к реке. Да и Нестеровы в этом году решили не поднимать примыкавший к дому участок огорода. И Юра радушно пригласил нас располагать всей этой площадью, как нам заблагорассудится.

Новенький прямоугольник уборной отмечал теперь место, где Володя Карцев наткнулся на женское захоронение. Он стоял почти что вплотную к старому дровяному сараю, и именно отсюда на общем совете решено было начать раскопки. Но как? Судя по всему, могильник здесь был грунтовой, без курганных насыпей, да если бы они и были когда-то, от них давно не осталось никаких следов. Разбить всю площадь на квадраты? Для этого нет ни сил, ни времени. Наконец, кто может поручиться, что здесь есть хотя бы ещё одно погребение?

И мы решили ограничиться разведочными траншеями.

В это время, к которому, судя по находкам, должен был относиться могильник, славяне уже не сжигали своих покойников, а хоронили, положив головой на запад. Но волшебная магнитная стрелка ещё не была известна, хоронить приходилось в разное время года, поэтому определять точное направление восток—запад приходилось погребающим, вероятно, не по встающему или заходящему солнцу, а по какому-нибудь привычному, так сказать «усреднённому», ориентиру. Вот почему, чтобы наткнуться узкой траншеей на возможную могильную яму,

её следовало направить с севера на юг, поперёк длинной оси захоронения.

Наоборот, при постройке церквей в те далёкие времена требовалась ориентация её длинной оси, проходящей через центр алтарной абсиды, строго на встающее солнце.

Правило это оказалось большим подспорьем для археологов. В самом деле, закладка фундамента церкви происходила всегда в день памяти того святого (или праздника), чьё имя должен был носить этот храм. Поэтому когда при раскопках древнерусских городов археологи обнаруживают остатки церковного фундамента, которые трудно отождествить с каким-либо храмом, упоминаемым в летописях, на помощь приходят компас и календарь. Как известно, в одной и той же точке горизонта солнце встаёт лишь дважды в год. Поэтому даже если день постройки определяется с некоторым допуском, «прихватывая» ещё два-три соседних, то особенных затруднений это не вызывает: патронами церквей всегда были только крупные святые, число которых ограничено, а более мелкие рангом довольствовались церковным приделом или только одной иконой…

И всё-таки прежде чем приняться за траншеи, на корточках, на животах, не жалея колен и курток, мы оползали весь склон, чтобы убедиться, что здесь нет даже намёка на следы былых курганов. Впрочем, всё это делалось больше для очистки совести: и Нестеров, и другие старожилы, привлечённые слухами, что мы здесь будем «копать мертвяков», в один голос утверждали, что никаких бугров, холмиков или чего иного на этом месте не было. А вот всякие колечки, бусинки, ржавые ножи и браслеты действительно находили, особенно во время войны, когда на этом вот месте копали «щель», чтобы прятаться от возможных вражеских налётов…

Кто-то вспоминает, что и кости были, и черепки. Впрочем, если дать собравшимся тему для разговора, тут можно услышать всё, что хочешь и что не хочешь!

И всё-таки такие воспоминания, сколько бы ни были они сомнительными, понемногу разжигают наш азарт. Теперь вся наша надежда на траншеи. В их стенках, где обнажаются слои земли, можно будет найти пятна и следы выкопанных в древности ям. Сумеем ли мы их увидеть среди перекопанной, перемолотой огородной земли, среди выбросов из выгребных ям, из «щели» — вопрос другой. Надо быть готовым, что погребение, которое нашёл Володя, — последнее из сохранившихся и вся наша суета — только «томление духа».

— Как думаешь, на каком расстоянии будем траншеи пускать? — обращается ко мне Вадим.

Он с Сашей кончил снимать глазомерный план участка, который предстоит нам перекопать, отметил по буссоли направление первой траншеи и теперь готовится снова стать землекопом.

— Сейчас, Вадим, ты начальник. И думай сам, и командуй! Ну а уж мы — на подхвате…

Вадим приосанивается. Всё-таки приятно, когда тебя утверждают начальником, да ещё на виду у такой толпы зрителей. В его голосе начинает звучать металл, стекла очков взблескивают на солнце ярче, и кажется, что он стал даже чуть выше ростом.

— Ну, коли так, пустим через метр. По крайней мере будем знать, что ничего не пропустим: даже если не прямо на середину захоронения наткнёмся, то тем или другим концом оно в одной из траншей окажется. А глубина — до белого песка. На нём тоже всё будет видно…

Две лопаты в ширину, лопата в глубину. «На глубину штыка», как писали в старых отчётах. Сколько понадобится таких «штыков» — неведомо.

Вылетают ржавые консервные банки, хрупает под лопатой стекло, тянутся из земли тряпки, темнеют комки торфа, которым удобряли огород, щепки, веточки… Всё перемешано. На моём участке траншеи явно очерчиваются границы старой помойной ямы, по-видимому, на месте старой щели. Здесь можно не углубляться — меньше двух метров такие ямы не копают, а хоронили славяне от силы на глубине до полутора метров.

Саша дошёл до белого песка и отирает лоб.

— Солнышко летнее, жарит!

— А у меня что-то обозначилось!

— Где, Васильич?

— Да вот, пятнышко вроде…

И правда, на участке Вадима, когда он зачищает лопатой дно траншейки, появляется чёткая граница, отбивающая светло-жёлтый, почти белый песок, не затронутый огородом, и какой-то серый, с зеленоватыми разводами, вкраплениями угольков и золы.

Вадим вспотел, скинул рубашку и теперь старательно вычищает эту полосу от ссыпающихся крупинок и рубчатых следов своих резиновых сапог.

— Никак, могилку нашёл?

— Подожди, сейчас второй край будет…

Через полтора метра появляется второй край — такой же чёткий и явственный, как и первый. Андрей выпрямляется.

— Беги в магазин, Саня, сейчас покойника отпаивать будем…

Через полтора метра появляется второй край — такой же чёткий и явственный, как первый. Сомнений нет — нашли погребение! Замеряем границы выявленной ямы, наносим на план, торжественно нарекаем — погребение номер три. Первые два — моё и Володи.

Теперь к траншее с двух сторон прирезаем участки, расширяем раскоп.

Мы стараемся снимать только огородный слой, чтобы сразу же, как только появится нетронутый песок, поймать очертание ямы. Яма какая-то странная: тёмное её пятно похоже на расплывшуюся кляксу без сколько-нибудь чёткой ориентировки, так что нельзя даже предположить, как лежит покойник. В том, что это яма, сомнений нет. А форма и от грунта зависит: песок мог осыпаться, когда копали…

Угли попадаются всё чаще. Теперь уже копаем только мы с Сашей, а Вадим стоит с планом в руках и покрикивает на нас, когда ему кажется, что мы слишком смело работаем лопатами.

— Кость, Васильич!

— Что-то велика…

— Вы поосторожнее, друзья, поосторожнее…

— Вроде лопатка коровья…

— Скажи лучше, целая корова! Вон череп торчит

Вадим растерян. Корова? Целая? Такого ещё не бывало в его практике. Но у нас получилось — раскопали целый скелет коровы. И никаких следов покойника.

Что же это, жертвенное погребение?

Отправляя в последний путь умершего, славяне снабжали его заупокойной пищей — обычно в горшках, но бывало, что и просто к его ногам опускали кусок мяса с костями. Кое-кто полагает, что само мясо съедали на поминках, так что жертва была не реальная, а символическая. А тут — целая корова!

— Ритуал… — без энтузиазма произносит Вадим.

— «Всё, что в археологии непонятно, следует относить к разряду ритуального», — цитирует Саша расхожий афоризм.

— Нет, друзья, и ритуала не выйдет, — добавляю я последнюю «ложку дёгтя». — На косточки посмотрите. Они же свеженькие!

— Ну всё-таки…

— А почему целая?

— Так здесь же скотское кладбище было! — раздаётся сзади надтреснутый голос. Мы оборачиваемся.

Сивый дедок в растрёпанной ушанке и латаных серых в полоску штанах с интересом присматривается к нашим раскопкам. В руках у него потёртая кирзовая хозяйственная

сумка, из которой выглядывает горлышко чекушки.

— А ты, отец, откуда знаешь?

— Да как же! Ещё в коллективизацию мор на коров пошёл, здесь и зарывали. Посёлка-то не было…

Вот и всё. Тривиальная археологическая история. Сколько таких скотских кладбищ было археологами раскопано, сколько ещё копать! Вадим с ожесточением трёт резинкой план, где уже начали проступать контуры коровьего скелета…

И всё-таки могильник мы нашли.

В следующей траншее, пробитой через метр от коровьего захоронения, мы опять увидели пятно. На этот раз оно было узкое и уходило в обе стенки, как положено. И хотя копали мы с шуточками и издёвками, пятно приняло надлежащую форму — вытянутый овал, серый, с закруглёнными концами.

На дне ямы лежал скелет. Его ноги были вытянуты на восток, у полусгнившей пяточной кости стоял горшок, рядом лежала баранья лопатка, а на черепе, на ключицах и около скрещённых рук мы нашли массу вещей. Височные кольца были не вятичскими, не радимичскими, а общеславянскими — из серебряной проволоки, на которую были надеты три полых серебряных бусины, украшенные мелкой зернью и хранившие следы золочения. На груди лежало рассыпавшееся ожерелье — бочонковидные стеклянные бусины, в каждую из которых был вправлен тонкий листочек золота, как это умели делать в Древней Руси. В центре ожерелья некогда висела бронзовая посеребрённая лунница — обращённый концами вниз прорезной полумесяц. Около левой руки лежал маленький ржавый ножичек с остатками деревянной рукоятки; на одном из пальцев было надето медное колечко с розеткой…

К сожалению, череп, как и все кости, сохранился очень плохо. И мы никогда не увидим ту красавицу, которая помогла нам забыть страхи и огорчения, связанные с коровой.

Больше всего, мне кажется, рад был Володя Карцев. Он присоединился к нам после работы, помогал расчищать скелет, буквально «вылизывая» каждую косточку широкой малярной кистью, и ликовал, что недаром так заботливо возился со своим первым погребением — всё-таки здесь оказался могильник!

16

«Славянская лихорадка» в разгаре. Как срываются в аллюр застоявшиеся кони, так истомившиеся за зиму археологи набрасываются на раскоп: снова волнения надежд, ожиданий, снова напряжённая работа мозга, когда расчёт, опыт, интуиция, сплавляясь воедино, приближаются почти что к прозрению. Могильник!

Могильники всегда копать интересно, потому что во всём этом есть нечто от поисков таинственных сокровищ, пергаменных карт кладов «рыцарей удачи», от всего того, что вдохновляло героев Стивенсона, Хоггарта и к каждому из нас пришло когда-то вместе с Томом Сойером…

Впрочем, основание для спешки есть.

Пройдёт всего несколько дней, на зелёную лужайку Польца придут долгожданные школьники, могильник будет забыт, и начнётся та медленная, порою неимоверно томительная однообразная работа, когда под лопатами появляется совсем не то, что ты хотел бы видеть, рабочий день кончается раньше, чем сделано то, что необходимо сделать, или всё это прерывает непогода, перевыполняя план по дождю на месяцы вперёд.

При этом груды материала, которые никак не успеваешь обработать в срок… Но всё это потом, через два-три дня, через неделю. А пока — пока удача сопровождает нас.

Весь «пятачок» от сарая и до сосны, одиноко стоящей над склоном к реке, прорезан нашими траншеями. Зияют ямы, поднимаются горы песка вокруг мест былых захоронений. Если не считать скелетов коров и овец, на которые регулярно натыкались, научившись распознавать их присутствие раньше, чем расчистим останки, мы нашли шесть погребений. Все они относились к одному времени и оказались несколько моложе того погребения, что мы раскопали когда-то со Степаном возле магазина.

Золочёные стеклянные бусины, порой рассыпавшиеся от прикосновения ножа или кисти, серебряные височные кольца, украшенные мелкой потускневшей зернью, незатейливые перстеньки из позеленевшей бронзовой проволоки и единственный целый горшок, стоявший в ногах первого найденного нами захоронения, согласно указывали на двенадцатый-тринадцатый века, когда они были изготовлены, — время расцвета владимиро-суздальской Руси, время взлёта её культуры и могущества, так резко оборванного татарским нашествием.

Загадочное время, загадочная земля! Что мы знаем о той

эпохе? Ничтожно мало. Да и то, что знаем, относится скорее не к знанию, а к догадкам.

Летописи, дошедшие до нас, повествуют больше о Киевской Руси, о Великом Новгороде на Волхове. А в это же время под защитой лесов, спасающих от степных набегов, между Окой и Волгой, крепнет, растёт, ширится своя Русь, обильная сёлами, деревнями, городками, тучными полями и стадами, со своими центрами культуры, признающими Киев, и Смоленск, и Новгород, но уже напрямую связанными с западнославянскими странами, откуда приходят сюда и купцы и мастера. Именно здесь, среди лесов, перелесков, на просторах владимирского Ополья, надо искать древнейший «корень» России, питавшийся глубинными родниками народных сил, которые позволили пережить и страшный погром татарский, и неустроенность последующих веков, чтобы Россия могла предстать обновлённой физически и духовно, с верой в собственный путь и призвание.

Вот и те люди, останки которых мы так бережно расчищаем, зарисовываем, фотографируем… Не чужие они нам, нет! Они связывают нас с теми, кто оставил свои черепки на Александровой горе над Плещеевым озером, те, в свою очередь, с теми, кто оставлял, пополнял своими черепками слои Польца. И теперь каждая новая наша находка словно приподнимает маленький уголок тяжёлой завесы, скрывающей от нас прошлое, хранившееся здесь под ногами и огородами…

Много здесь загадочного и непонятного. Например, сам могильник. Он грунтовой: ямы выкопаны в земле, но над захоронениями нет и не было курганных насыпей. А более ранние могильники, которые раскапывали Уваров и Савельев, как раз курганные; да и в других местах, например, под Москвой, курганные насыпи ещё продолжали возводить в это время. Значит, здесь, на берегах Плещеева озера, не только успели произойти какие-то серьёзные сдвиги в сознании людей, но и вся здешняя жизнь далеко ушла вперёд по сравнению с другими территориями. Не случайно, рассматривая найденные нами украшения, Вадим заметил, что все они вышли из рук городских, а не сельских ремесленников.

Где жили эти люди? Вероятнее всего, там, где стоит современное Усолье, за рекой, охраняя и соляные источники, и единственный с северо-запада путь к Плещееву озеру, во владимирское Ополье. Здесь был «форпост» Переславля, «застава богатырская», а за рекой, за водной преградой, испокон веку отделявшей мир живых от мира мёртвых, — вот это самое кладбище древних усольцев, неожиданно открытое нами.

Столь же неожиданное, как погребение номер семь, которое

мы нашли сегодня.

К этому времени все возможности площадки были, казалось нам, уже исчерпаны. Мы зачистили даже стенки ямы, которую местные ребятишки выкопали возле сосны лет десять назад, а также полностью проследили очертания «щели», на месте которой, судя по воспоминаниям старожилов, тоже было два или три погребения. Оставалось проверить небольшое пространство возле прежней помойной ямы, на которую мы наткнулись в первый же день раскопок.

Здесь и была заложена последняя траншейка.

— Вот-вот, — как всегда зубоскалит Саша. — Сейчас только находки успевай, Васильич, отмечать да этикетки выписывай: кастрюля суповая эмалированная, артикул, как её там?.. Фрагмент алюминиевой ложки с утраченным черенком, обломок лопаты штыковой большой, фрагмент фарфорового блюда общепитовского, бутылка пол-литровая…

За эти дни помахали мы лопатами от души, и мозоли на наших изнеженных за зиму и ослабевших руках — первое тому свидетельство, как, впрочем, и кубометры песка, громоздящиеся вокруг.

Судя по расположению древних могил, теснившихся ближе к реке, вряд ли мы могли рассчитывать здесь на что-то интересное. Так, больше для очистки совести: если нельзя копать на месте сарая, то хоть рядом проверить. Но именно здесь мы и нашли яму.

Заметили мы её, правда, лишь когда под лопатой хрустнула перерубленная ударом кость: почвенный слой здесь был перекопан слишком глубоко, в нём попадался всякий мусор, крупные угли и даже целые полуобуглившиеся поленья. Опять корова? Нет, здесь было что-то другое, более серьёзное, недаром песок краснел на глазах, как будто был обильно посыпан охрой.

Тогда мы не сговариваясь принялись за широкую расчистку. И стоило.

Вокруг тёмного прямоугольника ямы, в которой видны были такие же крупные угли, как те, что мы встречали в почве, только совсем истлевшие, расстилалось пятно красного песка. Большой и жаркий костёр, горевший некогда на этом месте, прокалил глубоко почву и придал песку плотный, густой, почти кирпичный цвет. А вокруг пятна древнего кострища, замыкая его в вытянутый, похожий на ладью овал, шла тёмная канавка с углями. Северо-западный, приострённый конец овала указывал на круглую чёрную ямку, оставшуюся от сгоревшего толстого столба.

В яме лежал скелет. Но ещё до того, как мы подобрались к костям и начали их расчищать, Вадим разразился воплями

удивления и восторга:

— Дерево, братцы, дерево! Неужто в колоде положили?

Точно очерчивая прямоугольник ямы, вписываясь в него, под нашими лопатами проступал рыхлый коричневый прямоугольник.

В эпоху, когда язычество безраздельно царило в умах и душах славян, покойника предавали огненному погребению. Причём, судя по археологическим находкам и свидетельствам арабских писателей о нравах и обычаях славян, сжигали покойника двояким способом: в небольшом, специально выстроенном домике (откуда и пошло позднейшее название колоды, а потом гроба — «домовина») или в ладье. Вероятнее всего, способ зависел от того, где заставала смерть человека — на родине, дома, или в пути, на чужбине. В последнем случае ладья, в которой его сжигали, должна была помочь духу покойного вернуться в ту область загробного мира, где ожидали его родичи.

Оставаться «за кордоном» славянину не полагалось даже после смерти, ибо это, повидимому, считалось изменой обычаям и вере предков, а может быть, тут мешали тонкости конъюнктурного порядка или ещё какие-либо соображения.

Христианство положило конец огню и всему тому разнообразию погребального инвентаря, до которого добираются теперь археологи.

По церковным воззрениям, покойник должен был перейти «из праха в прах», смешавшись с той землёй, из которой был вылеплен первый человек. Но жечь и мешать кости, как и сваливать их в общую могилу, считалось предосудительным: в день Страшного суда каждый мертвец должен был предстать в своём прежнем плотском облике. Даже мученики, обезглавленные или четвертованные, должны были принести свои отрубленные конечности.

Поэтому каждого надо было как-то отделить от других. Так появилась колода — выдолбленный обрубок дерева, заменённый позднее сбитым из досок гробом. Вот почему древесный тлен нас и обрадовал и насторожил.

А тут появились гвозди. Толстые, кованые, с огромными шляпками, наполовину проржавевшие, вместе с кусками дерева, которое сохранила от тления ржавчина, они торчали в углах трухлявого прямоугольника, доказывая, что здесь была не колода, а гроб.

Саша так и сказал:

— Гроб вам, отцы, вместе со всем могильником вашим! Так у вас всё хорошо получалось, а теперь коровы, помойные ямы… да и гренадер этот… Эвон вымахал как, наверняка один из тех, что Бонапарта от Москвы гнал! Открывайте филиал Бородина…

Андрей ощетинился.

— Ты, Сергеич, нашего мужичка не порочь зазря! Привык на своём Сарае диргемы по песочку собирать, со всякими золотоордынцами якшаться, так и в славян не веришь?! А они, может, только что и выдумали этот гроб? А что большой — так на то он и мужик! И меч при ём! И шлем! Что? Съел?!

— Я-то съем, а вот как ты пятаки на глазах проглотишь?!

Работа идёт в мелких уколах и подковырках. Всех немного лихорадит. Яма уже огромная. Теперь мы копаем вокруг покойника, чтобы он лежал «на столе», — так его удобнее будет расчищать. Вадим волнуется, хватит ли у нас упаковочной бумаги, чтобы завернуть все находки. Погребение самое большое, самое необычное и, вероятно, самое богатое.

Увы, находок оказалось немного: четыре кованых гвоздя. И лишь под конец, разбирая скелет, мне удалось рассмотреть под челюстью две маленькие бронзовые бусины с остатками нитки, скреплявшей их на манер запонок, — пуговицы от ворота рубашки. И ничего больше.

По утверждению Вадима, пуговицы можно было датировать четырнадцатым веком. В самом крайнем случае — тринадцатым.

Грустные, усталые от невезения, мы сидели на куче выкинутого песка. Фортуна проскрипела несмазанной осью и укатила. Хорошо ещё, что мы успели услышать её скрип!

Подошёл Юра Нестеров с лодочным мотором на плече. Эти дни, пока мы возились на бывшем его огороде, он разбирал и отлаживал мотор на веранде, а теперь нёс опробовать его на реку.

— Ну как, удачно? — спросил он, мотнув головой в сторону ямы.

— И дно и покрышка, а толку чуть, — грустно резюмировал Саша, стряхивая пепел с сигареты.

— Что, не интересно?

— Да как сказать, — неохотно поднялся Вадим. — Вещичек мало. Пожадничали, видно.

— А вот это для чего? — Юрий ткнул носком сапога в тёмную полосу, окружавшую яму.

— Оградка. Для могилы оградку сделали. Даже столб в головах поставили…

— А для могилы ли? — вмешался я.

— То есть как это? — не понял Вадим.

— Вот так. Если для могилы, то почему в этой канавке, да и в ямах от столба столько угля? Что, сначала построили, а потом передумали и сожгли? А если бы не сожгли, никакого бы угля не было.

Вадим соображал. Потом взял лопату и спрыгнул в яму.

Помедлив, он стал зачищать одну из обвалившихся стенок. Саша с интересом следил за ним.

— Ну и что там видно? — нарушил затянувшееся молчание Юрий.

Вадим выпрямился.

— А пожалуй, ты прав, — обратился он ко мне. — Линза прокалённого песка перекрывает ограду. Вот так и случается, что самое главное чуть не упустили.

Саша привстал:

— Неужели домик?

— Нет, скорее — имитация ладьи…

Действительно, приглядевшись, можно было заметить, что след от оградки как бы повторял очертания лодки: заострённый нос, расширяющиеся бока, округлые очертания кормы. Ещё когда мы расчищали всё это, я заметил, что какого-либо «входа» в этот овал не было, он оказался замкнутым… И канавка, после того как её выкопали, была заполнена хворостом и брёвнами, от которых остались головни.

А всё вместе могло изображать ладью — условную ладью, которую сожгли до того, как была выкопана погребальная яма и в неё опущен гроб.

Это позволяло кое-что понять.

Огонь стремителен и красив. С того самого момента, как человек ощутил себя отличным от остальной природы, рядом с ним всегда был огонь. Огонь слышал первый крик новорождённого и последний вздох умирающего. Огонь защищал, огонь исцелял, огонь разрушал, но и созидал. Полыхали праздничные костры языческих времён, яркое и требовательное, тянулось к небу пламя священного огня, взрывами искр заглушал вопли плакальщиц погребальный костёр, охватывавший ладью или домик мёртвых. И когда с приходом в эти края христианства уже нельзя было предавать покойных огненному погребению, огонь стал освящать и очищать ту землю, в которую этого покойника опускали.

Так было с первым погребением, которое я раскопал несколько лет назад; так, насколько мы могли судить, произошло и с этим, последним погребением, отличавшимся от всех остальных.

Умер путник. Умер в пути. Нельзя было его сжечь в ладье, потому что уже были слишком сильны запреты церкви. Но эту ладью можно было заменить оградкой в виде ладьи, которая сжигалась вместе с хворостом, очищавшим землю. Только после этого была выкопана яма и в неё в гробу положен умерший. Но если это так, то почему не предположить, что какая-то часть этого

могильника — кладбище умерших в пути? Или изгнанников? Достаточно вспомнить время последнего погребения.

Это было время, когда Русь стонала под татарским игом, когда Переславль подвергался чуть ли не регулярным набегам татарских орд и горожане, застигнутые за стенами города, вынуждены были спасаться в лесах или на плотах на озере.

Враги боялись болот и лесов. С опаской оглядывались они на зелёный сумрак, откуда вылетала вдруг с комариным звоном тяжёлая стрела или рушилось подрубленное дерево, накрывая сразу нескольких всадников. Настоящее Залесье было, вероятно, для них закрыто. Рассыпаясь в разные стороны, татары палили и грабили деревни вокруг города, набивали грабленым перемётные сумы, уводили в полон женщин и детей, но в лес не совались.

И очень может быть, что как раз здесь, за болотами и лесами, на песчаных буграх, поросших корабельным бором, беглецы искали спасения от набега, пережидали лихие дни, залечивали раны, умирали…

Нестеров ушёл, мало что поняв из наших объяснений. К старым костям он относился равнодушно. И в чём-то был прав по-своему.

Ну как передать это трепетное ощущение времени, которое вдруг неожиданно пронзает тебя, начинаясь с мелких мурашек в кончиках пальцев, которыми касаешься освобождённого от земли предмета, чувствуя как бы возникающую плоть; летопись, столь же далёкая, как условные значки глиняных табличек, вдруг начинает пульсировать ритмами взволнованной речи, в которой и боль и слёзы, и ветер доносит до тебя не сладковатый запах горящего торфа, а едкий дым зажжённого татарскими стрелами города?! «А теперь беда приключилась христианам, от великого Ярославля до Владимира, и до нынешнего Ярослава, и до брата его Юрия, князя Владимирского…»

Здесь, в Переславле-Залесском, писал неведомый славянин «Слово о погибели Русской земли», откуда пришли мне на память эти строки, и, может быть, плакал о своём умершем брате, отце или сыне, которого мы сейчас раскопали, — «страннике на своей земле». Словно прожектором вдруг выхватываешь из, казалось бы, навеки непроглядной тьмы времени какой-то его кусок, и смотришь, и волнуешься, и переживаешь с теми, кого уже давным-давно нет на свете…

17

Как обычно, лето подобралось незаметно и щедро.

Я проснулся рано и ещё немного полежал в мешке, соображая, что происходит. Лучи солнца, тронувшие раму окна, казалось, были отлиты из металла. Утро звенело прозрачностью, трепетало щебетом птиц и, когда я распахнул окно и лёг, свесившись, на подоконник, охватило меня свежестью реки и яркой зеленью. И я понял, что проснулся на переломе весны и лета.

Босиком, морщась и приплясывая на подвернувшихся камешках, мы побежали умываться к реке.

— Ишь, неуёмные! — смеётся Прасковья Васильевна, когда, раскрасневшиеся, обожжённые ледяной водой, мы возвращаемся в дом. — Заболеете! Рано ещё…

Река опустила на дно муть, устоялась в своих берегах, и теперь с обрыва видно, как ходят по дну косячки плотвы и первые, невесть откуда взявшиеся пескари выползают на мелководье желтоватой рябью, чтобы греться на солнце…

18

Отсыпаемся и приходим в себя после сумасшедшей работы на могильнике, приводим в порядок дневники, планы и, вываливаясь из дома после обеда, растягиваем свои спальные мешки на молодой зелёной траве.

— Ишь, лодыри, разлеглись! Гнать вас на работу некому. Сам начальник такой же…

Худой, горбоносый, как отец, подходит и присаживается рядом Павел. Перемазанный мазутом комбинезон, чёрные в ссадинах руки моториста…

— Ну, что лаешься? Вот ты своё сейчас отработал и тоже лежать будешь, пузо отращивать…

— Не… Мне крыльцо чинить надо. Жена и так пилит.

— Это не она тебя украсила?

Левый глаз его вспух, и даже сквозь копоть и грязь пробивается зеленоватый отлив синяка.

— Тесть это. Заспорили мы с ним давеча, вот и пошумел.

— А ты ему? — любопытствует Саша.

— Тоже дал… — неуверенно отвечает под общий хохот Павел и ухмыляется.

Врёт. И сам знает, что все знают. Петру Корину сдачи дать трудно. Такому быку не в ремонтной бригаде работать, а с кистенём под дубами посвистывать.

Дом силача и буяна стоит на Польце, на правобережной части стоянки. Громадный, широкоплечий, с ярким бельмом на глазу, отчаянный матерщинник и задира — это первый браконьер на Вёксе, от которого отступились все инспектора из рыбнадзора. Он платил штрафы, ему резали верши, отнимали остроги, но справиться с ним было невозможно. По ночам он отправлялся на лодке на озеро, надевал гидрокостюм, который привёз ему один из его бесчисленных дружков, и сетью в одиночку черпал рыбу.

Дик и неуёмен бывал Пётр во хмелю, и только его жена, такая же крепкая и мускулистая баба, могла его урезонить и уложить спать.

Пётр уважал археологию «за непонятность». Его, как, впрочем, и других обитателей посёлка, поражала очевидная наша никчёмность, «закапывание деньги в землю».

— Ты мне, Леонидыч, уважение сделай! — говорил не раз Корин, присаживаясь рядом на бровку раскопа. — Вот я кто есть? Рабочий человек, хоть и пью. Сделал я дело — гони мне за это монету. Не сделал — хрен с тобой, можешь не платить, пойду и плотвы начерпаю… Пётр Корин без денег не будет! Но вот на тебя

мне, Леонидыч, смотреть завидно. За что тебе-то деньга идёт? За черепки старые? А может, ты и не копаешь здесь, не ищешь: прошлогодние черепки покажешь в Москве, а на них печати-то нет! План-то где твой, чтобы спросить с тебя? А? Вот я и говорю — возьми меня в свою академию. Две бутылки поставлю, не пожалею, ей-ей! Что ваша наука — ведомости на зарплату составлять? Я знаешь как их составляю…

Переубедить в этом Корина было нельзя, как, впрочем, и отучить от драк и браконьерства.

Такого-то тестя и получил в приданое за женой Павел.

— Пройдёт! — машет он рукой. — Впервой, что ли? А я сегодня, пока вы спали, двух подъязков выудил.

— Где? — просыпается Вадим.

— Вон там, у кустика, граммов триста-четыреста будет.

— На червя?

— На червя. Попробуйте.

Он поднимается, потягивается, трогает припухший глаз.

— Только леску побольше ставьте, да и крючок смените. А то сорвёт…

19

Мне надо в город. Погода словно по заказу. На светлом, тёплом, будто вымытом небе ни пушинки. Мотор работает ровно, на басовой ноте, и, вырвавшись на простор озера, лодка делает скачок и устремляется к белеющим вдали домам Переславля.

Ровный, идеальный овал, «глаз земли», сердце края. Когда смотришь на город с противоположного берега, по большой десятикилометровой оси, можно даже уловить вздувшуюся линзу воды, созданную земным притяжением.

Как называли озеро в неолите? Увы, этого мы никогда не узнаем. Возможно, так же, как и сейчас. Плещеево — плещется оно всегда. Это единственный ответ, который давали, да и теперь дают любопытствующему человеку. А налево, на крутом берегу, как раз под белой церковкой села Городища — валы древнего города Клещина. Тогда согласно историкам и само озеро называлось Клещино, от славянского слова «клецкать» — «плескать». Так что теперешнее название — простой перевод, калька.

Может, и первоначальное славянское тоже перевод? Только с какого языка?

— С угро-финского или финского, — скажет кто-то из лингвистов.

— До славян здесь жила меря, а меря — племя финское, — добавит историк. — А когда сюда пришли славяне, меряне растворились в пришельцах без следа…

— Нет, следы всё же остались, — возразит лингвист. — Остались названия, которые не были переведены или переименованы. Кухмарь, Лочма, Киучер, Вёкса… Кстати, Вёкса впадает в озеро Сомино. А в Финляндии река Вуокса впадает в озеро Сайма! Здесь начиная ещё с неолита жили предки финно-угорских народов…

Но я археолог и пока молчу. На этот счёт у меня есть своя теория. Она основана на черепках и угольках от костров неолитических стоянок, на размышлениях у костров, которые я тоже разжигал на этих берегах, и когда придёт время, я о ней скажу. Сейчас мне просто хочется смотреть на берега, чуть подёрнутые влажной дымкой тумана, и, свесив голову, следить, как вскипают под носом лодки маленькие пенные барашки, а позади расплывается гладкий, словно маслянистый, след…

Переславль вырастает из воды. Он незаметно приближается, растягивается по излучине берега, как бы пытается охватить озеро своими густыми вековыми ивами, в которых прячутся церкви

полуразрушенных монастырей, плывёт навстречу белыми строениями.

Перед городом застыли на воде длинные лодки рыбаков, с незапамятных времён ведущих здесь свой промысел. Правда, в последние годы рыболовство умирает. Молодёжь уходит на фабрики и заводы. В колхозе работают только старики. И на волнах, оставленных нашей лодкой, покачиваются сейчас не профессионалы, а всё те же любители: и свои, местные, которым выходить на работу во вторую смену, и приезжие искатели рыбацкого счастья.

Прямо по носу лодки среди зелёной кущи деревьев поднимается белая и стройная церковь Сорока святителей. Она стоит в самом устье Трубежа, ориентир для возвращающихся рыбаков, на том же месте, где стояла её деревянная предшественница, обновлённая Александром Ярославичем Невским. Это церковь рыбацкая, построенная рыбаками в 1775 году на свои деньги, кирпичная, с узорчатыми наличниками, причудливыми фронтонами и артистической работы резным иконостасом, хранящимся теперь в музее города. Отсюда, от озера, и до валов вдоль Трубежа, протянулась Рыбачья слобода, наша «северная Венеция».

Впритык вдоль обоих берегов — лодки, лодчонки, катера, тяжёлые, осадистые ялы; лодки на всякий вкус и цвет — жёлтые, красные, синие, зелёные, белые, полосатые, с моторами и без моторов, но преобладают всё же свои, переславские, вытянутые «на три волны» дощаники, на которых можно и сеть сложить, и рыбу, и полстога сена перевезти, и дрова…

Много лодок — не то слово. Когда попадаешь в Рыбачью слободу на Трубеж, вытянувшийся извилистым зелёным коридором, над которым по сей день смыкаются, правда, изрядно поредевшие, тяжёлые кроны двух- и трёхсотлетних ив, кажется, что весь он состоит из одних лодок. Они высовываются из-под навесов, выплывают из сарайчиков на сваях — гаражей, сохнут, просмаливаются, шпаклюются на берегу. А вот на катках, среди щепы и стружек, плачет медвяными потёками янтарной смолы, выступившей из пазух, только что родившееся судно…

Но даже отслужив свой век, прохудившись и сгнив, старая лодка продолжает здесь свою жизнь.

Белые чайки сидят на мостках, сбитых из лодочных днищ, обросших зелено-рыжими космами водорослей; старыми бортами обиты завалинки изб, залатаны крыши амбаров, укреплены изгороди палисадников, огороды, причалы. На берегу на сушилах колышутся под ветром сети — многометровые «выпорки», которыми ловят здесь знаменитую переславскую селёдку-

ряпушку.

Маленькая серебристая рыбка, которую надо жарить в собственном жиру, солить или томить до темно-золотого цвета в белом дыму ольхи, издавна была предметом гордости переславцев. Она стала эмблемой города, перешла из тёмной глубины озера на синее поле городского герба.

Смуглый жизнерадостный гигант с курчавыми волосами и шумной негритянской кровью, хохотун, рассказчик и любимец женщин, готовый на всякие проказы великий писатель и не менее великий кулинар и гурман Александр Дюма-отец посетил Переславль в 1858 году специально, чтобы отведать переславской ряпушки. В очередном письме сыну из России он писал: «Ты знаешь, что я люблю селёдку, и потому не удивляйся, что я ездил в Переславль, чтобы полакомиться ею…»[13]

С тех пор как Переславль стал частью Московского княжества, на торжественных обедах и церемониях в Кремле к великокняжескому столу неизменно подавалась переславская селёдка. К началу XVI века Рыбачья слобода и само ремесло становятся уже собственно дворцовыми владениями, и количество выловленной рыбы здесь строго регламентируется.

«Да рыболовам же ловить сельди на царя и великого князя безурочно; да на царя же ловити им на подлёдной ловле две ночи, на царицу — ночь, на полёдника — ночь, да на стольника — ночь; да на двух поместников по ночи… Да рыболовам же дано круг озера Переславского от воды суши 10 сажен для пристанища, где им неводы и сети вешати…» — указывал в 1506 году Василий III.

В этих уставных грамотах, писанных в столбец скорописью, среди имён переславских рыбаков много таких, что и сейчас можно найти под вётлами Трубежа. Их владельцы выходят на рыбную ловлю, и грузила из обожжённой глины на сетях даже археолог не может отличить от древних переславских грузил, попадающихся при раскопках.

— Василь, ты сегодня куда?

— К Говельнику. А то на Симанец пойду…

— Егор в позато воскресенье у Тресты пуда два взял…

Голоса разносятся над водой и глохнут в ивовых купах. Рыбаки собираются на промысел.

С незапамятных времён от отцов, дедов и прадедов передаются названия тоней озера. И хотя многие из них уже стали совершенно необъяснимы — от одинокого дуба не осталось пня, мокрый кочковатый луг за столетия давно стал лесом, изменились и другие береговые ориентиры, — каждый рыбак доподлинно знает, где, когда, какую рыбу и на что ловить надо.

Мы вытащили лодку на берег почти у самого моста, возле валов и качающегося на волнах портомойного плота с навесом, где хозяйки, став на колени, полощут в Трубеже выстиранное бельё и передают друг другу городские новости. Здесь, у моста, и кончается озеро.

* * *

Ты не стар —
только синью расплёсканной сед.
У тебя слишком много от детства осталось:
ни невзгоды,
ни боль проносящихся лет
не привили тебе
ни печаль, ни усталость!
Ты стремишься
величье земное постичь.
Сколько ждёт тебя в жизни
нехоженых далей!
Даже время
не может тебе отомстить!
Даже боль и несчастья —
подарками стали!
Может быть,
лишь теперь я тебя признаю:
признаю твоё право
на равную долю —
быть
до самой последней минуты в бою,
называя стремление к жизни —
любовью!

20

Втайне я опасался, что зарядивший накануне дождь сорвёт начало работ. Но за ночь холодный свет звёзд пробился, замерцал на светлеющем небе, и утро утвердилось над рекой и лесом последними вздохами тумана и блеском просыхающей травы.

Первые наши рабочие, ученики местной школы, появились на Польце в десятом часу. Восемь девочек и два мальчика. Предупреждённые заранее, они принесли свои лопаты и, поздоровавшись, стояли смущённо и робко, поглядывая то на колышки загодя размеченных раскопов, то на меня, то на Сашу с Вадимом, устанавливавших в стороне теодолит.

— Антонина Петровна, — представилась мне их классная руководительница. — Здесь часть моего девятого класса, все добровольцы. Сейчас они будут у вас работать, а недели через две подойдут и остальные…

Я шагнул к школьникам.

— Ну что ж, ребята, давайте знакомиться. Присаживайтесь, поговорим, как и что…

Первое знакомство всегда самое трудное. Когда начинаешь рассказывать своим новым рабочим о том, что нам вместе предстоит сделать, когда объясняешь им простейшие — с научной точки зрения — понятия, нужно найти именно те слова, которые вызовут отклик у каждого из них, пробудят интерес к трудной, часто очень скучной повседневной работе лопатой — и под солнцем, и под мелким дождичком, — но работе необходимой и в конечном счёте, когда знаешь, что к чему, увлекательной.

Записываешь их имена, стараешься запомнить каждого, к каждому приглядеться, чтобы понять, что за человек перед тобой, какие склонности, какие недостатки, о чём думает сейчас, слушая тебя…

Вот этот паренёк, сидящий немного поодаль, в выцветшей лыжной курточке и сандалетах на босу ногу, белобровый и худенький, с ясными голубыми глазами, внимательно слушающий мои объяснения. Вряд ли знает он что-нибудь об археологии, но мне нравится мысль, которая освещает его лицо, и нравятся его руки, в которых он держит свою лопату. И лопата у него выглядит не просто как огородная принадлежность, а как рабочий инструмент, подогнанный по рукам и по росту, и сверкающая на солнце полоска лезвия говорит, что он готовился к этому дню и накануне прошёлся по краю её бруском и напильником. А зовут его Игорь Королёв, 9-й «Б». А вот Зина Шмарова. Наверное, дочь моториста, потому что эту фамилию я слышал. Эта уже сложнее. И руки у

неё понежнее, и одета не для раскопок. Ну да увидим! Зато рядом с ней востренькая девчушка в косыночке, сероглазая и веснушчатая; она мне определённо нравится. Надо будет посмотреть, как она начнёт работу. А то скоро Андрей с Саней уедут сдавать экзамены, и мне нужны будут помощники.

И хотя знаешь, что первое впечатление, мелькнувшее в сознании, самое верное, всё равно вглядываешься, не доверяя себе, пытаясь разобраться, что там скрывается за чертами мальчишеских и девичьих лиц.

Этот вот недалёк и пришёл сюда лишь потому, что пошли остальные. У того припрятанная в глазах хитреца, да и держит он себя так, что чувствуется: заводила, глаз да глаз за ним нужен… Девочки сбились стайкой, они и стесняются больше, чем ребята. А вот тот паренёк, что отсел в сторонку от других… На нём выцветшая лыжная курточка, выгоревшие старые джинсы, сандалеты на босых ногах. Похоже, что ему не только занятие, но и заработок нужен. Худенький, белобрысый, с ясными голубыми глазами, он внимательно слушает мои пояснения. Возможно, он что-то читал об археологах, о раскопках, и время от времени я отмечаю скользящую по его лицу тень промелькнувшей мысли. Мне нравятся его руки — хорошие руки, дельные, и лопата в этих руках выглядит не просто огородной принадлежностью, а рабочим инструментом, подогнанным к рукам, росту и силе её владельца.

Я замечаю сверкающую полоску, идущую по краю лопаты, и понимаю, что Игорь, как назвала его классная руководительница, накануне ещё готовился к сегодняшнему дню, пройдя по лезвию напильником и бруском. Что ж, может быть, именно его стоит оставить на всё лето…

А вот уже другой характер, эдакая местная красавица, знающая себе цену. Если не ошибаюсь, Зина, дочь моториста, и живут они через несколько домов от нас. Ну, эта у нас на раскопках не задержится. Зато Ольга, зеленоглазая и веснушчатая девчушка в косыночке, мне определённо нравится: и бойка в меру, и авторитетом, как видно, не только среди девочек, но и у мальчишек пользуется! Вот и ещё, стало быть, один человечек, на которого можно будет попробовать опереться в работе. А то скоро уедут от меня в свои экспедиции Вадим и Саша, и что мне тогда делать без помощников?

— Можно начинать, товарищ начальник? — спрашивает Вадим, подходя ко мне с планом раскопа и неприметно подмигивая.

— А ну, кто ко мне? — кричит Саша.

Вот оно, началось! От последнего шурфа, в котором две

недели назад мы нашли скребок, теперь к реке пущена широкая четырёхметровая траншея. Ещё через двадцать метров она сомкнётся со старым раскопом. Я не рассчитываю, что здесь будет что-то уж очень интересное, здесь всего лишь край поселения. Но, во-первых, его всё равно надо исследовать, а во-вторых, это место я выбрал для начала специально: культурный слой здесь невелик, находок будет мало, нет опасности, что неопытные ребята разрушат что-либо ценное. А когда они закончат этот раскоп, то появятся и опыт, и сноровка, и знания…

Неожиданно резкий и протяжный гудок за спиной оглушает. Я оборачиваюсь. Павел, подъехавший к станции на своём мотовозе, радостно скалит зубы, высунувшись из окна. Синяк его почти не виден…

* * *

Дерево

И сучья бились за окном,
И дождь стучал по крышам.
И был угрюмый старый дом
Смятением колышим.
И словно птицы были сны,
Гонимые ветрами:
Сквозь запах влаги и весны
Травмировали память…
Казалось, дерево, как друг,
Протягивает руки
И охватил его испуг
Предчувствием разлуки.
Он что-то видел, что-то знал,
Стучал всю ночь в окно мне,
Как бы на помощь призывал,
Пытался мне напомнить…
Но я не вспомнил и не встал,
И дождь стучал по крышам,
И старый дом во тьме молчал,
Предчувствием колышим.
А утром, сна порвавши круг,
Я увидал в сплетенье
Израненных, корявых рук —
Немое осужденье!

21

Археолог идёт сверху, в глубь времени, в глубь земли. История предстаёт перед ним фильмом, пущенным наоборот. Только достигнув материка, он может остановиться, осмотреться и, помня о том, что промелькнуло перед ним, начать мысленно восстанавливать прошедшее.

Материк — это основа, на которую не простиралась деятельность человека; над ней накапливалось веками то, что является целью археологических раскопок.

Парадокс археологии в том, что исследовать прошлое можно, только предварительно разрушив его. Раскопки — это разрушение, разрушение необратимое. И лишь от методики раскопок зависит полнота изучения памятника, а стало быть, посильное сохранение его в виде коллекций, чертежей, фотографий, рисунков, планов. План позволяет видеть, как в пределах каждого квадрата — четырёх метров — располагались предметы. Но они лежат на разной глубине, а на одном и том же памятнике могут быть разновремённые вещи. Поэтому толщу культурного слоя делят на горизонты, по десять сантиметров каждый.

С каждого квадрата и каждого горизонта находки заворачиваются в отдельный пакет. Потом, если все пакеты расположить по порядку, можно восстановить условия залегания каждого предмета.

Сейчас мы кончаем пробный раскоп.

На дюнах дёрна нет: мхи, вереск, прослойка перегноя — всё не более десяти сантиметров. Затем идёт подзол — белый, будто смешанный с золой песок. Но это ещё не культурный слой. Жёлтый песок с разводами от солей железа, с белыми пятнами проникающего сверху подзола лежит ниже. В нём чернеют угольки, встречаются отщепы кремня, керамика. При зачистке проступают тёмные пятна — следы истлевших корней, когда-то врытых в песок столбов, остатки очагов с золой и углями.

Пятна — самое важное, что здесь есть.

Цвет и структура почвы выдают те изменения, которые происходили на этом месте в древности. Разбирая пятно, изучая форму ямы, задаёшь себе вопрос: зачем она была выкопана? Чем выкопана? Как связывается с другими ямами и пятнами? Вот хотя бы эта цепочка небольших тёмных пятен, протянувшихся наискосок из одного угла раскопа в другой…

Пока остальные ребята снимают верхний слой с нового раскопа, я поставил разбирать эти пятна Игоря и Олю — двух

своих новых помощников, которых отметил ещё в первый же день работы. Если остальные, насколько я понял, смотрят на раскопки как на что-то временное, лишь ненамного отдалившее летнее безделье, то эти двое хотят работать у меня всё лето. Что ж, надо попытаться подготовить их так, чтобы они заменили на раскопе Вадима и Сашу. Застенчивый и старательный Игорь, напоминающий мне чем-то Володю Карцева, робеет в неожиданной для него роли начальника. Он краснеет, понижает голос до шёпота, когда переспрашивает соклассницу о находке, и мне часто приходится вмешиваться, чтобы утвердить его авторитет.

Ольга — полная его противоположность. Волевая, с острым как бритва язычком разбойная девчонка в россыпи мелких веснушек приняла из моих рук папку с планами как должное. Она умела командовать и не смущалась шуточек, которые отпускали по её адресу глазевшие на раскопки мотористы. Сама она была из Мшарова, но, чтобы не ездить каждый день взад-вперёд, жила на квартире при школе и пользовалась своей самостоятельностью, как хотела.

Ольга — полная его противоположность. Волевая, с острым, как бритва, язычком, в россыпи мелких веснушек, она приняла из моих рук папку с планами как должное. Она умеет командовать и не смущается шуточек, которые отпускают по её адресу глазеющие на раскопки мотористы. Очень хорошо! По крайней мере Саша с Вадимом могут пока снимать общий план поселения…

Так что получилось у ребят с пятнами? Каждое из них теперь, когда красными садовыми совками выбран заполнявший их серый песок с угольками и золой, превратилось в неглубокую цилиндрическую ямку, отстоящую одна от другой на полметра. Изгородь? Что она отгораживала — дом, загон? Но раскоп мы здесь расширить не можем: с одной стороны его ограничивает большая старая канава, с другой — насыпь узкоколейки. Может быть, это даже следы от дома: чуть поодаль мы нашли большую очажную яму, наполненную углями…

Как это всегда обидно! Вот, кажется, уже нашёл тропку, идёшь вдоль изгороди, сейчас свернёшь за угол, в лицо тебе пахнет дымом костра минувших времён… но ничего этого нет, потому что цепочка пятен обрывается и остаётся в плане раскопа ещё одним штрихом, который, может быть, никогда не найдёт себе места на общей картине.

22

Который уже год приглядываюсь я к Роману, пытаясь понять: что движет этим человеком? Страсть к деньгам? Алчность? Самолюбие? Неведомый мне червь самоутверждения в этом мире? Просто, как говорят, «тяжёлый характер»? Мысленно я сравниваю его с соседями, братом, живущим через дом от него, пытаюсь найти то самое зерно, из которого вырос его… эгоизм? Нет, не ложится к нему это слово! Расчётливость? И не только она. Иначе откуда бы взяться той тирании — иначе не назовёшь! — с которой он распоряжается в доме, от которой страдают и Прасковья Васильевна, и дети.

Сложен он? Да ведь кто из нас, если покопать поглубже, не сложен? Простых людей нет, это мы их пытаемся упростить, чтобы найти для себя точки опоры в сложном и многомерном окружающем нас мире…

Нет, в основе этого незаурядного человека лежит что-то другое, к чему я пытался подобраться ощупью, поминутно открывая, казалось бы, противоположные качества, привлекающие и отталкивающие поочерёдно. И человек Роман действительно не рядовой. Сват его, Пётр Корин, куда мельче, слабее, сиюминутнее, чем этот худой жилистый мужик, упорный в своём ненасытном труде, в алчной жажде тяжёлой, непрестанной работы, лишь бы она была с отдачей, с прицелом, принесла результаты — пусть даже через годы.

Сам Роман из крестьян потомственных, залесских, — не из достаточных, а средних, скорее даже из бедноты деревенской: одна корова, одна лошадь, овцы… Только после революции его отец начал подниматься на ноги, дом поставил, кое-каким хозяйством обзавёлся, детей поднимать стал, но тут оказалось, что две лошади и две коровы превратили его не просто в «зажиточного», а в «богатея», да и новый дом кое-кого смутил своей добротностью. Вот и пришлось Роману собственную жизнь начинать с нуля: от рабочего на торфоразработках поднялся до мастера, живя на казённых квартирах, скитаясь с семьёй по баракам, осушая болота и разрабатывая торфяные поля. И так было до тех пор, пока однажды как отрубил: свой дом ставить надо. Всё, пожили по баракам, хватит!

Чёрный, жилистый, цепкий, с недобрым взглядом из-под лохматых бровей, который только в последние годы стал как-то мягчеть и оттаивать, по-крестьянски неторопливый в деле и разговоре, по-крестьянски же упрямый и упорный, присаживаясь только чтобы свернуть самокрутку, он беспрестанно двигается,

переходя от одного дела к другому — от огорода к хлеву, от хлева к дровам, от дров к дому, — начиная спозаранку, задолго до того, как идти на работу.

А вернётся к вечеру домой — и всё начинается снова.

Но вот что странно. Похоже, это беспрестанное, непрекращаемое движение приносит Роману словно не радость, а какую-то тайную ожесточённость, с которой он попрекает бездельем и сыновей своих, и Прасковью Васильевну. На ней лежит хозяйство, и через день-два она должна везти на продажу в город молоко, яйца, сметану, а позже — первый зелёный лук, укроп, морковь и прочую зелень, благо всё это на огороде у Афанасьевых появляется на неделю, а то и на две раньше остальных, и всё это, не в пример другим, крупнее и качественнее… Впрочем, и сам Роман пустым никогда с работы домой не придёт: то принесёт на плече лесину, чтобы потом её аккуратно распилить и расколоть на дрова, то связки тальника, из которого вечерами наплетёт с десяток корзин, отправив их на рынок всё с той же Прасковьей Васильевной.

Только вроде бы всё сделал, подойдёт забота о пчёлах — мёд качать надо. Потом сенокос подоспеет, и пока остальные мужики будут раздумывать, куда бы двинуться на «ничейные» луговины, Роман уже обкосит под кустами, возле торфяных полей, по зарастающей сочной пойме все пригодные «пятачки»; переворошит, высушит и успеет сметать перед домом три или четыре стога до дождей, которые того и гляди прольются на подсыхающее сено…

Нет ему отдыха. И сам он никому другому отдыха не даёт. Вот почему, разругавшись с детьми, поколачивая в дни запоя жену, жалуется он мне на горькое своё одиночество, потому что нет у него ни друга, ни приятеля. Как одинокий волк бьётся Роман над своей жизнью, выстраивая для неё высокие хоромы, в которых мы сейчас квартируем, расширяет их, отделывает всё лучше и лучше, смотрит, чтобы каждый клочок земли, каждая травинка, каждый пень хоть какой-нибудь доход или пользу в хозяйстве приносили… А для чего ему это всё? На что копить? Да и копит ли деньги Роман?

«А как же, — скажет любой сосед, любой сторонний наблюдатель. — Обязательно копит! Молоко продаёт? Мёд продаёт? Лук, картофель и прочее всё огородное дело продаёт? Сено — и то два стога подсобному хозяйству торфопредприятия в прошлом году продал! Корзины плетёт? Экспедицию в квартире держит? Да ещё и дачников пускает — когда на веранду, а теперь вот баньку в огороде расширил, комнатку прирубил, теперь туда поселит… И на что тратить ему? Да ни на что! Всё сам заготовит

на весь год — и дрова и сено… Разве что хлеб, сахар, масло, да когда крупу какую в магазине купит или колбасу. А если и пьёт — то один: двух бутылок ему для разгула хватает…»

Вот вроде и приговор можно выносить. Всё ясно? Нет, оказывается, не всё.

Я хорошо помню то далёкое теперь время, когда впервые увидел плёсы и повороты Вёксы, — много, много лет назад, когда и думать ещё не мог, что края эти станут для меня привычными и родными. Лес по правому берегу Вёксы был уже сведён, но сам берег успел зарасти кустарником и подлеском, и среди этого молодняка на новой чисти стоял единственный дом — вот этот старый дом Романа, отданный им теперь Павлу.

Отсюда до крайних домов посёлка было тогда с полкилометра. Но Роман, которому надоели бесконечные бараки и в котором заговорила кровь предков, русских мужиков, обживавших когда-то эти лесные края, облюбовал ровное, хотя и заболоченное место на берегу Вёксы, расчистил его от кустов, выкорчевал пни, прокопал осушительные канавы, как привык это делать на торфоразработках, и поставил дом. Поставил своими руками, без чьей-либо помощи. А вокруг дома поднял залежь и начал удобрять здешние пески: то привезёт на тачке торфяную крошку, то навоз разбросает под снег… И так — каждый год, изо дня в день, с перерывом на снежную зиму.

Вот и задумаешься: лук? морковь? картошка? огурцы, которые больше ни у кого здесь не вызревают? Так-то это так, но я-то знаю, сколько упорного труда, сколько предельных сил, сколько заботы вкладывает этот вот «кулак» в свои грядки, как спускает с них застоявшуюся по весне воду, сколько вёдер воды выливает на них летом! Вёдер, которые носит и носит с реки…

Так получается, что Роман не просто поселился возле реки; он проложил здесь первые тропы, положил основание посёлку, и вокруг его дома на расчищенном и обихоженном, уже обжитом человеком месте очень скоро стали подниматься новые дома. От возделанной им земли ловкие соседи стали отхватывать себе участки, ссылаясь на нормы землепользования, и землю эту Роман, как ни странно, отдал безропотно: что ж, раз есть закон, его исполнять надо, берите…

Работать на торфопредприятии Роман продолжал один. Прасковья Васильевна вела домашнее хозяйство, растила троих детей, которых надо было накормить, одеть, выучить, на ноги поставить.

Но вот прошли годы, тесно стало в старом доме, задумал он новый ладить, тот, в котором и мы живём. И всё началось для Романа сначала: сам выправлял разрешение, билет на порубку,

сам отбирал деревья, сам рубил, сам вывозил их… И каждая копейка, заработанная его цепкими, корявыми и жилистыми руками, высмотренная в окружающем мире острым и хищным глазом, не засовывается «в чулок», не кладётся «в кубышку», да и на книжку нечасто попадает: она сразу идёт в оборот, в дело, в домашнее строительство… И невольно я начинаю думать, что не от исконной жадности, не от какого-то душевного увечья, а от неистребимой, неискоренимой жажды преобразовывать, совершенствовать окружающий мир, культивировать окружающее пространство для того, чтобы оно служило человеку, приносило ему плоды земные, для лучшей, более красивой жизни, о существовании которой он только догадывается, гнёт себя, ломит, мучает окружающих, близких ему, мой Роман.

Для себя? Вот здесь и получается загвоздка: для себя-то для себя, но и для других тоже. Если же шире и глубже копнуть — вообще для будущего. Земля-то останется возделанной? В доме, который он построил, будут жить люди? И те деревья, которые высаживает Роман перед домом, и та красота, которую он наводит на дом, расписывая краской резные наличники, обшивая сруб тёсом, накладывая на звонкие доски слои масляной краски, — не для тепла, не для удобства, не для богатства нужны ему, а, как сказал он однажды, «чтоб смотрелось красиво». Значит, не только для своей красоты, но для общей.

Когда я вспоминаю, как это было сказано, как-то иначе, новой и неожиданной стороной поворачивается ко мне этот человек, изнуряющий себя работой, которую не только не заставляет его никто делать, но наоборот, всячески пытаются от неё отвадить. Почти каждый год кто-либо из соседей-доброхотов, кому мозолит глаза и дом этот, и непрестанные труды Романа, берётся за перо или карандаш, чтобы «сигнализировать» — в поселковый Совет, а то и прямо в милицию или ОБХСС, — уличая Романа в хищениях, воровстве и прочих неблаговидных поступках. И всякий раз в результате проверок оказывается, что ни одного гвоздя, ни одной доски не взял Роман у государства бесплатно — за всё сполна заплатил, со всеми налогами и обложениями, со всеми накладными расходами.

И вертится, не даёт мне покоя вопрос, который однажды я задал Роману в одну из тех редких минут, когда сидели мы с ним в конце дня на мостках у реки, смотрели на воду и курили:

— А вот скажи мне, Роман Иваныч, как ты думаешь: зачем ты живёшь на белом свете?

— Живу зачем? — переспросил он. — Да кто ж его знает. Вот живут другие люди — и я живу. Когда — с ними, когда — наособицу. А зачем живу — не знаю. Право, не знаю. Да и другие,

думаю, тоже не знают. Ты-то вот знаешь ли сам, зачем живёшь?

Я постарался его вернуть на тот путь, с которого начал, пояснив, что спрашиваю его не о смысле жизни как таковой, а о том, что делает в жизни своей человек. Что, скажем, сам я вот вижу смысл своей жизни — или примерно так — в том, чтобы разобраться в вопросах, которыми занимаюсь здесь, копая древние поселения. Другие, скажем, видят смысл своей жизни, чтобы строить дома, в которых будут жить люди, или железные дороги, третьи — ещё в чём-либо…

— Не знаю я, — перебил меня Роман. — Вот работаю я на предприятии, деньги, зарплату получаю — так какой ещё в том смысл? До пенсии доработаю и уйду. И вспоминать не буду: дай ты только мне что положено, что я своим горбом заработал. Потому что не моё там всё, и как что лучше сделать — меня не спросят. Вот, мол, наряд тебе, иди и работай до точки… А вот ты дай мне землю и скажи: Роман Иваныч, вот тебе земли сколько хочешь, вот тебе свобода своё хозяйство вести — только положенный налог плати… И знаешь, что бы я сделал? Я бы любой, какой хошь земли столько бы взял, сколько вашим академикам не снилось! И не просто бы взял, а в руках бы её держал, золотой бы её сделал, вот сколько бы она мне родила! Откуда? А я знаю?! Сидит это во мне и всегда сидело. Скажешь, может, в этом смысл жизни? Так опять ошибёшься. Какой же он смысл во всей этой работе? Тягота одна, никто тебя не понимает, даже родной брат, никто слова доброго не скажет: куркуль да куркуль… От жены только и слышишь: ирод, пьяница, ей и детям жизнь заел… А я что, с собой в могилу, что ли, возьму всё это? Или в старом доме жить не мог? Ничего с собой не возьму, всё людям оставлю. Знаешь, как я жил? Везде жил, как собака в конуре жил. И ничего, потому как иного ничего не было. И сам ничего не мог. А потом, как на ноги встал, силу свою почувствовал, тут всё и началось. Ты сам рассуди: зачем и жизнь нужна, коли я ничего делать не захочу? А уж если я живой, стало быть, должен дело делать, чтобы лучше было… А смысл — это уж ты как хочешь, так думай. Я-то его, смысла этого особого, не вижу…

На том тогда наш разговор и кончился.

И сегодня, после очередного скандала в доме, когда Роман накинулся на жену — не поехала утром Прасковья Васильевна в город с молоком, приболелось что-то, потом ушла к соседке, заговорилась, остыл обед к приходу хозяина, — я снова задумываюсь над сложностью тех человеческих «микромиров», сквозь которые мы проходим в жизни. Проходим, не замечая, не имея времени заглянуть в них, разобраться в содержимом, а ведь

здесь каждый раз требуются куда более глубокие раскопки, чем те, которыми мы довольствуемся на Польце!

23

…Небритые, в шкурах, с топорами и копьями, толпятся вокруг и все что-то от меня требуют. Вижу, что требуют, а что — понять не могу. И знаю, что, если сейчас не пойму, произойдёт что-то непоправимое. Бежать бы… Но не протиснуться между жарких и потных тел, и руки тянутся, а я бегу, бегу, с трудом передвигая будто связанными ногами, к реке, в воду сейчас… Но вот уже вокруг раскопа расставлены стулья, стол стоит, накрытый красным сукном, графин, и гладкий такой, что лица как бы и нет у него вовсе, а только дорогой портфель на столе, объявляет, что теперь и с палеолитом и с мезолитом покончено. Нынче всё по-другому, неолит наступил, новый каменный век, и если кто про мамонтов вспоминать хочет, про шерстистого носорога или северного оленя, то…

— В печку поставить, в печку! — раздаётся дикий рёв, и я понимаю, что кричат это мне, что теперь уже не спастись, и вот сейчас меня под белы рученьки и…

— В печку её, а куда же ещё? — говорит Вадиму вошедшая в комнату Прасковья Васильевна. — Так прямо в кринке и будет стоять. И пенка хорошая получилась, не пережглась…

Тьфу ты, чёрт! Вот перегреешься на работе, а потом такая чушь приснится, что и рассказать совестно! Ну а понять можно: вчера после работы сидел с ребятами на раскопе и объяснял — что такое палеолит, что такое мезолит, что такое неолит.

Объяснил ли?

Неолит — «новый каменный век». Новый? В нём больше старого. «Эпоха нового камня». Вот и получается, что даже термин, употребляемый в науке, оказывается неточным и приблизительным. Как привычное сокращение «н. э.» — «наша эра». Читают же обычно «новая эра». Но ничего нового в ней нет и не было, это условный отсчёт от нуля, столь же условного. Новым был в неолите не камень, а лишь идеи, которые в него вкладывал человек, приёмы его обработки — пиление, шлифование, сверление. Все они были открыты ещё в палеолите, в ледниковом периоде, но в те времена они применялись изредка, от случая к случаю. Нужно было, чтобы прошли тысячелетия, прежде чем эти навыки понадобились человеку настолько, что смогли изменить всю его жизнь.

Так бывает часто, и открытие, опередившее время, ждёт, когда о нём вспомнят и извлекут на свет божий.

Так что же менялось? Как увидеть сквозь толщу напластований ту «дневную поверхность» прошлого, на которой

возникали приметы сегодняшнего дня?

Время великих оледенений представляется нам в хрустальном кружеве инея, холодной звонкости льда, над которым несётся трубный рёв попавшего в ловушку мамонта. Слов нет, эти громадные склады мяса, медленно передвигавшиеся по равнинам, так же как стада оленей, влекли за собой группы охотников. Но, подобно тому как солнце через определённые промежутки времени возвращается в один и те же точки на небосводе, а перелётные птицы из года в год прилетают на места постоянных сезонных гнездовий, точно так же и человек в эпоху палеолита был не бродягой, а, так сказать, «сезонником». У него были излюбленные маршруты кочевий, в которых он следовал за сезонными передвижениями стад мамонтов и оленей, летние и зимние поселения. И когда климат изменился, сдвинув оленей на Крайний Север, а мамонты были уже перебиты, человек к этим переменам был подготовлен.

Первым шагом к оседлости, пусть даже временной, стало для человека рыболовство, которым как раз и определяется переходный период от палеолита к неолиту — мезолит.

Охота на рыбу с луком, стрелами, копьём не могла гарантировать жизнь в достатке. Обеспечить рыбой могли только сети и ловушки — заколы, ёзы, морды, верши. За ними требовалось наблюдение постоянное, чтобы опорожнять их, чинить, ремонтировать, возобновлять и переставлять. В свою очередь, даже временная оседлость потребовала и соответствующего жилья. Оно должно было быть прочным, добротным, тёплым, способным защитить и от удара стихий, и от нападения дикого зверя, и от возможного врага. Следовало расчистить в лесу место для посёлка, срубить и обтесать брёвна, построить амбары, срубы, выкопать землянки. А для всего этого нужны были иные, чем прежде, орудия — более прочные, более эффективные, удобные в работе. Острый, но хрупкий кремень уже не всегда мог удовлетворить человека. Нужен был другой материал, более прочный, более вязкий, не крошащийся при ударе, который следовало и обрабатывать иначе, чем прежний.

Новые способы обработки камня позволили использовать мелкозернистые и кристаллические породы: нефрит, яшмы, сланцы, диориты. Пиление, шлифовка, сверление позволяли воплощать в таком материале любую идею орудия, достигать удивительного совершенства формы, которая рождалась при максимальной целесообразности. Всё это требовало специальных навыков, передававшихся от учителя к ученику, знания камня, его возможностей, приёмов обработки. Появлявшиеся мастера-профессионалы несли в себе, таким образом, главную основу

культуры и цивилизации, без которой невозможно никакое движение вперёд, — разделение труда.

Если прежде труд был общим, то теперь он стал общественным. Каждый занимался только своим делом, но «своё», таким образом, оказывалось общим, и чем дальше человек в нём совершенствовался, чем делал его лучше, тем больше получался результат, которым пользовались другие.

…Было ещё рано, когда, не дождавшись завтрака, я отправился на Польцо. Туман отошёл, воздух был свеж и влажен после ночи. Подмывая корни кустов, медленно стремилась река, отдохнувшая и успокоенная за ночь, очистившаяся от мути, мусора, — стремилась так, как много веков назад. И я поймал себя на том, что хожу по Польцу как-то не прямо, словно обхожу невидимые препятствия, останавливаясь перед несуществующими преградами. Что это? Настолько сжился с прошлым, что угадываю облик былых времён? Или это то сокровенное знание о памятнике, которое откладывается в подсознании исследователя и удивляет прозрением будущих открытии не только окружающих, но и его самого? Скорее всего, так оно и есть.

Здесь вот, на берегу, возле свай, оставшихся от прежнего моста, где от реки поднимается чуть заболоченный лужок, и дальше, выше по течению, у плёса, где наклонились подмытые кусты, должна была протянуться отмель. Над водой прогибались мостки, вроде тех, что видны возле огородов на противоположном берегу — без единого гвоздя, — перевитые ветками… На песке, полувытащенные, лежали долблёные челны-душегубки, а рядом на шестах и распорках сохли сети из волокна крапивы с берестяными поплавками и тяжёлыми, обвитыми берестой каменными грузилами. Берег был усыпан щепой, костями, рыбьей чешуёй, черепками. В отбросах копались собаки, а полуголые ребятишки, совсем как мы в детстве, пускали по воде черепки, считая «блинчики».

Чуть поодаль, чтобы не достать ни собакам, ни зверю, на высоких столбах поднимались маленькие амбарчики со связками сушёной рыбы, запасными сетями, шкурами, кореньями, копчёным мясом.

Выше начинались дома посёлка.

Конечно же, они занимали самое сухое, наиболее удобное место, куда не достигала вода даже в самый высокий паводок. По сравнению с нашими современными домами, вроде того, в котором мы живём сейчас, эти были жалкими лачугами, сложенными из тонких брёвен и жердей, — длинные дома, разделённые шкурами и лёгкими перегородками на клетушки для отдельных семей. Но что мы знаем о них с достоверностью?

Ничего. Фантазия моя может опереться лишь на классические примеры, вроде общинных домов североамериканских индейцев, описанных в своё время Л. Морганом, на те посёлки охотников и рыболовов на Амуре и на Камчатке, которые ещё успели увидеть русские этнографы прошлого века… А то, что было в действительности, не позволят узнать даже раскопки, которые мы сейчас ведём.

Да, ещё мастерские! Именно там, неподалёку от раскопа прошлых лет, можно видеть особенно много кремнёвых отщепов.

Далеко не везде был свой кремень. Из кремнёвых валунов, которые вымывала вода — на полях, в оврагах, на дне ручьёв, протачивавших толщи моренных отложений, — нельзя было изготовить хорошее орудие или оружие. Пёстрый валунный кремень пронизан множеством тончайших трещин; изо дня в день в течение десятков тысячелетий он нагревался и замерзал, испытывал давление толщ льда и морен, его влекли потоки, ударяя о другие валуны, поэтому при первом же ударе он раскалывался не на пластины, а на неправильные куски.

Чтобы получить тонкую, прямую ножевидную пластинку, одинаково пригодную для изготовления ножа, наконечника стрелы, вкладыша, чтобы на листовидный отщеп легла тончайшая плоская ретушь, рисунок которой до сих пор поражает своим изяществом, нужен был совершенно иной кремень — свежий, пластичный, подчиняющийся и удару и нажиму мастера, мелкозернистый, извлечённый из меловых или известняковых отложений. Такой кремень охотники неолита выламывали из слоёв известняка на Верхней Волге возле Ржева, где берега усыпаны кремнёвыми желваками, сколами известковой корки, кремнёвыми отщепами и неудачными заготовками орудий. Более сложные разработки были обнаружены археологами на территории современной Белоруссии, в Польше, в Западной Европе, в Англии и Швеции, где работали настоящие специалисты горного дела, оставившие тысячи глубоких шахт с боковыми штреками, образующими сложную систему ходов, следующих за пластом кремня. Каменные и глиняные светильники, кирки из оленьих рогов, огромные отвалы — всё это говорит о большом размахе производства, рассчитанного не только на собственные нужды, но на обмен и торговлю с дальними и близкими соседями…

Из этих и множества других подобных мест, где добывали этот необходимый минерал, кремень расходился уже в виде готовых изделий или полуфабрикатов, крупных заготовок орудий определённого вида — расходился на сотни и тысячи километров, удовлетворяя спрос, упрочивая связи между людьми, прокладывая

пути для торговли и обмена идеями…

24

С тревогой поглядывает Прасковья Васильевна на растущую гору пакетов, для которых мы облюбовали один из углов веранды.

Сегодня переходим ближе к реке, за раскоп 1958 года. Прежде чем его начать, надо отбросить отвалы песка и зачистить засыпанные стенки старого раскопа, в углах которого заложены реперы — старые шпалы. От них начнётся отсчёт квадратов.

Сегодня переходим ближе к реке. В срезе стенки с разноцветными лентами слоёв чётко видны линзы чёрных от угля кострищ, которые мы разрезали нашим старым раскопом. Защищённые от налипшего песка, они словно приблизили ту промозглую осень, и я даже вижу следы своего ножа, которым расчерчивал сетку квадратов и проводил нивелировочную линию.

Как изменилось всё за эти годы! И всё же, увидев вот так свой след, вдруг вспоминаешь и прелый запах осеннего леса, и дымок костра, возле которого пекли картошку и у которого грелись; ты оглядываешься с недоумением, и становится жалко и сведённого по обе стороны узкоколейки соснового бора, и тишины дня, так редко нарушавшейся тогда гудком как бы игрушечного паровозика, хотя понимаешь, что всё это естественно и закономерно…

А по шпалам, словно из осени той, движется ко мне сухопарая фигура с красным носом и неизменной полевой сумкой. Так издали по двум ориентирам безошибочно узнаешь бродягу и рыболова, местного геодезиста Владимира Александровича Пичужкина.

— Всё на старые места тянет, всё к нам, в леса! Ишь, сколько уже накопали!

— То ли ещё будет! Что не видно вас было, Владимир Александрович? Или болели?

— Да вот в мае на Сомине прихватило, а потом новые зубы себе делал, в Ярославль ездил. Никак привыкнуть к ним не могу — мешают, хоть выбрасывай! А говорят — надо, чтобы девкам нравиться!

Пичужкин смеётся, показывая свой новый протез. У него действительно изменился голос, но сам он такой же, как был и в прошлом и в позапрошлом году, — быстрый, непоседливый, привыкший вышагивать километры своими длинными жилистыми ногами, прокладывая трассы будущих узкоколеек и ловя перекрестьем нивелира миллиметры погрешности насыпи.

— Что интересного раскопали-то? Или всё то же — черепочки, скребочки? Человека-то нет?

— Нет человека, Владимир Александрович, нет… И хотелось бы, да что-то найти не можем.

— А там-то, на Купанском? Слышал, слышал уже о подвигах ваших! Говорят, серебра много выкопали и золота даже…

— Зайдите к нам, я вам это золото покажу. Бусы стеклянные, золочёные.

— Правда? А люди чего только не наговорят! Будто и кольца золотые, и корона какая-то…

Мотовоз, остановившийся у раскопа, даёт резкий гудок. Старик заторопился.

— Ну, будьте здоровы, я поехал! Удачи вам всяческой, я ещё заскочу…

Сплёвывая, ругая новые металлические зубы, он полез в кабину.

…К вечеру, когда солнце клонилось на закат, я отправился на озеро — по старинке, без мотора, оставив своих друзей дома. Как всякий механизм, мотор становится между тобой и природой. Воду, её упругое сопротивление чувствуешь веслом, и тогда мир раздвигается, ширится, освобождённый временем и тишиной.

Я плыл бездумно, не спеша, останавливаясь и прислушиваясь к предвечерней тишине леса. В излучине, которую образует Вёкса вскоре после выхода из Плещеева озера, до меня донёсся странный плеск, какое-то трепетание воды, дробящейся и сверкающей под солнцем. Вся река искрилась и волновалась. И когда при полном безветрии это волнение придвинулось ко мне, я понял, что идёт уклея!

Миллионы маленьких серебристых рыбок с чёрной спинкой в этот вечер заполнили реку так, что казалось, она должна была выйти из берегов.

Вода рябила, сверкала, вскипала, под лодкой было темно от мельтешащих чёрных спинок. Ошалевшие чайки гомонили над тростниками в истоке Вёксы, бросались белыми камнями вниз и взмывали то с одной, а то и сразу с двумя трепещущими рыбками. Деловитые вороны молчаливо и сосредоточенно шагали по кочковатому берегу, подпрыгивали, прицеливались, кося то одним, то другим глазом, били клювом в траву у воды и выбрасывали на берег вздрагивающее живое серебро.

Ни на чаек, ни на ворон уклея не обращала внимания. И когда, подтянув до бёдер резиновые сапоги, я шагнул с удочкой прямо на уклею, на мелководье, кипение только усилилось. Этим маленьким юрким рыбёшкам не было дела ни до меня, ни до лодки, ни до наживки, которую я закидывал в самую их гущу. Они шли из озера в реку, потому что начиналось лето, потому что для них сегодня был день любви, и ночь, и ещё день, после

которого они разойдутся по всей реке, по тростникам, выметав икру и дав жизнь новым миллионам этих вёртких серебристых рыбёшек.

А над прибрежными кустами, над лесом, поднимались в вечернее небо острые языки серого живого пламени. Это вылетали и роились комары, и было похоже, что над лесом ходят призраки, катаются, машут длинными серыми руками, словно зовут солнце ещё подождать немного и продлить вечер, посвящённый любви и танцу.

Напротив Польца Пётр Корин стаскивал в лодку связку сетей, огромный полукруглый сачок, смольё. Я приостановился.

— Что, Алексеич, никак за уклеёй собрался?

Тот усмехнулся широко и разбойно, блеснув фарфором крепких зубов, отчего его бельмо на обветренной, обожжённой солнцем физиономии вспыхнуло хищно и ярко.

— Да уж не комаров кормить! Хочешь в долю? Возьму!

И захохотал, зная наперёд, что я откажусь.

— Ну, смотри… Сегодняшнюю ночь проспать — всё на свете проспать! Такое только раз бывает…

25

В эту ночь действительно спали немногие.

Моторы ревели под окнами до утра, я закрывал ухо подушкой, но всё равно слышал их рёв и треск.

Неспокойно спалось и Роману. Ещё с вечера, узнав от меня, что пошла уклея, он собрался было ехать на ночь, спешно прилаживал к шесту сачок, ругаясь, что нет «паука», но Прасковья Васильевна начала его срамить, потом оказалось, что нет ни «козы», ни смолья, и, побуянив, он улёгся спать, лишь изредка вскакивая и матерясь, что уходит пожива…

Пётр Корин за эту ночь начерпал восемь пудов.

Утром уклея добралась и до нас.

Она кипит в тростниках, просто в траве у берега, и ошалевшие люди ходят кошачьим шагом по берегу, подкрадываясь к стайкам, чтобы накрыть их сверху сачками. Кошки тоже не теряют времени. Обычно они идут впереди рыбаков и обиженно уходят с места, забиваясь под кусты, когда их сгоняют двуногие. Там, в кустах внимательно всматриваются во вскипающую воду, бьют лапой и выкидывают на берег серебристую рыбку…

Завтра это всё кончится, но ещё целую неделю ребята будут плавать на лодках и подбираться к плещущей уклее.

На раскопе все взбудоражены, обсуждают, кто сколько привёз, где лучше ловилось, и мой помощник Игорь собирается ехать сразу же после работы.

На удочки уклея сейчас не обращает внимания.

26

В конце марта, когда вода и солнце протачивают на Неве полыньи, у стен Петропавловской крепости выстраиваются шеренги загорающих. Их хорошо видно из-за Невы, из окон огромных, разделённых шкафами на множество закоулков комнат бывшего дворца одного из великих князей, где помещается теперь Ленинградское отделение Института археологии и где я разговаривал с Петром Николаевичем Третьяковым, тем самым, что копал когда-то Польцо.

Каждый раз, приезжая в Ленинград, я рассказывал ему о переславских новостях, о своих раскопках, гипотезах, планах, и, хотя те давние раскопки были для него лишь эпизодом, мне кажется, Третьякову было приятно вспоминать и молодость свою, и те места, где она проходила.

— Удалось вам найти стоянку у истока Вёксы? — спросил меня как-то раз Третьяков. — Ту, что открыл Василий Иванович Смирнов — не Михаил Иванович, основатель переславского музея, а его брат, тоже краевед, но только костромской… Где-то она там должна быть, но где — я до сих пор не знаю. Искал, но не нашёл.

Я покачал головой.

— И я не нашёл тоже, Пётр Николаевич. Казалось бы, всё там обшарил, а найти ничего не смог. Попробую ещё раз в этом году. И бугорок там приметный есть, и сосенки растут, а вот находок нет как нет!..

…Сейчас, когда после этого разговора прошло уже несколько месяцев, я сижу на борту лодки и стараюсь подцепить носком сапога лениво увёртывающуюся лягушку. Лодка наполовину вытащена как раз на тот пригорок, о котором я говорил Третьякову и где надеялся найти стоянку.

Вокруг среди травы чернеют маленькие и большие кучки земли. Маленькие — работа природных археологов, кротов, а большие… Вчера после работы мы с Игорем и Олей приехали на этот бугорок, чтобы заложить шурфы. Результат — ноющие спины и один маленький отщеп белого кремня… Негусто!

День выдался на редкость тёплый и солнечный. Лето натянуло на прибрежные кусты зелёный шелестящий камуфляж, распустилось золотистыми звёздочками одуванчиков и фонариками купавок. Оно трепещет вспышками бабочек над лугом и гомоном птичьих голосов в лесу. Грязные пятна засыпанных шурфов режут глаз на фоне этого летнего буйства и напоминанием о бесплодности вчерашних поисков только портят

настроение. Поэтому я сижу в лодке, демонстративно повернувшись к ним спиной, посапываю трубкой и лениво разглядываю знакомый пейзаж.

Старое название этого места — Урёв — забылось. Все называют его «устьем», хотя отлично знают, что это не устье, а исток Вёксы. Но так уж повелось для простоты.

Прямо через плёс сереет расползающийся домик Бабанихи. Даже он в этот солнечный день похорошел, приосанился, прорастая на крыше молодой травкой. Справа, петляя и блестя, зигзагами идёт от озера Вёкса.

Сквозь прорывы в стене тростников я вижу редкие ивы, мерцающую гладь озера и одинокий домик Новожиловых, словно повисший в мареве на грани вод у самого истока реки. Недавно только я узнал, что Новожиловыми они стали ещё на памяти людей, а раньше вроде бы звались по-иному, но как — никто теперь не помнит. И жили в Рыбачьей слободе. Когда же здесь был построен рыбный заводик — коптить и засаливать свежие уловы переславских рыбаков, — сторож завода, перебравшийся сюда с семьёй из Переславля, получил прозвище «Новожилов»: на новом месте жить начал. От заводика сейчас уцелели только остатки свай, торчащих поперёк реки. Сама Анна Егоровна перебралась в город, на старости лет выйдя замуж за какого-то вдовца, то ли свойственника, то ли дальнего родственника, и в доме остался Виктор с женой и детьми…

Из-за леса долетает слабый гудок мотовоза.

Я оттаскиваю лодку к ближайшему кусту, обматываю ствол цепью, длинное весло засовываю в заросли крапивы и смородины. Потом, взяв рюкзак и лопату, отправляюсь в лес.

Иногда земля удивительно долго хранит следы человека. Лет тридцать прошло с тех пор, как был построен здесь рыбный заводик, почти столько же прошло после его разрушения, а дорога на берегу сохранилась. Она заросла травой, мелкими кустиками, но крупные деревья не выросли.

При подходе к лесу кусты, окаймляющие лужайку, стягиваются, уплотняются, оставляя только узкий проход, а потом разом обрываются: начинается лес.

Сосен мало. Они вытянулись вдоль дороги полосой, за которой начинаются мхи, хмурые ели в серебристом лишайнике, рытый зелёный бархат хвоща. Там сырость, сумрак и комары. Туда можно не ходить: в таком болоте ничего не найдёшь. Ель — дерево зимы, дерево холода, снега и влаги. Это мрачное, но полезное в хозяйстве существо, оживающее только в новогоднем наряде и жарком пламени костра. Она застаивается по болотам, растит у своего подножия упругую подстилку из игл и ревниво

следит, чтобы ничто не выросло под её завесой.

Не то — сосна.

Это дерево солнца, жёлтых и тёплых песков, схваченных упругими и цепкими жилами лилового вереска; это дерево жаркого летнего дня, пронизанного солнечными лучами, дурманящим и расслабляющим запахом кипрея на вырубках, серьёзным гудением шмелей и внезапными уколами слепней и оводов. Кора сосны — янтарно-красная, прозрачная, тонко звенящая от ласковых прикосновений ветра. Она словно пропитана вся мутнеющими каплями тягучей и душистой смолы.

Светлые раскачивающиеся стволы сосен похожи на мачты кораблей, для которых они вырастают и тянутся вверх без сучков и мутовок. Они напоминают о просторах океана, и вот уже сосновая роща кажется сонмом парусников, столпившихся в бухте, которые только и ждут, чтобы одеться белыми полотнищами парусов и разбежаться во все концы света.

К сосне всегда хочется подойти, прижаться щекой к её шершавому и в то же время шелковистому телу, чтобы слышать сквозь ствол разговор ветра и веток об облаках и птицах, о синих, колеблемых ветром просторах и призрачных кораблях, проносящихся в вышине…

Сейчас сосны, как заботливые старожилы, принявшие участие в незадачливом путнике, рассказывают мне, передавая друг другу, где кончается песок и где начинается болото, где можно, а где бесполезно искать следы человека, разгуливавшего здесь несколько тысячелетий тому назад. Потому что в этом крае лесов, озёр и болот человек всегда выбирал для своих поселений и стоянок суходолы, песчаные бугры, где можно развести костёр, посидеть возле него, поставить шалаш или хижину — совсем так, как теперь это делаем мы, такие же бродяги и землепроходцы, то ли от страсти к знанию, то ли просто из неуёмного любопытства совершающие путешествия в пространстве и времени…

Без особой надежды распутать столь затянувшуюся загадку стоянки — ведь она должна быть у истока Вёксы, а не в лесу! — я иду по старой дороге, спотыкаясь об узловатые корни, и размышляю: где же мог здесь поселиться человек? Что касается меня, я поселился бы на лужайке у излучины, чтобы можно было сидеть на берегу, ловить рыбу, окликать проезжающих, зазывая их к себе в гости, и чувствовать себя частью этого большого и сильного мира, который никак не удаётся вобрать в себя целиком, и можно только раствориться в нём, чтобы тем сильнее чувствовать и себя самого, и свою сопричастность этому великолепию.

Но не такой была жизнь в тот «золотой» далёкий век, полный

опасностей и неожиданностей, чтобы люди могли селиться прямо на такой голубой дороге… Так где же они могли выбрать себе место? Третий год я хожу здесь, третий год осматриваю выбросы из кротовин, третий год ничего не… Стоп!

Крот потрудился на славу. Он работал всю ночь, и кучка земли, выброшенная из глубины, ещё не успела обсохнуть, только верхние комочки заветрились и посерели.

А между ними виден черепок с глубокими коническими ямками.

Ай да крот! Ай да молодец! Надо думать, нелегко было ему проталкивать этот черепок по изгибам ходов, цепляя за выступы корней, и всё для того, чтобы порадовать одного незадачливого археолога!

Воткнув в землю лопату, я повесил рюкзак на сук. Потом медленно опустился на выбегающие из-под земли корни и разжёг остывшую трубку.

Чёрный с коричневым брюшком и бархатными надкрыльями жук выскочил из-под черепка, огляделся, повёл несколько раз усиками-антеннами и, спотыкаясь, быстро-быстро побежал по одному ему известным делам на дорогу. Но колею не перебежал и юркнул в оказавшуюся на его пути щель.

Это было ни с чем не сравнимое ощущение — сидеть вот так в солнечном лесу, слушая трескотню дроздов, попискивание маленьких пичужек, доносящийся с озера и с реки стук моторов, изредка посапывать трубкой и, чувствуя себя в центре неспешной и в то же время кипящей разнообразной жизни, смотреть на присыпанный землёй черепок как на некий знак исполненных желаний.

Здесь, возле узловатых корней сосны, в одной точке, как в фокусе, сошлись невидимые трассы путей и времён; плоскости эпох были рассечены плоскостями судеб; за розовым частоколом стволов вырастали какие-то иные деревья, в трелях птиц звучали голоса иных обитателей этих мест, и на полузаросшей лесной дороге я отчётливо видел появляющиеся следы невидимых ног и звериных лап, как будто всё прошлое, растянутое на десятки тысяч лет, сейчас сложилось для меня в эти мгновения, полные светом, звуками, запахами и гулкими, ширящимися ударами сердца.

И вдруг в какое-то из этих мгновений мне показалось, что и я сам, и всё, что я вижу, — мираж, обман зрения. Что никакого черепка нет, а мои глаза, столь страстно ждавшие его всё утро, принимают за узор орнамента сочетание комочков земли.

Это было так страшно, что на секунду я зажмурился. Потом, словно боясь спугнуть мечту, медленно опустился на колени и

осторожно разгрёб комочки.

Нет, всё на месте. Черепков было несколько, от разных сосудов. Вместе с ними крот вытащил маленький кремнёвый наконечник стрелы — толстый, немного неуклюжий, но старательно обработанный со всех сторон мелкой отжимной ретушью. Я нашёл стоянку.

Методично, не торопясь, я вырубил в кустах несколько колышков, определил по компасу север—юг, натянул бечёвку и отмерил по рулетке два квадрата — ровно столько, сколько позволяли обступившие кусты и деревья. Потом надрубил лопатой дёрн и начал его срезать.

Работать было легко и приятно. Отточенное лезвие лопаты с хрустом резало мелкие корешки, слегка стонало, ударившись о крупный корень, взвизгивало от соприкосновения с кремнем. Черепок рождал в нём короткий приглушённый звук.

И всё же на руках вздулись водянистые пузыри, когда я очистил от дёрна оба квадрата. Срезанные пласты я относил в сторонку, переворачивал и исследовал ножом: нет ли там чего? Как ни странно, находок не было; только крепкие узловатые корни калгана, розовые на срезе, выступали среди чёрной и влажной земли.

Теперь начиналось самое главное. Но что такое? Уже кончается тёмная земля, рябыми пятнами проступает снизу песок, углубился я уже на пятнадцать сантиметров, а никаких признаков стоянки нет. Двадцать, тридцать сантиметров… Теперь уже чистый песок лежит передо мной, лишь кое-где тронутый жёлтыми разводами солей железа. Так где же она, стоянка?!

Может быть, я попал на заколдованное место? И вовсе не крот вытащил эти черепки, а положил их какой-то шутник, чтобы посмеяться надо мною? Уму непостижимо!..

— …э-эй! — слабо доносится со стороны реки, — э-эй!

Теперь слышно, что кричат двое.

— …дре-эй!..

Неужели уже вернулись из Москвы ребята? Я вскакиваю, складываю ладони рупором и кричу в ответ.

Мне отвечают, и голоса начинают приближаться. Наконец вдали из-за поворота появляются две фигуры, радостно размахивающие руками. Солнце пробивается сквозь листву, пятнами ложится на землю, скользит по лицам идущих, а я всё никак не могу их разглядеть… Да это же Сергей! Вот неожиданность. А с ним Константин, старший сын нашего хозяина.

— Приехал, сподобился! Я думал, ты так и уедешь в Новгород, не побывав у меня!

— Приехал, приехал… Ну, мил человек, и забрался же ты! Я тебя, считай, полдня уже разыскиваю. Думал, совсем ты пропал: утонул, что ли…

— И хозяйка не сказала тебе, где я?

— Сказать-то сказала, да не совсем. Объяснила мне, что до Бабанихи идти нужно, а там покричать. А где она, эта Бабаниха? Шёл я, шёл, хлюпал-хлюпал по этим болотам, дошёл наконец до Бабанихи. Кричал-кричал — ни ответа ни привета…

— Да ты бы посмотрел: лодка ведь у берега стоит!

— А ты мне рассказывал, мил человек, какая у тебя лодка? Это ты здесь прижился, все лодки знаешь. Да и лодки-то, по правде сказать, я не видел. Домой вернулся, там с хозяином твоим посидели, тары-бары, потом Костя пришёл… Взяли у соседей лодку и поехали снова тебя искать. Константин вот тебя и вычислил: эвон, говорит, лодка наша! Поди, и Андрей здесь где-то… Что, и здесь стоянку нашёл?

— То ли нашёл, то ли нет. Вон крот черепок и наконечник вытащил, а я — только пару отщепов.

Константин присел на корточки возле черепков и стал веточкой выковыривать из ямок землю.

— Все такие же, как и у моста, — повернул он ко мне голову. — А почему других нет?

— Такая уж мода у них была.

— И что ты теперь намерен делать? — спросил Сергей, стягивая с шеи болтавшийся на ней фотоаппарат.

— Что остаётся? Копать да копать. Пока водой не зальёт. Песок уже влажный. А если и тогда ничего не найдём — значит, леший тоже археологией занимается!..

Сергей поплевал на ладони, старательно потёр одну о другую и взял лопату.

— Ну, командуй, откуда начинать…

Сергей Тимофеевич Бочаров был человеком своеобычным, удивительным и охочим до всяких приключений.

Сергей был человеком своеобычным, удивительным и охочим до всяких приключений. Он заведовал фотолабораторией, теснившейся когда-то под крышей исторического факультета на улице Герцена, и к этому времени уже более десяти лет был бессменным фотографом новгородской экспедиции. Там я познакомился с ним, подружился, а зимой торчал в лаборатории, постигая секреты фотографического искусства. Опыта у него и сноровки в раскопках было больше, чем у многих профессиональных археологов, потому что глаз его был зорок, а ум привык работать быстро и основательно. И аппарат, и лопата, и скальпель в его больших жилистых руках действовали уверенно

и точно.

— А я шёл вчера домой, смотрю — погода хорошая: ну что в воскресенье в Москве сидеть? Скоро в Новгород уезжать… А ну, поеду-ка на Переславль! — говорил он, осторожно срезая лопатой тонкий слой песка и сильным взмахом отбрасывая его в кусты. — Жена отпустила, вот я и махнул с утра… А места у тебя какие! Что ты! Вот куда ездить отдыхать нужно! Снял комнату или дом, лодку завёл — и никакого моря не надо! Ни тебе курортников, ни жары, от Москвы близко. Ради одного молока стоит приехать. А уж воздух, воздух-то какой? В Москве сейчас не продохнёшь…

Дзинь! — звякнула лопата о камень.

— Вот и стоянка твоя, а ты убивался! Это что, скребочек вроде? А вот и черепок торчит. Давай-ка совок да кисточку…

Находки, действительно, словно бы только и ждали приезда Сергея. Загадочного в этом ничего не было. Просто под слоем белого песка — озёрного, намывного, который я принял было за основание древнего берега, — лежал другой, окрашенный в жёлтый цвет солями железа. Вот из него-то крот и вытащил свои черепки на поверхность.

Что ж, всякое в нашей работе бывает! Но по мере того как мы с Сергеем расчищали прямоугольник шурфа, как снимали слои песка, извлекая из них то черепки, то кремнёвые отщепы, то скребки и наконечники стрел, я убеждался, что перед нами не совсем обычная стоянка.

Не в том дело, что она оказалась первым древним поселением, расположенным на самом берегу озера. В отличие от других в её слое, не таком уж большом и неоднократно перемывавшемся водой, о чём свидетельствовали окатанные черепки, вперемешку лежали остатки разных культур. Само время было здесь перепутано и перемешано: рядом с кусками больших неолитических горшков я находил тонкие, значительно более поздние обломки, относящиеся уже к началу железного века, а вместе с ними — куски пористых сосудов с характерным орнаментом из двойных зубчатых полос, сосудов, которые лепили люди, знавшие уже первые изделия из меди. Почему такая путаница? — ломал я голову. Обычно каждый из таких временных пластов залегал в строгой последовательности друг над другом или же представал перед нами в несмешанном залегании на том или ином мысу древнего берега. И всегда значительно выше, чем здесь.

— Так, может быть, это место озеро заливало? — нарушил молчание Сергей. — Сам говоришь, керамика волнами окатана, а сверху даже песок намыт…

— Это-то и странно, Серёжа, — ответил я. — Ты только

посмотри, как они окатаны: не все, только самые древние. Вот эти, например, — я показал ему черепки раннего железного века, — почти совсем не тронуты водой. А над ними — слой намытого песка!

— Сначала люди жили, потом вода в озере поднялась, — вмешался Константин, до этого молчавший. — А может, другое. Весной, сам знаешь, лёд не только песок — весь берег выворачивает, даже кусты, если ветер со стороны города поднапрёт… Пропашет берег лучше плуга!

— Ну, если бы такое и в те времена было, здесь люди не поселились бы, — резонно возразил Сергей. — Нет, уровень воды в озере тогда должен был быть куда ниже теперешнего. Это верно. Должен был быть. И был. Причём я мог примерно предположить, когда это могло случиться. Палеогеографы считали, что подобная ситуация могла сложиться в середине второго тысячелетия до нашей эры. Но — однажды. А тут получалось по меньшей мере дважды. Первый раз озеро должно было отступить, чтобы на этом месте возникла стоянка человека, изготовлявшего горшки, покрытые ямочно-гребенчатым орнаментом, то есть примерно в конце четвёртого — начале третьего тысячелетия до нашей эры. Потом озеро снова наполнилось водой, залило свои прежние берега, перемешав, промыв оставшийся культурный слой, разрушив очаги, окатав черепки. Второй раз отступление озера произошло как раз в то время, о котором говорят палеогеографы.

Судя по находкам, такое низкое стояние вод продолжалось не только всю вторую половину второго тысячелетия, но вплоть до середины первого тысячелетия до нашей эры, как о том свидетельствуют черепки раннего железного века. И лишь после того, поднявшись в третий раз значительно выше, чем оно держится в наши дни, озеро могло похоронить все эти отложения под слоем белого озёрного песка, обманувшего меня поначалу.

Статичный, до этого мгновения неподвижный мир, окружавший меня, вдруг заколебался. А как же другие известные нам поселения, чьи слои лежат ещё ниже современных уровней озёр и рек? — думал я. И наоборот, древние поселения, лежащие на высоких дюнах, на берегах, быть может, они указывают своим положением на время, когда уровень наших водоёмов повышался? В самом деле, ведь остатки свайных поселений швейцарских озёр отмечают именно такую периодичность их колебаний, когда, словно подчиняясь невидимому дирижёру, уровень водоёмов то падает, открывая для поселений человека прибрежные полосы дна, то вдруг начинает подниматься, затапливает всё и вся, надёжно погребая остатки человеческой деятельности под слоями торфа, песка и ила.

Какие силы выступают в качестве этих стихийных «дирижёров»? Есть ли какая-либо закономерность в таких колебаниях? Что несут они человеку? Во всяком случае, можно утверждать, что уровень Плещеева озера, который мы наблюдаем сейчас, не только не вечный, но даже стремится к своему падению. И, судя по положению слоя с находками, должен понизиться ещё не менее чем на полтора метра.

Что же произойдёт тогда с озером и окрестными лесами?

Пока что от всех этих колебаний для нас, археологов, я видел только одну несомненную пользу: влажный намытый озёрный песок и последующее заболачивание сохранили в слое кости животных и обломки костяных орудий, бесследно исчезающие в сухом песке прибрежных дюн. А это важно. Кости животных, собранные при раскопках древних поселений, служат нам как бы «пропуском» в тот давно исчезнувший мир наших лесов, озёр, холмов и равнин, в котором жил, постепенно изменяя его, человек предшествующих поколений. Расколотые, обглоданные, обожжённые кости позволяют биологам определять виды животных, их возрастные особенности, а подсчитывая количество особей, сопоставляя животных друг с другом по родам и видам, можно достаточно точно реконструировать не только собственно животный мир прошлого, но и растительный мир, окружающую среду со всеми её местными особенностями.

Как правило, чаще всего приходится находить кости лосей. Постоянная охота на этих лесных гигантов обеспечивала древнего жителя здешних мест всем необходимым для его нелёгкой и в то же время несложной кочевой жизни. Шкурой — для покрытия чума, для обуви, для ремней; жилами — для ниток, для изготовления прочной и сильной тетивы лука; костью и рогом — для изготовления множества самых разнообразных орудий, начиная от деталей собачьей упряжки, различных проколок, шильев, кинжалов, долот, наконечников, мотыг, лопат, пешней, до гарпунов и наконечников стрел, не считая рыболовных крючков и многочисленных украшений. И конечно же, охота на лося давала основной объём высококалорийной мясной пищи.

От количества лосей на традиционных охотничьих территориях часто зависела судьба рода или семьи. Вот почему везде, где сохранились памятники искусства той поры — на скалистых берегах Лены и Ангары в Сибири, на каменных лбах беломорской Карелии и на скалистых мысах восточного побережья Онежского озера, в торфяниках Урала, Прибалтики, нашей средней полосы, в загадочных погребениях знаменитого Оленеостровского могильника неподалёку от Петрозаводска, в Финляндии и в Швеции, — везде мы находим изображения лосей,

священных животных древности, солнечных божеств первобытности.

Дающий пищу, спасающий от голодной смерти становился богом.

А вот кости бобра: темно-коричневые от времени и от воды челюсти, характерные своей сверкающей, чуть пожелтевшей эмалью резцы, из которых в древности делали не только украшения, но и маленькие долотца. В те времена бобров здесь должно было быть много, охотились на них не только из-за вкусного мяса, но из-за шкур и этих вот резцов, почему кости бобра своим количеством на иной стоянке могут поспорить с останками лосей.

Я разбираю вынутые из песка кости и раскладываю их на бумаге: клык медведя, кости кабана, подвески из клыков лисицы… От рыб, как правило, сохраняются только позвонки. Но, может быть, специалисты-ихтиологи по ним смогут определить виды рыб и их возраст? И тут оказывается, что два резца, которые я было принял за резцы лося, на самом деле, похоже, коровьи! Мало того, они ещё служили подвесками в ожерелье: на конце корня каждого зуба видна узкая бороздка для петли. А ведь ничего подобного в раннем железном веке, когда человек разводил домашний скот, не было. Такие нарезки у подвесок делали только в неолите.

Каким же образом у неолитических рыбаков и охотников оказалась в хозяйстве корова?

В кучке костей лежат несколько обломков наконечников гарпунов с мелкими зубцами — не тех гарпунов, что бросают в добычу рукой, а наконечники стрел для охоты на рыбу. Их сразу можно отличить от других, таких же вытянутых, но без зубцов, похожих на длинные вязальные спицы или огромные иглы, служивших наконечниками стрел для охоты на водоплавающую дичь. В них всё рассчитано так, чтобы стрела могла легко проскользнуть в просвет между стеблями тростника, не задела сухой лист, ветку, скользнула над полузатонувшим деревом или корягой. Наоборот, наконечники стрел на боровую дичь, на мелких зверьков, живущих в лесу, вроде белки, горностая, куницы, не острые, а тупые, с большой костяной головкой, рассчитанной на сильный удар, чтобы стрела не вонзилась в дерево, не застряла среди веток, а упала бы на землю, оглушив дичь и не испортив шкурку…

Среди обломков крупных костяных орудий, вероятно, служивших для выдалбливания лунок по молодому льду, а может быть, служивших мотыгами или другими подобными землекопными орудиями, оказался обломок настоящего большого

гарпуна с редкими крупными зубьями, далеко отстоящими один от другого. Целый этот гарпун был пригоден разве что для охоты на крупных щук по весне да на такого громадного окуня, что недавно заколол Виктор Новожилов на озере.

Заразившись вашим азартом, Константин с увлечением расчищал находки кистью, заворачивал их в бумагу и складывал в белые полотняные мешочки. Гарпун его особенно поразил. Он осторожно поворачивал его на ладони, сдувал песчинки с темно-жёлтой шлифованной кости, покрытой бороздками трещин, и приговаривал:

— Ишь ты, сделали как… Тоже острогой рыбу били. Да какую рыбу! Теперь такую и не видать — куда как измельчала…

Но всему приходит конец. Кончились находки, снова пошёл серовато-белый крупный озёрный песок, в который лопата вгрызалась с мягким влажным шорохом.

Всё. Мы с трудом разогнулись. Ломило спины. Надо было собираться домой.

Между деревьями пролетел дятел, уселся на стволе, посмотрел, как бы примериваясь, сначала одним, потом другим глазом, раза два стукнул для разгона клювом и, пристроившись половчее, выдал первую дробь…

Мы снова прошли по старой дороге мимо закатных стволов сосен, сквозь узкую прорезь в кустах, потом по луговине к реке, от которой уже тянуло прохладной сыростью. Наши лодки стояли рядом, и от долгого ожидания обе набрали воды.

Выплёскивая воду веслом, я спросил:

— Костя, вы не знаете, случаем, как называется это место? Вот эта луговинка, кусок леса… Есть ли какое-нибудь местное название?

Присев на корточки, Константин вычерпывал воду из лодки старой консервной банкой. Услышав мой вопрос, он приостановился, подумал, потом мотнул головой:

— Не знаю, вроде бы никак не зовётся…

Стоянка была открыта. Теперь ей следовало дать имя. Это право и обязанность археолога, — назвать памятник, назвать место. Я мог бы окрестить её Вёксой-5, потому что уже четыре стоянки, кроме Польца, на Вёксе были мной открыты; мог назвать её Плещеево-10, потому что по этому берегу Плещеева озера известны были уже девять стоянок. Но мне не хотелось этого делать. Подобные названия ничего душе не говорят. Правда, наука ничего не знает о душе, хотя без души и науки быть не может. Но здесь-то как поступить? Требуется обычно, чтобы в названии отразилось имя или ближайшего населённого пункта, как точного и постоянного ориентира, или старое местное

название данного урочища. Я был сторонником именно последнего: это было истинное Имя.

Медленно скользя по течению, мимо нас плыл в лодке старик. На его пегую от седины голову был надет порядком затёртый картуз, мокрые латаные брюки подвёрнуты до колен, и из них высовывались белые, не тронутые загаром, словно из кости точенные худые ноги. Размеренно, двумя руками, он выносил весло вперёд, вонзал его вертикально в воду, налегал на него в гребке и незаметно подруливал.

Константин взглянул на старика и выпрямился:

— Дядя Иван, как это место называется?

Тот придержал веслом лодку и повернулся к нам:

— Теремки звали. А тебе на что?

— Да так вот, интересуются.

— А-а… Для науки, стало быть…

И старик поплыл дальше.

Итак, теперь стоянка будет называться «Теремки». Из полевого дневника, куда я записывал сегодня свои наблюдения, вместе с сухими лаконичными сведениями это название перекочует сначала на страницы отчёта об экспедиции, а затем и в научные статьи: «За время работы экспедицией была вновь найдена и обследована стоянка Теремки, открытая в 1924 году В. И. Смирновым. Стоянка находится на небольшом всхолмлении левого берега реки Вёкса… покрыта сосновым лесом… находки…» Ну и так далее.

Я посмотрел на Константина, который кончил вычерпывать воду и отвязывал свою лодку, на Сергея, который, присев на корточки перед цветком, нацелил объектив фотоаппарата на шмеля; взглянул на звенящий в предвечернем птичьем гомоне лес, на почерневший, проседающий в болото дом Бабанихи, которая загоняла сейчас свою корову в хлев, на белеющий на холмах за озером Никитский монастырь…

И вдруг мне показалось до боли обидным, что всё это великолепие мира, все наши чувства и переживания, радость поиска и открытий, всё то, что делает нашу жизнь осязаемой и полной, так что и на секунду усомниться не можешь в реальности своего бессмертия, — всё это должно скрыться, стушеваться за скупыми и холодными фразами полевой документации, безжизненными, как цифра, как некий условный символ, — не больше. Останутся скребки, черепки, наконечники стрел, кости невесть когда и кем убитых и съеденных животных, чертежи, фотографии, но не этот лес, не голоса птиц, не уходящий к закату день, не люди — древние и современные мне, — которые и сделали это мгновение таким прекрасным и неповторимым…

* * *

Цирусы

Размётанные, чуть прозрачны,
Они колышутся слегка…
Из созданного что удачней,
Чем перистые облака?

Для них название иное
Всегда хотелось мне найти,
А это — слишком уж земное,
Как остановка на пути,

Как бы признание в бессилье,
В победе косной бытия…
А над тобой простёрты крылья
Несущегося корабля!

27

Редко удаётся взглянуть на собственную работу со стороны, взглядом отчуждённым, несколько недоумевающим… Да ещё на такую работу, как наша. И не только потому, что времени нет, время можно было бы и найти.

Трудно, потому что это как бы твоя же собственная плоть, продолжение тебя самого, распространившегося и на идеально зачищенные плоскости раскопов, на которых строгими рядами выстроились колышки, и на стенки, где проступают разноцветные слои песка, серые и чёрные линзы древних кострищ и очагов, и на отвалы, громоздящиеся вокруг раскопа. Всё это в конечном счёте тот зримый результат твоих мыслей, надежд, стремлений, точных расчётов, которые возникали, менялись, остывали, кристаллизовались в предшествующие годы, месяцы и дни. Сам ты даже не думаешь уже о них: они живут в тебе своей жизнью, невидимо распоряжаясь тобой, и потому, вдруг как бы очнувшись, с некоторой растерянностью смотришь на случайных зрителей, собравшихся возле раскопа и обсуждающих — что бы это могло быть и зачем всё это нужно? Очередная «блажь» учёных? Кладоискательство под маркой науки?

Вот хотя бы эти все черепки, кучи которых растут на листах бумаги, а на плане образуют уже явственные скопления… Стоило только снять двадцатисантиметровое «одеяло» наносного песка, как мы очутились на той «дневной поверхности», по которой человек ходил пять тысячелетий назад.

Так всё здесь и осталось после него: разбитая посуда, инструменты…

Неужели и наши свалки, наши мусорные кучи археологи будущего через несколько тысяч лет станут рассматривать с таким же неподдельным интересом? Будем ли мы столь же интересны для своих, очень отдалённых потомков, как для нас — вот эти, столь же отдалённые предки? Что-то не верится…

Нам своих предков упрекнуть не в чем. Они оставили нам в наследство чистые реки и озера, обширные леса, среди которых на самых плодородных землях были расчищены и возделаны поля, способные прокормить всё будущее человечество, неисчерпаемо богатый, казалось нам, океан, чистую атмосферу, не заражённую радиацией, множество одомашненных, приручённых и диких зверей, чтобы человек не чувствовал себя одиноким на этой прекрасной и обильной дарами земле…

А что оставим им мы? Ржавчину консервных банок? Загнившие водоёмы? Уничтоженный плодородный слой? И

страстную тягу к исчезнувшей, первозданной биосфере?

Нет, друзья мои, смотрящие со стороны на причуды археологов, наша работа не блажь и не кладоискательство. Здесь вот, на грани двух бездн времени, спускаемся мы на землю прошлого, чтобы хоть в какой-то мере понять землю будущего. И эти обломки древних горшков, покрытые в шахматном порядке глубокими коническими ямками, расположенными плотно, как ячейки сотов, в свою очередь разделённые на пояса или зоны то прямыми, то косыми оттисками зубчатого штампа, служат для нас ориентирами в головоломных странствиях.

Мы спорим друг с другом, как и для чего наносили эти ямки. Служили ли они лишь украшениями для этих вот широких, полуяйцевидных горшков с толстыми стенками, как бы «свитыми» из широких глиняных лент, или же в основе такого рода украшений лежит определённый технологический приём, с помощью которого стенки сосудов становились более прочными и плотными, а сам сосуд мог быть лучше обожжён? Лепили ли древние гончары эти сосуды прямо на земле или для их выделки использовали специальные формы? Отражают ли подобные узоры из ямок какие-либо родовые или племенные отличия древних жителей этого края, или же рисунок имел какое-нибудь магическое значение? А может быть, узоры на посуде указывали на её употребление в быту: этот горшок предназначался для варки, скажем, мяса, тот — для рыбных блюд, третий — для ягод…

Всё это достаточно вероятно, интересно и важно для исследователя, но цель нашей работы — не эти детали.

Цель лежит дальше и глубже, и не мальчишеское любопытство — как жили древние люди? — уравнивает «дневную поверхность» прошлого с нашей собственной «дневной поверхностью». В шахматной партии важны не квадраты клеток, а расположение фигур, не сами фигуры, а их соотношение.

Можно сказать, что на шахматной доске раскопа мы находим сброшенные фигуры, по которым пытаемся восстановить соотношение оставшихся, каждый раз наталкиваясь на новую комбинацию, открывающую нам всё новые и новые возможности взаимоотношений двух главных партнёров в единственно важной игре жизни — Человека и Природы. И, поверьте, это достаточно странная партия, в которой вопреки всем правилам поражение оказывается победой, а выигрыш — поражением.

Сейчас человек пытается сделать слишком рискованный ход, от которого Природе не поздоровится. И вот мы, археологи, склонившись над шахматными досками раскопов, перебирая черепки, классифицируя их, тратя нервы и силы, порой в пустых

спорах о назначении того или иного орудия, о заимствовании форм предметов и покрывающего их орнамента, пытаемся разгадать положение фигур в минувшие эпохи, чтобы по трассам их перемещений в прошлом предугадать их положение в ближайшем будущем.

Для того чтобы это стало реальностью, надо объявлять конец перерыва и вернуться к тем самым черепкам с ямочно-гребенчатым орнаментом, по которым и весь наш лесной неолит получил название «ямочно-гребенчатого».

Ну а когда спускаешься в раскоп — тут уже не до высоких материй. Здесь нужен острый глаз, точные пальцы и та неизбежная интуиция, без которой не найти тропинку в прошлое. Она вся «вымощена» осколками кремня, летевшими из-под рук «каменных дел мастеров», скребками, то ли терявшимися, то ли выбрасывавшимися в гораздо большем количестве, чем даже современные лезвия безопасной бритвы, сломанными наконечниками стрел и копий, разбитыми сосудами, которые надо попытаться склеить из обломков, и многим другим, что стороннему глазу кажется всего лишь «чудачеством» науки, не имеющим никакой цены ни в нашем настоящем, ни в чьём-то будущем…

28

Польцо теперь не узнать. На всём пространстве от будки стрелочника до реки, где до вчерашнего дня торчали только сиротливые колышки, обозначавшие квадраты будущих раскопов, теперь копошится с лопатами ребятня.

Вчера пришёл основной отряд землекопов, сорок человек. Вместе с прежними их будет полсотни — шумных, крикливых, неугомонных мальчишек и девчонок, чья энергия совершенно неистощима, и, вместо того чтобы отдохнуть в перерыве от работы, они, как привыкли в школе на переменах между уроками, с визгом и хохотом гоняются друг за другом по зелёной луговине Польца, борются, прыгают с насыпи на мягкие отвалы песка. Мелькают цветные косынки, блузки, рубашки, руки и плечи, уже облитые первым летним загаром. Теперь нужен только глаз да глаз!

Чтобы как-то облегчить себе и своим помощникам работу, я наделил каждого четырьмя квадратами: площадь достаточно большая, быстро с ней не управиться, а потому они сами будут сдерживать свой пыл в соревновании друг с другом…

Ох уж эти соревнования! Директор школы, который на этот раз сам привёл на раскоп армию школьников, эскортируемую двумя учителями, конечно же, счёл необходимым обратиться ко всем им с пространной речью, выдержанной в самых лучших педагогических традициях.

В этой речи был призыв ко всем вместе и к каждому в отдельности «взять повышенные обязательства, чтобы досрочно выполнить эту важную работу, доверенную их родной школе Академией наук», работу, которая, по его словам, должна была «далеко двинуть нашу отечественную науку на новые… — тут он немного запнулся, но быстро нашёл нужное слово, — новые и более важные рубежи». С артистическим макиавеллизмом он вложил в сердца и головы внимающих ему ребят ту мысль, что «трудовой энтузиазм» и «сокращение сроков сдачи объекта» принесёт пользу не только далёкой Академии наук, но близкой и родной для них Купанской школе, которую надо как можно скорее ремонтировать, а также — тут он сделал многозначительную паузу и скопированным когда-то с высокого образца жестом поднял указательный палец — приблизить их собственную долгожданную летнюю свободу…

Потом слово было предоставлено Василию Николаевичу, который, как на грех, оказался в поле зрения директора, высаживаясь из одного мотовоза и не успев скрыться в другом.

Главный инженер, которого все ребята и так знали, подтвердил: да, действительно, работа их ответственная и важная, потому что они не только двигают вперёд таким образом науку, но (он хитро посмотрел на меня) и помогают строительству. Все они знают, что здесь, на этом древнем месте, строится современная станция, на которой их родители будут формировать составы с торфом. А чтобы станцию построить, чтобы она могла начать работать, надо здесь сначала произвести раскопки, потому что именно на месте этих раскопок, и нигде больше (тут он опять почему-то покосился на меня), должна пройти трасса водопровода от реки до диспетчерской.

И он, Данилов, очень надеется, что ребята не подведут и водопровод здесь будет проложен в срок.

Школьники закричали «ура!», мой приятель помахал им своей инженерской фуражкой и укатил в сторону Кубринска.

Вот тут и пришлось мне вмешаться, чтобы с самого начала охладить пыл и поставить всё на свои места.

По-видимому, моё выступление несколько разочаровало директора, когда он услышал, что, наоборот, никакого сокращения сроков не нужно, и вообще сроков как таковых в нашей науке быть не может, что соревнование — дело хорошее, только соревноваться надо не на скорость, а на внимательность в работе, на добросовестность, чтобы ни один кремнёвый отщеп, ни один черепок не попали с землёй в отвалы. Однако, как опытный педагог, директор и здесь нашёлся, сказав, что так оно всё и должно быть, именно об этом он и говорил, и очень рад, что все его мысли были подтверждены их, ребят, теперешним руководителем, представителем столичной науки…

Теперь «представитель столичной науки» пытается направить в нужное русло возбуждённый речами энтузиазм этих славных, симпатичных ребят…

29

Наконец-то! Вместо неясных, расплывчатых пятен, вместо беспорядочного разброса черепков перед нами на раскопе вырисовывается теперь чёткая, достаточно определённая картина остатков древнего поселения. Вернее, одного из многих поселений, существовавших на этом месте.

Лопатами отброшены последние кубометры песка, засыпавшего стоянку, счищен даже верхний слой «дневной поверхности», на которой мог отложиться более поздний мусор, и мираж, который ещё несколько дней назад возникал в моём воображении, сейчас получил для своего воплощения достаточно прочный фундамент.

Сначала — очаги. Они первыми проступают на светло-жёлтом фоне песка: серые, постепенно темнеющие круглые пятна с чёрными крапинками угольков и серой золой. С южной и юго-восточной стороны их охватывают белые серпы — совсем как луна на ущербе. Эту странную закономерность я заметил ещё в первый год, когда начал копать Польцо.

Теперь, когда жара стоит уже целую неделю, а песок сух и пылен, рассыпаясь прямо перед лопатой, очажные пятна приходится ловить рано утром, когда грунт ещё смочен ночной росой. Но чаще пятна приходится находить по плотности самого песка. Поднимающийся к полудню ветер выдувает пылинки вокруг кострищ, и заполнение очажных ям, цементированное золой, угольками и солями железа, приподнимается над поверхностью раскопа овальными, немного скособоченными вздутиями с белеющим по краю полумесяцем, как луна на ущербе.

Только при чём здесь эти странные белые серпы? Как бывает часто, разгадка пришла не сразу. Ещё три года назад я убедился, что белые они от частиц золы и пепла. Но только теперь, проследив за работой ветра и разрезав пополам один такой полумесяц, я понял, что передо мной древняя «роза ветров». Да-да, именно роза ветров, указывающая на господствующее направление ветров пятитысячелетней давности.

Ну как тут снова не вспомнить о «сложности» человека и «простоте» природы?

Множество метеорологов на земном шаре каждый день, и не один раз в день, отмечают направление ветра. Потом эти данные за месяц, за год они складывают и наносят на планшет, где обозначен круг с градусной сеткой и указаны страны света. В итоге получается сдвинутый в одну сторону многоугольник (если

отмечают направление всех ветров) или ломаный полумесяц (если выделяют на планшете только господствующие ветра). Здесь такие расчёты проделывал сам ветер, выдувая золу и пепел из костра. Рассеивая вокруг очажной ямы, он откладывал их больше всего в том направлении, куда обычно дул.

Я не поленился сходить в контору торфопредприятия. Там на плане посёлка была вычерчена современная роза ветров Переславского района. И когда сравнил древнюю с современной, оказалось, что направление воздушных потоков с тех пор практически не изменилось.

Но всё же мысли мои заняты другим. Не ветрами, которые проносились над древними кострами прежних обитателей Польца, а тем, как от этих очагов шагнуть к их хозяевам. Есть ли в их расположении какая-либо закономерность, позволяющая вести дальше поиск, или же перед нами скопление случайностей, приводящее в никуда? Вот тут и приходится собирать воедино все наблюдения, учитывать каждый кусок кремня, каждый черепок, занимающий своё место на шахматной сетке раскопа.

Поразмыслив над планом, я выбираю очаг на квадрате 30/Н. Он достаточно крупен, чёток, хорошо сохранился, и рядом с ним было найдено много интересных вещей: два кремнёвых долота, несколько скребков, обломок какого-то полированного орудия, похожего на рабочий топор, несколько ядрищ, от которых отделяли ножевидные пластинки, и даже сами эти пластинки, подправленные мелкой ретушью.

Принадлежали ли эти вещи людям, которые разводили огонь именно в этом очаге? Вероятность этого достаточно велика, но посмотрим, что здесь есть ещё.

Рядом с тёмным пятном очага расчищена куча черепков. Тут же, разбитый трещинами и прикрытый сверху войлоком из корней травы, которые переплелись, перепутались, но не смогли пробиться вниз, лежит большой кусок стенки того же горшка, покрытого узором из ямок и отпечатков зубчатого штампа. И обломок стенки, и груда черепков принадлежали одному сосуду — об этом свидетельствовал орнамент и донце, лежавшее под черепками. Правда, в этой же куче попалось почему-то несколько черепков от другого сосуда, но мало ли что могло произойти за несколько тысяч лет! Главное, рядом с сосудом и очагом была найдена плита желтоватого песчаника. Поверхность её оказалась вогнутой, и на этой поверхности видны были следы многократного трения, расположенные концентрическими кругами.

Что это — шлифовальный камень для заточки топоров, долот, шлифовки костяных орудий? Нет, вероятнее всего, это была

зернотёрка, с помощью которой перемалывали, перетирали семена, мелкие орешки, зёрна и корешки съедобных растений — перетирали методично, круговыми движениями, как ещё на моей памяти под Москвой во время войны, а в северных деревнях кое-где и сейчас на домашних ручных мельницах перемалывают зерно на муку. Если бы камень использовали в древности как шлифовальную плиту, следы стирания песчаника были бы не круговыми, а прямолинейными.

В каждой из этих находок, взятых в отдельности, не было ничего необыкновенного. Всё это найдено было не сразу, открываясь постепенно в течение трёх последних дней, но теперь, когда я свожу их всё воедино, они как бы преображаются.

Очерчивая площадь раскопа, на которой эти предметы найдены, я оказываюсь в жилище древнего переславца, разрушенном или покинутом тысячелетия назад. Вот оно: в очажной яме горит костёр, рядом вкопан в песок большой глиняный котёл, в котором варят еду так же, как до сих пор на Псковщине, по деревням Калининской области, в лесной глухомани Вологодчины и на Северной Двине варят пиво, опуская специальными деревянными лопаточками в котёл с суслом раскалённые на огне камни… Тут же рядом зернотёрка, а скребки, обломки долот и прочих каменных инструментов отмечают места постоянных обитателей этого жилища.

Ну, постоянных — не совсем точно. Я не вижу здесь следов от столбов, пол самого жилища не углублён в грунт, а древняя роза ветров могла возникнуть только при одном условии: если очаг внезапно оказывался под открытым небом, и налетевший ветер выдувал пепел и золу, ещё не прибитые дождями… Поэтому скорее всего здесь стоял вигвам, типи, чум или подобие палатки-куваксы, которой ещё в начале нашего века пользовались саамы во время летнего кочевья.

Вот и сделан первый, самый главный шаг — шаг в прошлое. Следы человека всегда приводят к его жилищу, к тому пространству, которое человек перестраивает, преобразовывает для своего быта. Он вычленяет это пространство из окружающей природы, кладёт на него неизгладимую печать своих потребностей, занятий, вкусов, как бы развёрнутую проекцию своей внутренней жизни, и, внимательно осматриваясь, стараясь ничего не упустить, восстанавливая былую взаимосвязь между оставленными человеком вещами, мы постепенно начинаем проникать в давно минувшее и всё же реально существующее время.

Ступив на «дневную поверхность» древнего берега Вёксы, мы увидели только верхний его — времени — «срез», и теперь по

мере снятия лопатами тонких слоёв песка мы идём навстречу его течению, к истокам событий. Ведь и этот временной «срез» жилища — всего только финал, плоскостная двухмерная картинка.

А что было перед этим?

Оказывается, много всего. Иногда я начинаю сомневаться, существует ли на самом деле случайность? Или это наше незнание и слепота защищаются сами от себя таким всеобъемлюще равнодушным словом?

Случайными казались в развале сосуда чужеродные черепки. Но, оказывается, донце этого второго сосуда лежит под донцем первого, предшествуя ему в жилище. А под его остатками, в свою очередь, мы находим черепки и донце третьего, самого раннего сосуда, который был поставлен человеком в эту яму, выкопанную им возле очага. Так происходит не только с сосудами. Под плитой зернотёрки тоже оказалась ещё одна подобная же плита, только гораздо больше сработанная и разбитая пополам. Её не выбросили, она послужила фундаментом для последующей, потому что обитатели этого жилища умели беречь и ценить всё то, во что был вложен труд человека.

Теперь можно взглянуть на находки уже под иным углом зрения. Они обрели протяжённость во времени, обрели перспективу, и я вижу, что первоначальная догадка была правильной.

Да, рядом с сосудами и очагом стояла именно зернотёрка, а не шлифовальная плита, иначе зачем было заменять разбитую плиту песчаника целой? К тому же для шлифовки в то время, как правило, употребляли розовый песчаник, более плотный, мелкозернистый, тогда как для растирания семян и зёрен требуется крупнозернистая фактура камня, вроде того, что идёт на мельничные жернова. И жилище должно было быть временным, съёмным. Человек, которому полюбилось когда-то это место на берегу Вёксы, возвращался сюда со своей семьёй — а может быть, родом? — в течение трёх летних сезонов, каждый раз заменяя разбитый за зиму глиняный котёл новым и водружая над старым очагом лёгкий каркас из шестов, покрываемый шкурами или слоями берёсты.

Вот вкратце то, что можно назвать «историей одного очага».

Жаль, конечно, что в сухом песке дюны не сохранились ни кость, ни дерево. Органические остатки исчезают бесследно, и потому нам трудно сказать, на кого именно охотился во время своих посещений этот человек, какую рыбу ловил и какие при этом употреблял орудия. Но всё же кое-что из этого можно будет предположить достаточно точно. В первую очередь потому, что

при помощи палеографов мы сможем детально представить окружавшую тогда человека природу — состав и вид леса, растений, а стало быть, и населявших его птиц и животных. Под черепками от горшков, под плитами зернотёрок в неприкосновенности сохранилась пыльца именно тех деревьев, кустарников и трав, которые цвели во время этих летних сезонов, поскольку они не перемешались с более ранними и более поздними пыльцевыми зёрнами. Ну а что касается точно времени, когда всё это было…

Лишь только на раскопе начали открываться очажные ямы, была объявлена «охота» за угольками.

Возраст предмета, найденного в раскопах, время отложения того или иного слоя — больной вопрос для каждого археолога. Чтобы определить возраст возможно точнее, придумано много способов, подчас виртуозных и хитроумных, но собственно археологический метод, как его ни разнообразить, сводится к построению различного рода «цепочек» из предметов, восходящих к классической древности, как-то Рим, Греция, или к древнейшим восточным цивилизациям, в которых уже появилась письменность.

Вот, например, в Трое, воспетой Гомером и найденной Г. Шлиманом, или в Уре при раскопках найден бронзовый топор достаточно характерной формы. Время его создания может быть установлено по одновремённым ему письменным документам, содержащим дату, — папирусам дипломатической почты древнеегипетского двора или по обожжённым глиняным табличкам с клинописными текстами. Но такой же точно топор, или очень близкий ему, оказывается, найден на Кавказе при раскопках погребения или, допустим, в культурном слое древнего поселения. Ясно, что в таком случае вещи, вместе с которыми топор был найден — украшения, сосуды, орудия труда, оружие, — одновремённы ему и автоматически получают ту же дату. Теперь они сами уже оказываются датирующими предметами, действующими наподобие лакмусовой бумажки, и когда сходные с ними вещи — скажем, костяная булавка, подобная той, что была найдена в погребении с топором на Кавказе, или кинжал — археологи обнаруживают ещё дальше на севере, под курганом на Средней Волге, в каменной гробнице в Прикарпатье, новый комплекс предметов определяется возрастом булавки или кинжала, а стало быть, и переднеазиатского топора.

Подобные цепочки могут быть и короткими и длинными. Они ветвятся, пересекаются, уточняя друг друга во времени, порождают новые ответвления и в конце концов могут приводить к достаточно серьёзным ошибкам из-за схожести разновремённых

вещей.

Теперь на помощь археологии пришли естественные науки, в первую очередь геохимия, создавшая радиоуглеродный анализ, для которого требуется органический материал — дерево, материя, кость, даже простой древесный уголь, сохраняющийся тысячелетиями в древних очагах.

Как ни странно, именно археология связала настоящее с прошлым, эпоху первобытности — с последним словом науки о материи, человека — с космосом. И огонь, зажжённый Прометеем, одетым в звериную шкуру, сохранил до наших дней память о пылающем костре мироздания…

Образ? Да, конечно. Но в каждом таком образе есть реальная основа. Как всё сложное, радиоуглеродный метод определения возраста прост в своей идее, но возникнуть он смог лишь тогда, когда догадка о связи всего живого на Земле — её биосферы — с космосом стала аксиомой.

Растения поглощают из атмосферы углерод. Они очищают воздух, насыщая его кислородом, а углерод переводят в связанное состояние. Но атомы углерода неодинаковы, они предстают в виде различных изотопов, ведущих себя по-разному, в том числе и радиоактивных. Один из радиоактивных изотопов углерода — углерод с атомным весом 14 — образуется в верхних слоях атмосферы под воздействием космических лучей. Поглощая из атмосферы углерод, накапливая его, растения поглощают и этот радиоактивный изотоп, который существует в строго определённой пропорции с остальными. Накопление его возможно лишь во время жизни растения. Как только растение умирает, начинается распад изотопа. Сравнивая количество изотопа С14 в древесном угле, в древесине или в костях животных, куда он тоже попадает, с тем количеством, которое должно было быть в образце в момент смерти организма, можно подсчитать, сколько прошло с тех пор времени. И получить точный возраст этого образца.

Всё оказывается очень просто, но только теоретически. Вот почему, получив от геохимиков дату, каждый раз приходится её проверять и перепроверять с помощью других дат и других методов. И всё-таки это точнее «цепочек» вещей.

Вот почему мы собираем угли, хотя мне представляется, что этот «прикладной» результат радиоуглеродного метода куда как мал по сравнению с результатом другим: осознанием человеком своей связи с мирозданием.

30

От окрестных болот поднимаются испарения, собираются в облачка над лесом. Каждый день мы ждём дождя, но ветер, зарождающийся обычно к одиннадцати часам утра, усиливающийся к полудню, сбивает облака в тучки, которые уносятся от нас на северо-восток.

К вечеру небо снова чисто.

Заканчиваем раскоп. Сейчас, когда мы остановились на глубине восьмидесяти сантиметров от современной поверхности, под нашими ногами белый песок материка — тот слой озёрного песка, на который никогда ещё не ступала нога человека и в который лишь кое-где врезались нижние части самых древних очагов.

Теперь зачищенные стенки раскопа открывают перед нами все свои слои. И пока школьники расчищают остатки кострищ, выбирают угольки, отдельные черепки и кремни, я мысленно как бы прокручиваю киноленту времени, пущенную в обратную сторону — от современности в прошлое. И — назад, из глубины времён к нашим дням. Прошлое человека. Прошлое земли.

Прошлое нас самих, ещё не предугаданных в бездне грядущего, которое успело воплотиться, окостенеть и освободить место для следующего за ним…

На стенке раскопа хорошо видно, что очаги располагаются тремя рядами. Самый верхний слой — дёрн, наша «дневная поверхность», уровень нашей жизни. Под ним лежит чуть розоватый белесый подзол, современная лесная почва. Её немного, десять-пятнадцать сантиметров, а под ней — серовато-зеленоватый песок, который отложился во время жизни человека на этом месте в древности. В нём выкопаны самые поздние, самые близкие к нам по времени очаги, которые открываются почти сразу же под современным подзолом.

Второй ряд очагов чуть ниже, в самом культурном слое, который лежит на прерывистой тёмной полоске, под которой, в свою очередь, видны остатки древнего, первоначального подзола — со следами корней и очагами, начинающимися как раз на уровне древней, погребённой под песками почвы.

Когда человек впервые пришёл на это место, песчаная дюна давно уже заросла лесом — густым, сосновым, с плотным ковром мха. Бор-беломошник. Следы длинных стержневых корней сосны постоянно путают нас при раскопах, так они похожи на первый взгляд на следы столбов или кольев.

Человек срубил лес, расчистил площадку, может быть, даже

обнёс её изгородью. Отныне это было *его* пространство, пространство, отвоёванное им у природы. И тогда же на поверхности дюны были выкопаны первые очажные ямы.

Я не знаю, сколько сезонов возвращались сюда люди, не оставившие нам столь же ярких свидетельств своего постоянства, как последние обитатели этой площадки. Но приходили они сюда достаточно долго, потому что успели разбить дерновый покров и дюна постепенно начала покрываться язвами разрушений. В следующий период, когда люди обосновались здесь сравнительно прочно, появился средний ряд очагов. Теперь уже ветер перевеивал и наметал песок, засыпал им очажные ямы, и, возвращаясь на своё обычное сезонное стойбище, люди не очищали прежние очаги, а вырывали рядом другие, где и разводили огонь.

Наконец был выкопан верхний, относительно поздний ряд очагов, который отделён от современной поверхности лишь тонким слоем подзола, накопившимся за время чуть ли не вдесятеро большее, чем время существования этих трёх поселений…

Ну а люди? Кто они? Не знаю. Люди. Такие же, как мы. О чём-то знавшие больше нас, о чём-то — меньше. Люди. Разве этого мало? Живые люди, искавшие в жизни свою долю счастья, переносившие беды и невзгоды, радовавшиеся своим радостям. Утверждавшие свою истину, самих себя на этой земле.

Если верить черепкам, в таких людях, вероятнее всего, текла одна кровь, и объяснялись они если не на одном, то на сходных языках, да и время между нижним и верхним рядом очагов вряд ли было особенно велико. Три поколения? Нет, вероятно, несколько больше, но двести или пятьсот лет — покажут древние угли, которые мы выбираем из очажных ям.

Я смотрю, как Игорь выскребает совком яму очага, сидя на корточках и стараясь не пропустить ни уголька, ни обожжённой косточки, которые нет-нет да иногда окажутся на дне. Он весь внимание и сосредоточенность. Но иногда я замечаю, что совсем так же, как это делает каждый из нас на рыбалке или на сенокосе у костерка и как делал человек тысячелетия назад, он протягивает руки, потирает их и замирает, грея, точно и вправду ещё рдеют в глубине ямы негаснущие угли вечной жизни…

31

Воскресенье, дождь: тёплый, мелкий, серенький. Ещё немного, и я бы сказал — грибной. Нет, не скоро ещё грибам! А день испорчен. И вместо того, чтобы отправиться к озеру с удочкой, отойти от раскопок, ежедневных забот, остаёшься один на один с пакетами находок, которые надо разобрать, просмотреть, вымыть… Остаёшься с планами раскопа, с дневником. И ведь действительно — один. Хозяева с утра отправились в город на рынок. Прасковья Васильевна повезла скопившийся за неделю творог, сметану, свежее и топлёное молоко, а Роман Иванович — дюжины две корзин, которые он каждый вечер плёл из гибкого лозняка.

Вместе с ними уехал Саша. На этот раз уже окончательно: не выдержал, поспешил в свою экспедицию…

Немного странно остаться вдруг наедине со своими мыслями и черепками в совсем пустом доме, который потрескивает, вздыхает, словно бы вызванивает, отзываясь на капли дождя. Шуршат, стряхивая капли, молодые глянцевые листья за окном, отзывается плеском и шорохом река, и чувствуешь себя заворожённым этой густой, наполненной множеством звуков тишиной дня, когда ничто тебя не тревожит и не торопит. И мысли текут не единым руслом, а разными, сменяя друг друга медленно и лениво, но зато уж оглаживая и ощупывая каждый встречный на пути камушек, зализывая каждую выбоину, наполняя её всклень с берегами.

Вот и о Романе тоже…

Не даёт мне покоя Роман. Ну, к примеру: зачем надо было ему ехать сегодня в город с корзинами? Денег нет? Есть деньги. Корзины ждать не могут? Подождут. Подсохнут, ещё легче и лучше станут. Но едет он словно потому, что сделал, завершил какую-ту часть дела и теперь должен увидеть его результат, как бы передав его в руки тех, для кого это дело предназначалось. Фантазия? А может быть, есть всё же в Романе не осознанный самим им червячок, радующийся, ликующий, когда сторонние люди хвалят дело его, Романа, рук? Не его самого, не руки, а именно дело. Сам он при этом уже как бы третье лицо — не мастер, не виновник, всего лишь посредник, довольствующийся тем, что смог навести невидимый, краткосрочный, но такой необходимый мостик, сводящий на краткий миг двух человек — покупателя и продавца, мастера и потребителя.

Давно уже подмывает меня задать Роману вопрос, который никогда не задам: думал ли он когда-нибудь о судьбе сделанных

им и проданных корзин? Вспоминает ли о них? Да нет, конечно! Только подивится пустоте, бездельности вопроса. В самом деле, о чём думать? Сделал, продал, деньги получил, купил на эти деньги вина там, хлеба или что ещё по дому требовалось… А мне почему-то всё чудится, что в вопросе этом, вернее, в ответе на него, кроется какая-то сокровенная тайна человека, которую он не только от посторонних глаз — от самого себя бережёт. Вот открой её — и останется этот человек беспомощным, беззащитным и нагим, отданным во власть тебе и каждому, а прежняя жизнь будет уже невозможна для него.

И с каждым из нас так.

Мысли мои под шорох дождя неспешно бродят по дому, заглядывают под навес автобусного павильона в Переславле, где сейчас, вероятно, томится мой сбежавший помощник в ожидании автобуса на Загорск,[14] не спеша гуляют по рынку, где торгует корзинами Роман, а Прасковья Васильевна нахваливает свой творог и сметану, возвращаются на Вёксу и вдруг, зацепившись, как за придорожный камень, за выскочившее невесть откуда словечко «посредник», связывают его накрепко с двумя черепками, лежащими передо мной на плане раскопа. Игорь нашёл эти черепки вчера на дне одного из самых древних очагов — обломки двух фатьяновских сосудов. Ни выше, ни ниже вокруг ничего похожего на них не было.

Как они сюда попали?

Прошлое открывается нам в формах и соотношениях. Оно беззвучно. Нам неизвестно действительное звучание древних языков, которые лингвисты ухитряются не только изучать, но даже сравнивать с ныне существующими. Мы не знаем действительных названий древних народов, даже когда располагаем именами, данными им их соседями. Впрочем, каждый народ, особенно в древности, для самообозначения обычно употреблял одно и то же слово — «люди», звучавшее на его языке иначе, чем на языке других народов. «Люди» это те, кто говорит со мной на одном языке; все остальные — «не люди». Для них уже требуется какое-то специальное обозначение — по наиболее характерному ли признаку, по передразниванию ли их языка, по насмешливой или презрительной кличке или, наконец, по признаку географическому, указывающему на место их обитания. И что в действительности означает донесённое до историка древним текстом название какого-либо народа, как правило, неизвестно.

Археологи, занимающиеся не столько историей людей, сколько отражением этой истории в остатках человеческой деятельности, объединяемых понятием «археологическая

культура», нашли самый простой выход из этого положения: называть комплексы культур по месту первоначального их открытия, а название это потом переносить на людей, изготовивших некогда сами вещи. «Фатьяновцы» были окрещены по могильнику, найденному и раскопанному А. С. Уваровым в 1875 году возле деревни Фатьяново под Ярославлем. То был «золотой век», когда всё, что бы ни открывали археологи, оказывалось новым и неизвестным.

В глубоких ямах, выкопанных на вершине холма, откуда брали гравий для строившейся по соседству железной дороги, лежали скелеты — в каждой яме только один, на спине или на боку, с подогнутыми ногами и сложенными перед лицом руками. Рядом со скелетами стояли круглые, прекрасной выделки глиняные сосуды — тонкостенные, с почти шлифованной поверхностью, украшенные тонким и разнообразным узором. Нанесённый узким зубчатым штампом узор в виде зигзагов, ромбов, поясков покрывал вертикальную шейку сосуда, круглые плечики, спускаясь на тулово фестонами и бахромой. Ничего подобного при раскопках неолитических поселений не находили. А погребения, как можно было судить, относились ещё к каменному веку, потому что рядом со скелетами лежали шлифованные клиновидные топоры из кремня, костяные острия, долота, кочедыки для плетения, кремнёвые пластины, наконечники стрел, но главное — прекрасные каменные топоры из порфирита, диорита и других тяжёлых, или «основных», как говорят геологи, пород камня.

Тщательно отшлифованные, с отверстием, просверлённым точно по длинной оси, с помощью которого их насаживали на деревянные рукоятки, эти «боевые топоры», как их сразу же окрестили, были чрезвычайно похожи на томагавки североамериканских индейцев и, по-видимому, выполняли те же функции.

В дальнейшем такой взгляд укрепился, и когда подобные могильники были обнаружены в наших краях в большом количестве, а родственные культуры с остатками постоянных поселений нашлись на территории всей Средней и Восточной Европы, возникла дожившая до наших дней гипотеза, что фатьяновские могильники оставлены чуть ли не «ударными группами» западных завоевателей, осуществлявших ещё в каменном веке пресловутый «дранг нах остен». Заблуждение довольно забавное, если бы мы не знали, что оно послужило в своё время достаточно серьёзной идеологической базой для такого «дранга» уже в наши дни.

Но в далёкие от нас времена золотого века археологии ещё

никто не думал, что из науки можно делать политику, притом довольно грязную. Больше всего при открытии фатьяновской культуры археологи были поражены тремя факторами: отсутствием каких бы то ни было следов поселений этих людей, оставивших могильники, находкой в одном из первых погребений вместе с каменным медного или бронзового топора и самой находкой каменных топоров такого типа в могилах.

Дело в том, что топоры эти были хорошо известны и раньше. Время от времени их находили при пахоте на полях нашей средней полосы — от костромского Заволжья до Польши и от Тульской губернии до Финляндии и Швеции. Однако наибольшей популярностью у современного населения они пользовались именно в ярославском и костромском Поволжье, где испокон веку чтили камень с дыркой — «курьего бога». С давних, языческих пор жители этих мест верили, что если в углу двора или под застрехой повесить такой камень с дыркой, то и куры будут лучше нестись, не тронут их ни хорь, ни лиса, и скотина схоронится от дурного глаза, от лесного зверя, от порчи, наведённой колдуном. Каким образом? Кто знает… Потому только, что найти в этих местах — не то что на крымском побережье — камень с дыркой довольно трудно?

Рождался естественный недоуменный вопрос: почему же камень этот должен был быть непременно с дыркой?

Разматывая ниточку фактов, вспоминая, что подобными оберегами, фетишами, амулетами, как правило, становятся не простые камни, а произведения мастеров каменного века, постоянно встречая в качестве «истинного» «курьего бога» такие вот фатьяновские топоры, исследователи вспомнили, что у деревенских знахарей и колдунов, и вообще в народной медицине, был постоянный спрос на «громовые стрелы», которыми называли не только неолитические кремнёвые наконечники стрел и копий, но каменные топорики и долота.

Больше того, как ни покажется странным, не только в Поволжье, но во всём мире «громовыми стрелами» и «молнийными камнями» называли не столько наконечники древних стрел, сколько именно каменные топоры!

Удивительная ниточка протянулась до наших дней из самых давних времён. Почему?

Таких «почему» в загадке фатьяновцев было много.

Да, эти люди были здесь пришельцами, ни обликом своим, ни хозяйством и обычаями не похожие на местных охотников и рыболовов. За более чем столетнее изучение «фатьяновской загадки» так и не удалось отыскать их постоянных жилищ — одни только могильники на высоких холмах Ярославской земли.

Бродячие скотоводы? Нет, как раз состав стада — у фатьяновцев были коровы, козы, свиньи, по-видимому, лошади — убеждал, что эти люди не могли быть кочевниками. Первые металлурги наших лесов, получавшие металл из Приуралья, через южнорусские степи с Кавказа, четыре-пять тысяч лет назад в жизни этих мест они занимали особое положение. Используя открытые пространства Ополья, расчищая от кустарника поймы рек, эти люди, не посягавшие на водоёмы и лесную дичь, жили в мире с охотничьими племенами, разбивавшими свои стойбища по берегам озёр. Фатьяновцы оказались посредниками между ними и теми цивилизациями далёкого юга, откуда в тишину лесов, словно отзвук далёкого шторма, докатывались новые веяния, новые идеи, новые навыки хозяйства вместе с семенами культурных растений, домашними животными, металлом, искусством ткачества, строительством домов и повозок и многим, многим другим.

Поступательный ход истории, прогресс, испокон веку основывался не на войнах, а на мирной торговле и обмене, не на сознании собственной исключительности, а на терпимости, сотрудничестве и взаимопонимании.

Когда-то, в преддверии второй мировой войны, когда красно-чёрные знамёна со свастикой развевались над Европой, когда рушились дома, библиотеки, устои культуры и цивилизации, археологи склонны были рассматривать взаимоотношения фатьяновцев и местных жителей — если кочующих охотников с их сезонными стойбищами можно было назвать «местными» — как цепь непрерывных истребительных столкновений. Современность была слишком ярка, трагична, тревожна. Она касалась каждого, и её отпечаток в сознании исследователя невольно становился своего рода «матрицей» восстанавливаемого им течения исторического процесса. И если общий для всех противник утверждал со своих кафедр и со страниц газет, что древние племена культуры «боевых топоров» были первыми завоевателями на востоке Европы, то, естественно, другой стороной исторические возможности таких «завоевателей» должны были быть сокращены до минимума.

Местные охотники и рыболовы, жившие на берегах Плещеева озера, на озере Неро возле современного Ростова Великого, на речках и озёрах костромского Поволжья, просто были обязаны как можно скорее уничтожить этих надменных представителей «нордической расы» с их великолепными топорами, расстрелять их из своих охотничьих луков, вырезать все их стада и восстановить в древних лесах неолитический порядок и тишину!

Сейчас можно с улыбкой вспоминать такое преломление

политики в науке, но в те годы, предшествовавшие окончательной схватке с фашизмом, — не только как с реальной политикой, но и как с мировоззрением, — в те годы было не до смеха. За победу идеи приходилось платить горячей человеческой кровью, и когда победа была одержана, когда можно было снова вернуться к научным изысканиям и рассматривать прошлое без сиюминутных светофильтров, окрашивающих его в зависимости от момента то в розовые, то в чёрные, то в пламенеющие тона, фатьяновцы предстали перед нами в совершенно ином обличье.

И они, и их топоры.

Так оказалось, что фатьяновцы — не кратковременные «гости» залесской земли, как с неизбежностью выходило раньше. Нет, они здесь жили долго, почти тысячелетие, и одновременно с ними жили и изменялись охотничьи племена, населявшие эту территорию и ранее. В таком сосуществовании для обеих сторон была, по-видимому, определённая выгода, а с течением времени, если верить антропологам, произошло и слияние двух разных народов, ассимилировавших друг друга, в результате чего во всей лесной полосе Восточной Европы возникла новая животноводческо-земледельческая культура — с общим индоевропейским строем языка, с общими верованиями, общим взглядом на мир, отголоски которого исследователи по крупицам находят сейчас и в древнеиндийских текстах, и в древнеиранском зороастризме, и в системе религиозных воззрений древних славян и кельтов — древних индоевропейцев. Вот почему я с таким скептицизмом слушаю отголоски научных верований прошлого века, что до прихода славян в наши места здесь обитали только гипотетические «угро-финны»…

Вместе с тем оказалось, что каменные топоры — куда более сложное явление, чем только оружие войны! Но для того чтобы это увидеть, на них следовало взглянуть вполне беспристрастными глазами.

Кого можно было завоевать такими топорами? Наступательный бой требует соответствующего оружия: копий, дротиков, луков со стрелами — всего того, что было в избытке у неолитических охотников, но почти не было у фатьяновцев. Каменный топор удобен для защиты в рукопашной схватке, как палица и булава. Бронзовые топоры фатьяновцев были не боевыми, а рабочими топорами, так же как и шлифованные кремнёвые. И бронзовые «копья» фатьяновцев при внимательном рассмотрении оказались не копьями, а рогатинами, предназначавшимися не для двуногих, а для четвероногих врагов этих животноводов, в первую очередь для защиты стада от «хозяина леса», медведя, чьи клыки украшали фатьяновские

ожерелья и чьи кости были найдены в их могилах.

Изучение хозяйства фатьяновцев и находки бронзовых наконечников рогатин позволили увидеть этих людей в совершенно ином свете. Помогли этому и замечательные сверлёные топоры с головами лосей и медведей, уже явно не боевые, а ритуальные. Как известно, почитание медведя в ярославском Поволжье существовало очень долго, вплоть до средневековья, когда появившиеся здесь славяне восприняли его от исконных обитателей, сохранивших в своей памяти связь между «хозяином леса» и каменным топором.

В конце концов и топор и медведь оказались на гербе города Ярославля, когда сами фатьяновцы были прочно забыты. Но именно в этом символическом слиянии становится понятно появление веры в могущество «курьего бога».

В каменном сверлёном топоре, позднее ставшем просто камнем с дыркой, в сознании крестьянина, живущего среди лесов, таинственным образом оказались слиты и воспоминание о предке, размахивающем этим оружием перед медведем или стаей волков, и амулет-оберег, вобравший в себя мужество предка и страх зверя перед этим предком. Естественно, что эта таинственная сила была направляема им в первую очередь против волков и лис, наносящих вред крестьянскому хозяйству в большей степени, чем медведь. Благодарная память людей оказалась столь прочной, что её не смогли стереть несколько десятков веков!

Впрочем, здесь могло сыграть свою роль ещё одно обстоятельство, объясняющее связь каменного топора с молнией и громом.

Славянский бог молнии и грома Перун, удивительно похожий на скандинавского Тора, как похожи братья-близнецы, тоже был вооружён топором. Каким? У Тора был как раз каменный молот, который он метал в своих врагов. Сама молния, мелькнувшая между туч, была, по представлению древних скандинавов, всего лишь следом Мьёлнира, молота Тора, чьё изображение они охотно носили среди прочих амулетов на шейной гривне. Тор, славянский Перун, литовский Перкунас, восходящий к глубокой кельтской древности, так же как греческий Зевс и римский Юпитер, представляли одного и того же бога, получившего у различных народов, населявших в древности Европу, разные имена.

Когда и как сформировался образ громовержца Тора — мы не знаем. Корни скандинавской, а если говорить точнее, индоевропейской мифологии, от которой отпочковалась мифология славянская, уходят в непроглядную тьму времён, к истокам бронзового века, если не ещё глубже, в неолит.

Возможно, образ Тора в своём окончательном виде сложился на берегах Балтики, в Южной Швеции, где до сих пор археологи находят в большом количестве каменные сверлёные топоры и где на скалах выбиты изображения поклоняющихся солнцу воинов с такими же топорами. Однако вероятнее обратное: будущие скандинавы принесли почитание Солнца с равнин Восточной Европы. На том, что фатьяновцы были «солнцепоклонниками», сходится большинство археологов. А ведь по так и не проверенным мною слухам, в пяти километрах от Польца, на Талицком болоте, где было найдено несколько фатьяновских топоров и даже одно погребение, рабочие наткнулись однажды на небольшую плиту с таким же, как в Швеции, рисунком: три воина с поднятыми топорами идут навстречу встающему солнцу. Плиту эту передали в местную талицкую школу, а потом, по слухам, за явной ненадобностью выбросили в школьную уборную. Но это так, к слову…

Через Тора или Перуна «курий бог» стал ещё одним оберегом — на этот раз от молнии, от Ильи-громовика, в которого превратился прежний солнечный и громовый бог.

И если поразмыслить, то можно увидеть, что народная память при всей её забывчивости куда как цепка. Она сохранила и топор, и солнце, и колёса повозки Тора, превратив их в колёса колесницы Ильи, память о первых колёсах, занесённых в северные леса фатьяновцами; она сохранила коз, которые были в фатьяновском стаде и которых впрягал в свою коляску Тор, даже бычков, которые закалывались когда-то для общих крестьянских трапез на ильин день. Это ли не благодарность прошлому?

…Пока я размышлял над черепками, которые позволили думать, что на берегах Вёксы история фатьяновцев начинается раньше, чем это принято считать, дождь прекратился. Сначала рассеялась хмурь, засинело в разрывах, потом брызнуло из-под облаков солнце и заплясало в капельках, свисающих с мокрых листьев. А вскоре застучали на реке моторы, взрёвывая под окнами на повороте.

Воскресенье! Двадцать четыре часа жизни, собирающиеся в маленький квадратик на картонке карманного календаря, за пределами года сокращающиеся в точку, исчезающую, расплывающуюся в потоке времени, как в реке бесследно расплывается сорвавшаяся с листа капля уже отшелестевшего дождя… Но вот сквозь огромное пространство несущего нас потока, когда годы и десятилетия оказываются столь же неразличимы, как один день, мелькнувший между восходом и закатом солнца, всплывает память о людях, служивших посредниками между людьми, готовивших этот мир для будущего

— землю, леса, но главное — сознание людей.

Да, конечно, не всё проходило гладко. Были стычки, лилась кровь, но постепенно, раз от разу, возникала и укоренялась догадка, что очевидное — ещё не всегда истинное, что каждый предмет имеет не одну сторону, а много сторон, которые открываются в зависимости от угла зрения на предмет.

Как с тем же Романом, которого я отнюдь не пытаюсь идеализировать.

Вот и подвеска из резца коровы, найденная на Теремках, — не след ли фатьяновцев? Наверное, неолитические рыболовы ещё не успели привыкнуть к такому «обыкновенному чуду», как домашнее животное, готовое всегда обеспечить людей молоком, творогом, маслом, а при нужде — и мясом, хотя фатьяновцы, как можно думать, употребляли в пищу лишь мясо коз, свиней и дичи. И такое «чудо» требует только ухода, заботы, корма и защиты от лесного зверя. Ну разве оно не достойно обоготворения?

32

Каждый день скребём лопатой песок, обмахиваем кисточками черепки, отмечаем находки на плане, фотографируем, заворачиваем в пакеты. И всё это размеренно, не торопясь, без напряжения и спешки. Пятьдесят минут работы, десять минут перерыв. Разве что когда отвалы по краям раскопа оказываются особенно высоки, я объявляю аврал, и все мы разом отбрасываем их дальше на два-три метра. И медленно, совсем незаметно для глаза опускается расчищаемая поверхность, открывая пространство земли, на котором разворачивалась жизнь человека и на которое он мог воздействовать доступными ему средствами, претворяя и изменяя его по своему желанию и разумению.

Не так-то уж много мог он оставить после себя: ямка очага с угольками, половина разбитого сосуда, тогда как вторая половина невесть куда исчезла, каменный скребок…

Ну а после меня что останется? Статьи, книги да вот эти отвалы земли? Земля разгладит и затянет шрамы, книги и статьи благодарные потомки снесут в обмен на очередную «макулатуру» — и что? Может быть, это всё действительно детская игра, как она представляется, скажем, тем, кто с утра и до поздней ночи переводит стрелки, сцепляет и расцепляет составы, везёт их, выглядывая из кабины мотовоза, и приветливо помахивает нам рукой, как только что проехавший Павел? Преобразует ли он мир? Если и не прямо, то, во всяком случае, способствует его преобразованию. В лучшую или худшую сторону — судить будут наши потомки. Вот Королёв — тот преобразует. И Данилов тоже.

Последние дни я всё время вижу главного инженера в разъездах. После того как наши с ним расчёты оказались в полном порядке, а раскопки, как колёса тронувшегося паровоза, стали набирать и скорость и размах, встречи наши стали значительно реже: не до разговоров! Каждый день его ладная спортивная фигура в форменной фуражке, из-под которой светятся розовые уши, мелькает то возле диспетчерской на станции, то, уцепившись за поручни, он проносится над нами с очередным составом, отправляющимся в сторону Беклемишева, то, наконец, я замечаю его в дрезине среди отутюженных костюмов, белых треугольников рубашек, подцвеченных галстуками, и соображаю, что приехала очередная инспекция из области или из Москвы.

Вот он оставит после себя много всего — дома, станционные сооружения, мосты, новую купанскую баню, трассы узкоколеек, по которым покатятся не только вагончики с торфом, но и людские

судьбы, и многое другое, о чём будут помнить хотя бы на протяжении одного поколения.

Переделывать, перестраивать окружающий мир, окружающую жизнь так, как считаешь это нужным, как хочешь этого — в малых ли, в больших ли масштабах, — чтобы потом оглянуться на дело рук своих и увидеть, что это — хорошо… Не в этом ли высшее доступное человеку счастье?

— Только при этом необходимы две вещи, — с обычной мальчишеской усмешкой сыронизировал Василий Николаевич, ожидавший подхода мотовоза, чтобы ехать в Кубринск и потому оказавшийся у меня на раскопе, где и начался этот странный разговор. — Первое — иметь такую возможность, а второе — твёрдо знать, что никто не будет с тебя требовать отчёта, согласований и не даст в конце концов по шее… тоже из самых лучших побуждений!

И тут, как часто бывает в таких сумбурных беседах, когда собеседники касаются то одного, то другого, разговор наш невольно перешёл на человека, который именно в этом отношении был, что называется, «баловнем судьбы». В нём фортуна сочетала безграничные — по человеческим меркам — возможности осуществления своих желаний: всеохватывающий реформаторский ум и благородное стремление к переменам не для своего удовольствия или пользы, но на благо страны и народа, которыми владел, от которых требовал такого же сверхвозможного напряжения сил, как от самого себя.

И за всё это получил почтительный титул «Великий», хотя до конца жизни любил писаться «бомбардиром Петром Алексеевым».

Пётр Великий.

Человек — или миф?

В самом деле, человек ли он?

Нет, конечно, Пётр не был «Антихристом», как его считали старообрядцы. Но человек растёт в своей эпохе, формируется в скорлупе привычного для него быта, оставаясь плотью от плоти своего времени. Человек ест, спит, любит, ходит, сражается, говорит, одевается, жестикулирует, пишет, думает, оценивает, поступает так, как требует от него его время. Человек — продукт эпохи, нечто вторичное, а потому тленное и несовершенное. Такие прописные истины мы познаем с детских лет, повторяем их в последующей жизни себе и другим, чтобы не забыть, какое место нам в этой жизни отведено. Вероятно, Пётр — человек, существо биологическое — отвечал этому правилу, подтверждал его. Но наряду с этим Пётр был ещё и личностью, чьи способности и удивительное стечение благоприятных обстоятельств позволили ему, как никому другому в истории, —

пожалуй, во всей мировой истории! — опровергнуть это правило, преобразовав не только землю, города, людей, но и само время, обозначив его своей, Петровской эпохой!

Словно вращающийся многогранник, поворачивающийся перед зрителем то одной, то другой гранью — солнечной, вспыхивающей перед глазами каскадом праздничных фейерверков, мрачной, обрызганной потоками крови в дыму постоянных сражений, удушающей мрачными казематами пыточных камер, отдающейся звонким перестуком плотницких топоров, прорубавших множество «окон в Европу», — этот царь-солдат, царь-матрос, царь-палач, царь-школяр, обязательный участник «машкерадов», влюблённый в любое рукомесло, в возможность покорения пространств, пусть даже ценою тысяч человеческих жизней, в возможность переделывать и перестраивать, казалось бы, навеки окаменевшее и застывшее, будь то законы, военный строй, язык, наряды, мысли людей, с течением веков не только не потерял своего величия и загадочности, но, как это происходит с церковью над Кубрей, по дороге из Загорска в Переславль, по мере отдаления приобретает всё большую привлекательность и монументальность.

Сделал ли он всё, что хотел? Нет, конечно. Он сделал, что мог, а смог он в той или иной степени наложить свой отпечаток на все стороны российской жизни, прикоснуться ко всем её пружинам и винтикам, заменить в конечном счёте весь этот механизм новым, сделанным — худо, бедно ли, — но по своему желанию, смазать его и запустить вперёд на века.

Петра нельзя любить, нельзя ненавидеть. Он как бы вышел из человеческого состояния и перешёл в миф, став иной субстанцией, подлежащей лишь наблюдению и изучению, как некий феномен истории.

Вот и здесь, на берегах Плещеева озера, откуда, по существу, и начался его журавлиный, размашистый шаг, где, несмотря на почти что три столетия, ещё видны его следы, ещё гниют вбитые им в берег сваи, сохнет в музейной духоте растрескавшийся бот «Фортуна» (вот она, удача!) и память местных жителей передаёт изустно слышанные когда-то их предками самодержавные слова по поводу житейских пустяков, его нельзя обойти, забыть, то там, то тут замечая высокую тень, мелькающие длинные руки и скрип ботфортов, от которых несёт свежим дёгтем и ворванью… Как-то никогда не хватало мне времени справиться в старых кунсткамерных бумагах, в дворцовых архивах: а нет ли следа древностей с Плещеева озера? Ведь, судя до всему, Пётр мог знать о том, что на Польце встречаются древние вещи. Вёксу он знал хорошо, ходил по ней в Нерль и на Волгу, а берега её и изгибы

русла должен был осматривать перед тем, как приказал спустить в половодье из Плещеева озера два самых больших судна для начала будущей Каспийской флотилии.

Этот красочный и величественный спуск — суда под всеми флагами, с командой, а по берегам с канатами и баграми множество народа, проводящего, протаскивающего петровские корабли через залитые пойменные мысы, — для переславцев был тоже «окном в Европу». А как же? Их озеро, замкнутое холмами, лесами и болотами, выпускающее лишь тонкую извилистую нитку Вёксы, по которой летом не всегда легко спускаются длинные переславские лодки «на три волны», вдруг оказалось, как в давно забытые времена, началом пути по всей матушке Волге, к Астрахани, а там и в Индию.

Насколько детские мечты о далёких восточных странах тревожили душу этого неуёмного человека, связавшего воедино своё увлечение морем, кораблями, водой с теми юношескими порывами, которые ощутил он впервые именно на Плещеевом озере, где строил свой первый флот, видно хотя бы из того, что и тридцать четыре года спустя, задумав так и не состоявшийся Персидский поход, заехав в Переславль, он первым делом осведомился о судьбе своей потешной флотилии. Император хотел взглянуть на сказку своей юности, которую он осуществил за прошедшие годы не один десяток раз. Но галеры и яхты, полузабытые и никому, кроме него, не нужные, гнили на приколе у городских валов на Трубеже. И тогда впервые, как почти всё, что он делал, на обрывке листа был начертан грозный указ переславскому бургграту — первый указ об охране памятников славного прошлого России: «Надлежит вам беречи остатки кораблей, яхт и галеры; а буде опустите: то взыскано будет на вас и на потомках ваших, яко пренебрегших сей указ. Пётр, в Переславле, в 7 день февраля 1722 года».

Он спускал со стапелей корабли, которые могли нести его — и несли! — в любые концы света; он строил города, приступом брал крепости и перекраивал, менял карту мира; он потрясал и укреплял царства; он любил женщин, и ту, что оказалась для него самой сладкой, родила ему кучу дочерей и сына, сделал императрицей, хотя была она всего лишь солдатской потаскушкой. Это он явил миру шестую часть его суши и всю её назвал Россией.

Нам ли, сметающим кистью песок с черепка, следящим по часам за наступлением десятиминутного перерыва, равнять себя с этим гигантом? И нечего здесь сваливать вину на обстоятельства, на происхождение, эпоху, подвернувшегося Лефорта, Бориса Васильевича Голицына, старика Ромодановского, Сашку

Меншикова, шведского короля и Чигиринских казаков, — не в них дело, дружок! Каждому из нас судьба отмеривает куда больше того, чего он заслуживает. Но если в мерный сосуд войти может только определённая однажды мера жидкости, то в каждом из нас ежеминутно умирают так и не открытые нами самими миры, когда — по лености ли душевной, по страху или непонятливости — проходим мимо алмазных россыпей жизни, чтобы дрожать от жадности над слюдяными блёстками, играющими на дне ручья.

Так — или примерно так — выдал мне сплеча свою точку зрению на Петра и на все эти, как он назвал их, «неврастенические штучки» мой приятель, главный инженер Купанского торфопредприятия, прибавив, что ему вполне хватает его болтов, гаек и подвижного состава, чтобы не ощущать в себе «комплекс», который мучает всяких археологов, думающих не о деле, а о том, как бы ещё с него, Данилова, содрать хотя бы пару сотен рублей на перевеивание песочка. Вот так. А теперь ему надо ехать, потому что мотовоз уже подошёл, у Талиц их прохода ждёт встречный состав, надо спешить…

И я не мог не признать, что в общем-то он опять прав. Ибо главное не то, что мы думаем, чувствуем, понимаем, а то, что делаем. Это и есть тот момент, когда мы вторгаемся в жизнь. А примет ли она нас, оценит или выбросит за борт — скажут идущие за нами.

33

Из Москвы вернулся Вадим и привёз пополнение. Правда, временное.

Толя — машинист на рефрижераторе, широкоплечий, крепко сбитый русоволосый паренёк, весёлый, компанейский, каким обычно бывает спокойный, сильный человек. У него две недели свободного времени, и приехал он к нам, чтобы размяться на лопате, посмотреть то, чего ещё не видел, половить рыбу и понырять в Плещеевом озере.

Каких только людей не заносит попутный ветер романтики в наши экспедиции! Археологов до последнего времени не так уж и много, почти все друг друга в лицо знаем, а вот участники экспедиций… Студенты не в счёт, тем более студенты-историки. Следом за историками тянется длинная вереница представителей всех областей науки и техники. В археологические экспедиции правдами и неправдами, поскольку спрос здесь намного меньше, чем предложение, пытаются попасть врачи, поэты, учителя, архитекторы, инженеры, биологи, художники, моряки, журналисты, математики, радиотехники и многие другие.

Как-то в одной из экспедиций мне показали доктора математических наук, только что вернувшегося после чтения лекций в ряде зарубежных университетов. Профессор был молод, в тренировочном костюме и сандалетах на босу ногу вполне сходил за третьекурсника, под видом которого, тщательно скрывая своё истинное звание и положение, он весело размахивал лопатой на раскопе в течение полутора месяцев…

И самое, на мой взгляд, замечательное в этом подборе — не разнообразие профессий, а, так сказать, «единообразие» людей: в экспедицию тянутся, как правило, хорошие люди.

34

— Правее! Ещё на шаг! Полшага! Чуток левей… Есть. Так держи!..

Вадим, склонившийся к окуляру теодолита, распрямляется:

— Да что с тобой?!

Одной рукой Толя пытается удержать рейку в строго вертикальном положении, а другой время от времени со всей силы хлопает себя по спине: слепни.

— Заели, дьяволы!

— Крепись, отец, крепись! Ну что такое слепни по сравнению с точностью отсчёта… — начинает Вадим снисходительное поучение, но тут же сам шлёпает себя со всего размаху по плечу. — Вот стервец!

Пока школьники снимают дёрн на новом раскопе возле реки, Вадим с Толей занялись съёмкой той части Польца, которая лежит за разъездными путями. Красные, распаренные, они шагают в одних трусах и кедах по недавней гари, в ожесточении замахиваясь на пикирующих слепней то рейкой, то треногой от теодолита. Вдобавок ко всему Вадим изысканно поносит и себя, и уехавшего Сашу, с которым они до того прокладывали здесь ходы: отметки, как всегда, не совпадают!

— Привет труженикам! — улыбаясь металлической улыбкой, семенит по шпалам Пичужкин. — Никак у меня, старика, хотите хлеб отбивать? Ну как успехи-то ваши? Рыбку ловите?

— Когда как, Владимир Александрович, когда как… То щурёнка заблеснишь, то окунька вытянешь… Вот только язи не берут!

— А вы червей не мочите. Вон слепней сколько!

Толя, во время разговора следивший за подкрадывающимися к нему кровопийцами, исхитрился и прикрыл ладонью сразу двоих.

— Есть уже. Это что же — два язя?

— Как повезёт, как повезёт! Постараться, так можно и трёх вытащить сразу. Сейчас самое время на язей переключаться — самая важная рыба в реке теперь…

К полудню на всём пространстве нового раскопа был снят дёрн. Длинная четырёхметровая траншея протянулась вдоль насыпи к реке, захватив колдобины старой, теперь уже заброшенной дороги. И, просматривая первые находки, я вижу, что мы не только сменили место раскопок, спустившись со второй на первую террасу Вёксы, но и шагнули в другую эпоху — из каменного века в ранний железный век. Как всегда, об этом нас

оповестили черепки, лежавшие сразу же под дёрном. Черепки — «визитные карточки» эпох.

На этот раз вместо толстых тяжёлых черепков с глубокими ямками и отпечатками зубчатого штампа здесь были тонкие, плотные обломки горшков, покрытые с внешней стороны как бы мелкой рябью, на первый взгляд напоминающей отпечатки грубой ткани. Из-за них вся такая керамика получила у археологов название «текстильной» или, что произошло гораздо позже, «ложно-текстильной», когда выяснилось, что в большинстве случаев подобную рябь наносили не куском ткани, а тонким штампом с мелкими зубчиками.

Изменился орнамент, изменилась техника выделки посуды, изменилась и форма сосудов. Восстанавливая их облик по отдельным черепкам, можно видеть, что они уже похожи на современные глиняные горшки: есть у них и перехват шейки, и выпуклые плечики, и сужающееся книзу тулово, а главное — есть уже плоское дно, указывающее, что горшки эти ставили не на земляной пол, не на песок, а на пол деревянный, плоский, равно как и на стол, на полки, которые возможны только в деревянном рубленом доме.

Пожалуй, ни одно из великих открытий прошлого не изменило столь радикально жизнь человека, как открытие железа и искусство его обработки. Иногда начинаешь даже думать: полно, да впрямь ли это железо так изменило человека? Может быть, наоборот — изменения, которые произошли с самим человеком и в самом человеке, подтолкнули его к открытию и освоению железа? Ведь само-то железо на первых порах встречается крайне редко. Это был, так сказать, железный век без железа: люди по-прежнему пользовались бронзовыми орудиями, а здесь, в нашей лесной полосе, как прежде, обходились каменными и костяными. И вдруг — полный переворот!

Прежние животноводы и охотники, долго не задерживавшиеся на одном месте, занимавшиеся земледелием от случая к случаю, в качестве сезонного огородничества, не привязанные к своим полям, вдруг разом оседают на земле, строят рубленные из брёвен дома над поверхностью почвы, даже воздвигают укрупнённые посёлки. Именно от той поры остались нам валы городищ по берегам озёр и крупных рек — городищ со сложной системой укреплений, подъездов, подступов.

Что вынудило человека прятаться за стенами, да ещё так внезапно?

Здесь, в междуречье Оки и Волги, в костромском и ярославском Поволжье причиной строительства укреплений могло стать движение с востока, из-за Урала, иноязычных, финно-

угорских племён охотников, осевших позднее на Средней Волге и по нижнему течению Оки до Рязани. К моменту их появления вся эта территория была уже плотно освоена индоевропейскими племенами земледельцев и животноводов, которым было что защищать от вторжения чужеземцев. Но волна укреплений катится и дальше на запад, до Атлантического океана, как будто бы что-то разом сдвинулось в умах людей, и, обретя этот «зловредный», по выражению латинского поэта, металл, они принялись со страстью уничтожать друг друга.

Но то лишь первое, что бросается в глаза. Вглядевшись, можно заметить, как в короткий миг истории, всего за два-три столетия, изменяются не только внешние отношения между людьми с разными языками и верованиями. Нет, присматриваясь к вещам того времени, можно видеть, что происходит как бы всеобщая стандартизация и унификация — быта, предметов, облика жизни, украшений, орудий труда. А вместе с тем и унификация человеческого общества. Теперь уже прежний индивидуум — удачливый охотник, знающий животновод, счастливый земледелец — теряется в коллективе, в обществе ему подобных, которое тоже строится по принципу всеобщей унификации: одного языка, одного диалекта, одной крови, одних убеждений, одних верований…

Личная свобода и независимость приносится в жертву свободе и независимости коллектива целого. Объединялись «во спасение»? Или «общность интересов» оказалась всего лишь уловкой истории, чтобы свести эти общины лоб в лоб, решая счёты уже не личные только, а национальные и расовые?

Что же в конечном счёте произошло в умах обитателей Земли так быстро и так согласно? Или впрямь неожиданно сменилось пси-поле нашей планеты?

Да и нам, археологам, ничего хорошего эти черепки не сулят. Они были бы чрезвычайно интересны, если бы слой их был однороден, чист, а не лежал бы поверх и вперемешку с предшествующими слоями. «Визитная карточка», конечно, в некотором роде может рассматриваться как «документ», но не она определяет лицо и характер своего владельца. Вот и эти черепки — всего лишь своеобразный «сигнал» эпохи. Между тем мы уже знаем, что «текстильная» керамика появилась несколько раньше, чем само железо и последующие за ним, укреплённые городища, зародившись как бы в недрах позднего бронзового века. И опять получается, что «нечто» — своё, особенное, не похожее на предыдущее, — появляется перед исследователем уже в совершенном, готовом виде, возникая как бы «из ничего». И проследить невидимую пуповину таинственного происхождения

не удаётся…

Пока я отсыпался после работы и после обеда, Вадим и Толя занялись новой рыбалкой. Слепней они наловили много, благо те и возле дома нас не забывают, но труды друзей пропали даром. Язи категорически отказывались брать слепней с крючка, как бы тех им ни подносили: и опуская на дно, и поднимая к самой поверхности воды… Страшно было смотреть на волдыри моих помощников, когда они ввалились в дом и растянулись в изнеможении на койках.

— Ну, как язи?

— Хорошо язи живут, сытно, на слепней и глядеть не хотят…

— Пичужкин же говорил…

— Что твой Пичужкин?! Мы уж все ямы обшарили, все приманки перепробовали — не хотят! Одного даже видели: подошёл, постоял, понюхал и домой пошёл… Привет Пичужкину, говорит!

…Солнце укатилось за лес и горизонт, плавило высокие облачка и наливало небо на востоке лиловой зеленью. Тонкими робкими струйками из тростников пополз туман. Река казалась гладкой, обкатанной, и по этой глади плыли то белые точки упавших в воду подёнок, то чёрточки травинок, то расходились круги от играющей на закате уклеи.

Мы сидели на обрыве возле ямы. На тёмной воде, над самой ямой, которая начиналась у наших ног, билась светлая бабочка. Она то замирала, то в отчаянии пыталась снова подняться с воды, но крылья её намокали всё больше, поверхностная плёнка охватывала её всё крепче, и течение, покрутив над ямой, стало сносить бабочку вниз, к траве и перекату.

Внезапно в тёмной глубине ямы будто сверкнуло старое серебро, закрутилась воронка, к берегу пошли круги — и бабочки не стало.

— Он! — подавшись вперёд, приглушённо воскликнул Вадим.

— Слепни есть? Попробуй-ка кинуть, — посоветовал я.

Толя достал из кармана джинсов спичечный коробок. Присмирев, в нём сидели два слепня.

— Только придави, чтобы не улетел.

Размахнувшись, Толя бросил слепня повыше омута. Слепень с тугим шлепком упал в воду, и течение, покружив его над ямой, прибило к берегу.

— А ну ещё раз…

Теперь слепень попал на струю. Он плыл, вяло вздрагивая крыльями, и уже почти прошёл всю яму, когда из глубины снова взметнулось тусклое серебро, слепня закружило водоворотом, и он исчез.

— Тюкалка! Перетяг! — воскликнули мы одновременно.

Времени до темноты оставалось мало. Лески двух спиннингов мы связали вместе. На середине, в полутора метрах один от другого, привязали метровые поводки с крупными крючками, нашли в углах окон ещё трёх забившихся слепней и, нацепив двух из них, бросились на берег.

Перетяг, тюкалка или макалка — в разных местах их называют по-разному — вещь одновременно простая и с выдумкой. С подобной снастью два человека могут облавливать любое место реки, забрасывая наживку в нужное место с точностью почти до сантиметра. Лучше всего, когда один берег реки оказывается выше другого. Один из рыболовов остаётся на одном берегу, второй — перебирается на противоположный берег. Тот, кто стоит выше, подводит наживку к нужному месту, управляя насадками с помощью катушки спиннинга. Его партнёр при этом должен следить, чтобы леска не слишком провисала, и выбирать слабину, подматывая на свою катушку. После этого начинается искусство.

Приманка осторожно касается воды. Серия чуть заметных рывков со стороны стоящего на высоком берегу, так, чтобы имитировать движения бьющегося на поверхности воды насекомого. Шлёп. Шлёп-шлёп… Шлёп-шлёп-шлёп… Насадка вздрагивает, словно хочет взлететь, и снова падает. Язь бросается из глубины молниеносно. Вот тут важно не прозевать. Лёгкий водоворот — и приманка исчезает.

Надо подсекать именно в тот момент, когда на долго секунды натягивается поводок. Если раньше — язь не успеет схватить приманку, чуть позже — уже не успеваешь подсечь: наколовшись на крючок, язь выплюнет насадку.

Всплеск, рывок… Я подсекаю.

— Тяни!

Задремавший было Вадим, которому с низкого противоположного берега не видно, что происходит, лихорадочно начинает крутить катушку спиннинга. Толя бросается в траву, к воде, чтобы подхватить язя, а этот красавец, упираясь и взбивая воду, сверкает и дрожит на натянутой звонкой струне жилки.

— Есть… Большой!

Толя вязнет в иле у берега, откидывается навзничь и через голову бросает к ногам Вадима почти успевшего сорваться нашего первого язя. Выбравшись на твёрдое место и удостоверившись, что язь уже никуда не уйдёт, Толя насаживает на очищенный крючок нового слепня. Теперь уже я вращаю катушку, и над притихшей было рекой опять повисают поводки.

Шлёп… Шлёп-шлёп…

— Никак поймали? — спрашивает остановившаяся позади меня Прасковья Васильевна. — И то дело! Будем теперь рыбу жарить, а то всё макароны да макароны…

(А Николай Петрович Кравченко — «рыбий профессор», как величал его за глаза не только я, но и усольские и переславские рыбаки, потому что о каждой яме, каждой коряге и каждой рыбе, в этих водах обитающей, знал он больше всех нас, вместе взятых, — тюкалку свою совсем хитро устроил.

На рыбалку Николай Петрович, сухой и серьёзный старик в проволочных очках, отправлялся всегда один. С людьми он сходился просто, хотя и не совсем охотно, секретов ни от кого не держал, дарил порой свои изумительные блёсны, но спутников не любил. И если иногда зимой брал с собой на лёд и меня, то скорее из уважения к «науке». И вот, чтобы ловить язей без помощи второго человека, Кравченко придумал хитрый механизм. Он сам рассчитал и выточил шестерёнки, откалил пружину, вывесил груз противовеса и наконец с гордостью продемонстрировал весь агрегат в действии. Машинка надевалась на кол, вбитый в противоположный берег. За специальный крюк цеплялась леска спиннинга, груз противовеса давал натяжение, пружина обеспечивала резкость подсечки, а вытягивал Николай Петрович рыбу на свой берег. Вот и всё. Зато и брал он на вёксинских ямах не два, не пять и не десять язей, а двадцать — тридцать!..)

Немного поодаль у самой воды сидит наша кошка. Она неподвижна, и только изредка пробегающая по спине дрожь выдаёт то волнение, с которым она вглядывается в тёмную воду при всплесках.

— Тяни! Быстрее!!

— А-а-а… Сорвался!

— Ну давай нового…

Шлёп… шлёп-шлёп-шлёп…

— Давай! Давай-давай!

Ещё один язь!

Обидевшись, демонстративно отряхивая лапы, кошка отправляется дальше по берегу и растворяется в сумерках.

35

Как он ворвался, из каких времён, пригвоздив к раскопу мою сегодняшнюю тень, этот маленький железный наконечник стрелы, только что обнаруженный среди неолитических черепков?! Маленький, ржавый, выпущенный из тугого лука, может быть, кем-либо из тех, кого мы месяц назад раскапывали на купанских огородах, он пробил слои и эпохи, вонзившись глубоко в землю, исчез из своего времени, уйдя глубоко в прошлое, чтобы вынырнуть далеко в будущем. В том будущем, которое на какой-то миг стало нашим настоящим. И вот я держу на ладони маленький сгусток проржавленного металла, извлечённый из времени… Куда? В безвременье? Или в остановленное «сейчас», которое его будет сопровождать, которое будет возникать для него — или для человека? — каждый раз, как он будет смотреть на этот кусочек ржавчины и прикасаться к нему?

Но тогда где же оно, это прошлое? Или необратимость времени касается только нас, потому что каждому из нас не дано ни прошлого, ни будущего, а только лишь настоящее? Всё остальное — символ, знак, условность… Множество конечных бесконечностей, наделённых сознанием. И это — человек?

Как мало остаётся от человека!

Я хожу по раскопу, останавливаюсь у листов бумаги, на которых растут кучки черепков, рассматриваю их, зарисовываю украшающие их узоры, кремнёвые орудия, рассматриваю ножевидные пластинки, шлифованные долота, которые нет-нет да появляются из земли, и не могу отделаться от мысли, что всё то, что мы из неё извлекаем, относится к человеку так же, как стружка или мраморная крошка — к той статуе, во время рождения которой они летели на землю из-под резца ваятеля.

Мы можем восстановить последовательность каких-то простых действий, угадываем назначение предметов, восстанавливаем призрачную схему жизни. Но, собственно, к человеку это относится так же, как к действительной жизни — неуклюжий детский рисунок, пытающийся обозначить взаимосвязь отмеченных взглядом предметов. А как заметить среди них человека, если самая его суть — чувства, мысли, порывы — оказывается неуловимой и невоспроизводимой даже живущими рядом с ним? Да, материи присуще свойство мышления, но свойство, качество — понятия уже не материальные, не вещественные…

Материя и дух? Извечный дуализм?

Но стоит только придать материи форму, оформить косное,

бездушное вещество, извлечь из материала *предмет*, как он оказывается наполнен идеей, которую передал ему человек. Идею топора. Идею скребка. Идею глиняного горшка. Идею копья — сложную идею, возраставшую по мере соединения разнородных её частей, разнородных идей, в свою очередь рождавших при своём соединении идею более высокого порядка. И опять вопрос: рождает ли? У человека? Да. Но опять получается, что, даже воплощённая в материи, идея сама по себе не существует. Она живёт только в мозгу человека, и каждый раз человек оплодотворяет предмет, который способствует этому оплодотворению или препятствует своей формой. Без человека, более того, без посвящённого в секрет идеи человека материя остаётся, как и прежде, мёртвой. Форма всего лишь символ идеи, знак причастности к человеческому духу…

И возникает новый вопрос: не оттого ли человек так окружает себя символами, созданными им самим, что не в силах разобраться в иероглифах природы?

36

Ветер дует.

Вначале соседство станции раздражало: гудки, крики в мегафон, сутолока… Польцо для меня всегда было зелёным и тихим, а тут оказалось шумным и чёрным.

Сегодня станция снова врывается в нашу жизнь. Ветер несёт к раскопу едкий дым горящего торфа. Торф горит в вагонах. Он залежался в караванах на фрезерных полях, перезимовал; его не успели вовремя вывезти, и теперь он самовозгорается. На запасных путях стоят почти целые составы, которые поливают из шлангов.

У нас ещё и пыль. Чёрная, сухая. Там, где была дорога, перебитый и перетёртый колёсами культурный слой похож на асфальт. И когда скоблишь его, вся эта пыль поднимается от ветра и въедается в поры. Хорошо, что рядом река.

Толя с Вадимом, взмокшие, притаскивают теодолит и рейку.

— Всё. Два коробка слепней!

— Кончили?

— Нет, ещё один соберём.

— Я о плане.

— А-а… С этой стороны осталось привязать.

Мимо, громыхая по шпалам, в сторону Талиц, проносится санитарная дрезина. Резкие гудки мотовозов.

Рабочие собираются, выжимая на себе трусы.

— Опять авария…

Игорь, который бегал к диспетчерской, возвращается с известием: столкнулись мотовозы. Кто-то не перевёл стрелку. Есть ли жертвы — неизвестно.

Работа не ладится. Все поглядывают в сторону станции, все ждут вестей. Почти у каждого или отец, или брат, или мать работают на дороге. С каждым может случиться.

Уже возвращаясь домой, встретил Прасковью Васильевну — запыхавшуюся, с красными от слез глазами, торопливо заматывающую на бегу платок.

— Пашку… Пашка в аварию попал! — всхлипнула она. — И не знаю — жив ли. Говорят, в город прямо повезли…

Только вечером удалось узнать, как это всё произошло. Везде здесь лежит одна колея. И когда с разъезда выходит состав, мотовоз или просто дрезина, то диспетчер предупреждает по телефону следующий разъезд.

Павел с подручным шёл на мотовозе к Талицам. И то ли диспетчер сначала отправил его, а потом позвонил на разъезд, то

ли там прослушали — только оттуда вышел мотовоз в сторону Вёксы. На прямой оба мотовоза могли бы остановиться, но встретились они на повороте. Столкновение было неизбежно, можно было только замедлить ход. На встречном решили проще — мотористы спрыгнули с мотовоза, и тот без управления, не сбавляя скорости, понёсся вперёд.

— Прыгай! — приказал Павел своему подручному.

Тот замялся.

— А ты?

— Прыгай, тебе говорят! — крикнул Павел, закручивая колесо тормоза.

Удар был сильный. Лишь в самую последнюю минуту Павел успел не только затормозить, но и переключить на задний ход. Мотовозы были спасены, но сам он побился, получил рваные раны на лице, и боялись, что окажется трещина в черепе.

37

Из Переславля вернулась Прасковья Васильевна. С Павлом всё обошлось сравнительно благополучно: сотрясения нет, трещин тоже, только сильно побито лицо. Как бы то ни было, через неделю его обещают выписать домой.

Злополучные мотовозы стоят на станции. Один всё-таки свалился под откос, и его пришлось поднимать. Помят капот, поломана кабина, и сам он похож на пьяного калеку.

Жарко. Вадим наконец кончил снимать план, стоит на отметках, а Толя, потеснив десятиклассников, забрал себе сразу четыре квадрата и возится на них, весь чёрный от летящей пыли. Струйки пота прокладывают розовые дорожки по его телу и засыхают; время от времени он звонко шлёпает ладонью, наводя новую кляксу, и кладёт в спичечный коробок оглушённого слепня.

Ребята прослышали про нашу рыбалку, и теперь по всем раскопам слышны осторожные шлепки. Дурной пример заразителен.

38

Только что ушли школьники из Копнин*а* — села, расположенного между Усольем и Нагорьем. Они путешествуют по родному краю и почти полдня провели у нас на раскопках. Уф! Теперь можно и за дело приняться, только вот отдышаться от бесчисленных объяснений…

Впрочем, разве это не дело?

Пожалуй, если разобраться, именно это «дело» поважнее самих раскопок, ибо иначе зачем они? Ведь не для пополнения музеев выпытываем мы у прошлого его подноготную, собирая осколки минувших времён; не из любопытства только переворачиваем пласты земли, а из-за тех редких удач, когда удаётся ощутить непрекращаемое биение пульса жизни, почувствовать непрерывающуюся живую связь времён и оттуда, из прошлого, принять эстафету, чтобы передать её в будущее.

Вот, казалось бы, приехали два-три посторонних человека, стали что-то размечать, копать, фотографировать, живя своей, не совсем понятной для окружающих жизнью. Люди, по сути своей, они разные, не такие уж близкие, но общее дело объединило их на какое-то время, и вот уже возникло некое ядро со своими полями тяготения, со своими центростремительными силами, притягивающими других людей, образуя нечто вроде звёздного скопления или планетной системы. Из хаоса личных отношений, из каких-то случайных структур постепенно строится то упорядоченное целое, что именуется «экспедицией», «коллективом», начиная свой, никем до того не предусматриваемый путь в пространстве, влияя своими полями, своими излучениями на окружающий «космос», перестраивая его, влияя на орбиты чужеродных «планет».

Действительно, стоило только начать работать, собрать на раскопе ребят, как потянулись к нам гости — самые разные.

То, соскочив с одной и в ожидании следующей дрезины, присядет над черепками вечно бодрый и вечно спешащий Данилов, сверкая всегдашней дружелюбной улыбкой; то — редкий гость! — хмурый и молчаливый, посидит в раздумье над раскопом Вячеслав Королёв; то Виктор Новожилов остановится по пути домой перекинуться словами, посмотреть, что нашли; то — не менее редкий теперь гость — появится Володя Карцев, работающий на другой линии, которая связывает Купанское с Мшаровым. То несколько машинистов с мотовозов во время вынужденного перерыва — путь закрыт встречным составом — соберутся возле раскопа, и случайная, зацепившись с полуслова, с

обмолвки, завяжется беседа, а то схлестнётся и спор, потому что человек жаден на новое, но, прежде чем принять, приладить его к себе, не один раз перевернёт, вывернет, рассматривая на свет новую телогрею, — ладно ли швы прострочены, нет ли прорех, не на живую ли нитку смётана, сядет ли так, чтобы и телу и душе удобно было?..

Следом за ними идут другие: туристы, нет-нет да появляющиеся на байдарках из-за поворотов Вёксы, пешим строем двигающиеся по родному краю группы школьников, как эти из Копнина… Наконец, просто соседи, уезжающие и приезжающие, для которых наши раскопки стали делом привычным, а потому получившим не только смысл, но, как бы сказать, и «права гражданства» наряду с любой другой работой, за которую платят деньги, а стало быть, приносящей государственную пользу.

С каждым из таких гостей надо найти язык, понять, что его волнует, к чему он тянется, что хочет узнать, не всегда умея правильно выразить свои желания. Иногда поспорить, пошутить. Иногда пристыдить. И всегда рассказать.

Конечно же, в этом случае школьники — самые благодарные из всех. У них ещё нет устоявшихся привычек, не сложился ещё штампованный ритм мысли, и на окружающий мир они смотрят жадными, широко раскрытыми глазами, готовые весь его принять, понять, отдаться ему без оглядки. Каждый их шаг в этом мире приносит множество открытий. И разве не потрясением для них, проживших всего только двенадцать-пятнадцать лет на Земле, оказывается встреча с черепком, сделанным пять тысяч лет назад?

Бесплотное время, тикающее часовым механизмом, принимающее сколько-нибудь ощутимые очертания лишь в виде протяжённости урока, от звонка до звонка, здесь обретает внезапно реальный вес, плотность, форму и положение.

Ребята смотрят, раскрыв рты, на тебя, как на волшебника, когда, рассказывая им, жестом фокусника извлекаешь из беспорядочной кучи два приглянувшихся тебе черепка и, прижимая их друг к другу, показываешь им как бы из ничего вдруг возникший сосуд — пусть даже не целый, но он уже наполовину извлечён из бесформенности, из небытия, и время, давно минувшее, вдруг возвращаясь, обретает форму… Память об этих минутах они сохранят на всю жизнь, и пусть никто из них не станет ни историком, ни археологом, но в глубине подсознания у них будет тлеть маленькая искорка, напоминающая, что каждый из них — не первый и не последний человек на земле и его жизнь точно так же принадлежит будущим поколениям, как поколениям уже прошедшим…

Во всяком случае, мне хочется верить, что вместе с подаренными им черепками ребята уносят после нашей встречи отблеск именно этой мысли… И ребята, и взрослые.

39

Вчера под конец рабочего дня появилось пополнение: приехал Слава, мой старый лаборант, и привёз с собой приятеля.

Ребята соскочили с дрезины на станции и, волоча по отвалам рюкзаки, пришли прямо на раскоп. Славу я ждал, тем более что сегодня должны уехать Вадим с Толей, так что помощь человека, с которым я уже привык работать, просто необходима. У Славы скуластое лицо, голубые глаза с раскосинкой, белый вихор на голове, который он старательно приглаживает и причёсывает, и московский говорок, в котором нет-нет да и проскользнёт ярославское оканье. Родители его из здешних краёв, да и сам он родился в Хмельниках возле Сомина озера.

Михаил, его приятель, совсем иной. Высокий, широкоплечий увалень с толстыми оттопыренными губами, мясистым носом и длинными, почти до плеч патлами. У него нагловатый вид подростка, привыкшего шлифовать московские тротуары. И хотя он пытается казаться «бывалым человеком», чувствуется, что всё для него здесь внове…

Стрелка приближается к двум часам пополудни.

— Ну что ж… Пора!

Вадим проверяет рюкзак, застёгивает клапан и выпрямляется.

— Ты, Леонидыч, свечи в моторе смени, обгорели они. Сегодня утром опять чихали.

— Да уж как-нибудь! Новгороду своему кланяйся. И нам пиши!

Наступает минута напряжённой тишины. Молча, исполняя старинный обычай, сидим, думая каждый о своём и об общем, как то испокон веку положено на Руси: о дальней дороге, казённых домах, о тех, кто остаётся и кому уготована своя дорога, тоже дальняя и неведомая. И разом, разрушая всё незримо созданное, как выход: «Пошли!»

— Счастливо!

— Счастливо!

По тропке над Вёксой, мимо буйно зеленеющих огородов, мимо мостков с примкнутыми к ним лодками, мимо соседей, которые напутственно машут отъезжающим, мы проходим гуськом, неся удочки и рюкзаки наших товарищей. Сколько раз уже было пройдено здесь за эти дни, сколько раз ещё нам самим ходить по этой тропке! А вот им — когда ещё они опять попадут на Вёксу? Может быть, поэтому, не сговариваясь, перейдя мост, Вадим и Толя спускаются со шпал к раскопам и дальше к станции идут по отвалам, которые сами набросали за эти дни.

Я вижу, как, нагнувшись, Толя поднимает и кладёт в карман черепок — последнюю память об ещё одном приключении в своей жизни…

Маленькая, глубоко врезавшаяся в песчаные берега Куротня, берущая начало из далёких лесных болот на юго-западе от Плещеева озера, как-то естественно стала границей леса на западном берегу, тогда как Кухмарь, столь схожий с Куротней, — на северном. За Куротней к Переславлю открываются обширные пространства болотистой поймы, вклинивающейся между песчаными грядами дюн, поросших сосновыми борами, и высокими склонами коренного берега, на котором разбросаны деревни и пашни. Этот угол зарос черёмухой, ивой, кустами смородины, густым, непроходимым ольшаником, обвитым цепкими лианами хмеля, и в глубинах его крапивных джунглей в конце июля таятся крупные и сочные глянцевочёрные гроздья смородины, до которых добирается не всякий ягодник. Но привлекают сюда меня не эти радости лета, которым ещё время не пришло, а прямая гряда довольно высокого песчаного вала, прорезанного течением Куротни, — такого же вала, какой можно видеть на северном берегу озера, возле Кухмаря.

Эти валы интересуют меня так же, как когда-то, в начале века, интересовали географов и геологов, работавших на берегах Плещеева озера.

Тогда, в двадцатых годах, по инициативе главного историка здешних мест Михаила Ивановича Смирнова был создан не только местный историко-краеведческий музей и биологическая станция в усадьбе «Ботик» на горе Гремяч, где двести с лишним лет назад находилась резиденция Петра Великого, но и печатались «Труды» и «Доклады» Переславль-Залесского научно-просветительного общества, составившие своеобразную энциклопедию края. Это Смирнов пригласил к сотрудничеству с переславскими краеведами профессоров Московского университета, и он же уговорил приехать для работы с краеведами М. М. Пришвина, навсегда прославившего эти места…

Всякий раз становится не по себе, когда, листая ломкие, пожелтевшие страницы изданий тех лет, открываешь своих предшественников, ломавших головы над теми же вопросами, которые волнуют сейчас тебя; медленно, шаг за шагом извлекаешь из забвения забытые на людей, прокладывавших тропы, по которым идёшь, нащупываешь в сумерках прошлого оборванные нити человеческих судеб…

Вот и эти валы. Когда они возникли? Отделяют ли их от нас тысячелетия или десятки тысячелетий? Хранят ли они в себе

следы древних поселений, как равные им по высоте береговые террасы древнего озера, или к тому времени, когда человек стал селиться на здешних берегах, кромка воды убежала уже далеко от этих песчаных гряд?

На выяснение нужно время, его оказывается всё меньше и меньше, но вот сегодня, благо впереди половина дня — считай, целый день! — я решаю, что вместе с приятным можно соединить и полезное: проводив на полпути до Переславля Вадима с Толей, вернуться от Куротни пешком по берегу.

И прогулка хорошая, и вал осмотрим.

Теперь мы стоим на дюне, прислушиваясь к пропадающему шуму мотовоза. Его хриплый гудок долетает из-за кустов за поворотом, и перестук колёс окончательно затихает. Вот и всё.

Сверкают ниточки рельсов, синеет над кустами озеро, белеют вдали на противоположном берегу стены Никитского монастыря, а на нашем, впереди и несколько справа, поднимается зелёная купа берёз, между которыми видны небольшие строения и арка над входом. Это и есть усадьба «Ботик» на горе Гремяч, которую облюбовал во время своих приездов в Переславль Пётр I. Там слышалась голландская и немецкая речь, на берегу скрипели блоки, визжали пилы, разделывавшие окрестные леса для «царской потехи», дымились костры, на которых в чанах кипела смола, стучали топоры, а между всем этим ходил долговязый юноша, учившийся дотоле неизвестному плотницкому и корабельному делу.

От верфи, от причалов остались только сваи на дне озера и в топкой почве берега. Здания музея построены уже в прошлом веке, когда на средства, собранные жителями Переславля и его уезда, равно жертвованные дворянами, мещанским населением, крестьянами и духовенством, гора Гремяч была откуплена у тогдашних её владельцев и сюда с торжественной церемонией был перенесён бот «Фортуна» — единственный оставшийся в живых от «потешной» флотилии. И уже потом, с течением времени, собирались со дна озера топоры, котлы для смолы, остатки деревянных резных фигур от галер, шкивы, блоки, остатки шпангоута — всё то, что выставлено теперь здесь и в краеведческом музее.

Я оглядываю своих спутников. М-да, братья-разбойнички! Освободившись от цивильного городского платья натянув на себя минимальное, не требующее внимания и заботы одеяние, лёгкое, пригодное на все случаи жизни ребята являют зрелище достаточно устрашающее, если бы не полупустой рюкзак одного и сапёрная лопатка на бедре другого.

Михаил обмотал рубашку вокруг пояса и теперь осторожно

поглаживает вздувающиеся на плечах пузыри от солнечных ожогов.

— Так что, отцы-благодетели, двинулись? А то если копать по дороге придётся, домой до язей не успеем!

Слава старательно щеголяет подхваченным за эти дни экспедиционным жаргоном, который вместе с уличным московским образует столь же причудливый сплав, как и его внешний вид: подвёрнутые до колен тренировочные брюки, закатанная снизу вверх, до подмышек, выгоревшая футболка, на голове пилотка из газеты. Что ж, обстановка, по-видимому, определяет и словарь, и внешнее проявление себя человеком. Вероятно, и я в экспедиции говорю несколько иначе, чем в городе.

Мальчишество? Переимчивость? Стремление расковаться? Или нечто иное, о чём я думал несколько дней назад, наткнувшись в начале одного из рассказов Александра Грина на следующие слова. «Есть люди, напоминающие старомодную табакерку, — писал Грин. — Взяв в руки такую вещь, смотришь на неё с плодотворной задумчивостью. Она — целое поколение, и мы ей чужие. Табакерку помещают среди иных подходящих вещиц и показывают гостям, но редко случится, что её собственник воспользуется ею как обиходным предметом. Почему? Столетия остановят его? Или формы иного времени, так обманчиво схожие — геометрически — с формами новыми, настолько различны по существу, что видеть их постоянно, постоянно входить с ними в соприкосновение — значит незаметно жить прошлым?»

Так, может, этот жаргон, шутливо-ироничные словечки служат для нас той инстинктивной защитой от прошлого, среди которого проходит наша жизнь в экспедиции? И этой защитой мы пытаемся подчеркнуть, лишний раз почувствовать свою современность, порой утрируя это чувство в языке, в манере, в одежде, чтобы прошлое не захлестнуло, не оторвало от «сегодня»?..

Вот он, вал. Прямой, как выстрел, насыпанный словно по нивелиру, он не так уж, оказывается, высок, как видится со стороны, и теперь на его теле нашим глазам открывается множество старых и совсем свежих ран — ямы, карьеры, откуда и сейчас ещё берут песок для ремонта дороги, заплывшие учебные окопы. Я прошу Михаила то там, то здесь зачистить старые осыпи, и тогда в свежем срезе открываются ровные прямые слои с горизонтальными прослойками ржавых солей железа, отмечающих уровни древних поднятий Плещеева озера, — вал вырастал под водой. Если бы его складывал ветер, слои были бы косыми.

Широкоплечий мускулистый Михаил размахивает сапёрной

лопаткой, как игрушечной, далеко отбрасывая в сторону песок и комья дёрна.

— А шлак здесь откуда? — спрашивает он с недоумением, извлекая из песка куски шлака со спёкшейся поверхностью и металлическим отливом. — Неужто от узкоколейки притащили?

— Может, здесь кузница была? — осторожно предполагает Слава и на всякий случай снимает рюкзак с плеча. — Ты как думаешь? — обращается он ко мне. — До узкоколейки здесь далеко, вряд ли кто стал сюда таскать…

— И здесь тоже… Потяжелее и железа побольше! А шлак — он должен быть лёгким. А это что за глиняная трубка?

Михаил подаёт мне обломок глиняной трубки с запёкшейся от высокой температуры вокруг её узкого конца как бы глазурованной массой. Рядом Слава поднимает такой же кусок. У обеих трубок внутренний канал сужается, и на стекловидной массе шлака можно разглядеть ржавые капли железа. Так вот что это такое: сопла древней доменной печи, домницы, в которой из болотной железной руды когда-то выплавляли железо! Оно получалось при этом не жидким, а как бы «сметанообразным» и, стекая в ямку под домницей, приобретало вид таких же лепёшек-криц, которые мы находили неподалёку от варниц, на месте исчезнувшего усольского посада.

— Так что, по этим трубкам металл стекал? — спрашивает Слава.

— Нет, Слава. Древние металлурги уже тогда знали, что высокую температуру можно получить, нагревая металл не снаружи, а изнутри. Даже не столько нагревая, сколько активизируя химический процесс. Через эти трубки они с силой вдували воздух, и из окислов восстанавливалось чистое железо. Эх, жаль, наш главный славяновед уехал!

— А что, в неолите таких не было? — с туповатой ухмылкой спрашивает Михаил.

— Голова! На то он и неолит, что в нём металла нет. В бронзовом веке здесь и медяшки не найдёшь а ты ещё железа захотел! — с чувством превосходства над приятелем произносит Слава. — Ты смотри лучше может, здесь и сама домница лежит…

Но, увы, поиски безуспешны. Несколько кусков шлака, ещё два обломка глиняных сопел — и всё. По-видимому, древнее производство располагалось в том месте, где сейчас виден обширный, уже поросший кустами карьер, в обрыве которого нам и посчастливилось углядеть эти остатки. Печальнее всего, что нет ни одного черепка, по которому можно было бы хоть приблизительно установить время, когда древние переславцы выплавляли на этом бугре железо из собранной тут же болотной

руды, мешая её с древесным углем и раздувая огонь мехами. А может быть, всё это связано опять-таки с временем Петра I и его «корабельной потехи», как остатки глиняной корчаги со смолой, на которые мы как-то наткнулись при раскопках очередной стоянки, расположенной невдалеке от Польца? Конечно, не та техника, не тот размах, но как с уверенностью отрицать такую возможность?

Следы державного пребывания встречаются здесь в самых неожиданных местах и видах…

Захватив увесистые находки, мы отправляемся дальше по валу — к Куротне, к остаткам высоких песчаных дюн за нею, к уже известным мне стоянкам, лежащим на древнем берегу озера, по которому текут рельсы узкоколейки. Она прорезает древние мысы, пересекает давно заросшие заливы, но в целом довольно точно указывает ту границу, где влажное разнолесье сменяется сухими сосновыми борами.

Здесь облик прошлого выдаёт себя цветом мхов, сменой кустарника и деревьев, зарослями папоротника, отмечающими с неизменностью ту невидимую границу, за которой на песках наслоились пласты торфянистого заболоченного перегноя. Но главное, что привлекает меня, заставляя снова и снова возвращаться к узкоколейке, так это противопожарные борозды, змеящиеся с двух её сторон по опушкам леса. Почвенный слой здесь взрезан глубоко, отвернут в стороны плугом, и, подчищая время от времени лопаткой стенку борозды, бредя по ней, можно рассматривать бесконечный, почти не прерывающийся извилистый разрез, что тянется по всхолмлению берега на много километров.

В тот первый год, когда я открыл для себя Польцо, в одной из этих борозд я нашёл новую стоянку. Поэтому, вернувшись через две недели на берега Плещеева озера, я отправился шагать по этим бороздам, где углядывая, а где и просто нащупывая во влажном песке босой ногой кремнёвый отщеп, черепок, а то и наконечник стрелы. Теперь мне известно здесь уже девять стоянок, относящихся к разному времени. Если на Польце перемешаны остатки всех эпох, то здесь, на древнем берегу Плещеева озера, они лежат раздельно, позволяя изучать и сравнивать заключённый в них материал.

Мы идём по борозде, останавливаемся, присматриваемся, обманутые кусочками сосновой коры, так похожей на кремнёвые отщепы, снова идём, собирая и заворачивая в бумагу находки. Но до чего здесь условно само понятие «стоянка»! Девять пунктов — только девять центров наибольшего насыщения вещами. Отграничены, отделены друг от друга пересохшими руслами

древних ручейков или заливами лишь три или четыре. Остальные протянулись по низкому песчаному берегу, который засыпан черепками и колотым кремнем. Почему на этот именно берег Плещеева озера собиралось в древности так много людей и с таким завидным постоянством? На какие-либо церемонии, общие празднества? Но в основе почти всех ритуалов древности лежали заботы хозяйственные: успех охоты, увеличение племени, забота о хлебе насущном… А ведь только здесь, вдоль этого берега, тянутся густые заросли тростника, только здесь нерестится плещеевская рыба и как раз сюда всегда собираются по весне местные и приезжие рыболовы. В камышах тесно от лодок, некуда закинуть приманку, а на берегу дымятся костры, стоят палатки, мотоциклы, автомашины и автобусы.

Как-то раз, возвращаясь из Ленинграда, я разговорился с попутчиком. Он оказался ихтиологом, и я поинтересовался: могут ли сохраняться неизменными места нереста в течение нескольких тысяч лет? Подумав, он ответил, что могут, безусловно могут, если только не изменились природные условия.

Насколько я мог судить, природные условия здесь не менялись. Колебания уровня озера происходили чрезвычайно медленно, позволяя зарослям тростников перемещаться вслед то за отступающей от берега, то за наступающей на него кромкой воды. Всё так же у подножия подводного обрыва били в глубине озера ключи, и солнце прогревало мелководье, давая тепло и пищу миллионам вылупляющихся из икринок мальков. Вот почему сюда и собирались всегда люди — собирались на весеннее обжорство, на праздник весенней рыбы, запасаясь едой впрок, решая племенные дела, заключая браки…

* * *

От века им неведомы пределы —
Мечты и страсти воспалённый бег —
Ловить зари взносящиеся стрелы
И слушать скрип уключин и телег.

На всех путях — и близких и далёких,
На всех причалах, памятью спеша,
Найдёшь оставленные ими строки,
Созвучные твоим, моя душа!

Потёртые баронские короны,
Кастилий ветхих старые гербы

Хранят лесов раскинутые кроны,
Чужих земель пещеры и гробы…

И, бороздя глубины океанов,
В горниле слова выплавляя стих,
Развенчиваем славой осиянных,
Чтоб возвеличить — малых и простых!

40

На станции сегодня с утра суета, какая-то нервозность, и вскоре оказывается, что на торфопредприятии ждут гостей: областное совещание по развитию торфоразработок решили на этот раз провести в Купанском. То-то, я смотрю, мой Василий Николаевич с утра у диспетчерской — в новеньком костюме, накрахмаленной рубашке с галстуком, весь сияющий, приглаженный и озабоченный… Не подошёл — только издали рукой помахал. Да ведь всё равно, раз совещание будет, Свекольников, директор Купанского предприятия, обязательно гостей на раскоп повезёт: собственное его кунсткамерное «диво», на его отчислении работаем… Только до демонстрации ли ему и Данилову будет после недавней аварии? Как-никак, а ЧП с жертвами…

Так оно всё и получилось. Заседали, совещались, разъезжали по линии, а ближе к вечеру, видимо, на закуску перед банкетом, остановили два классных вагончика прямо перед раскопом. И высыпали на отвалы, поскольку в раскоп я спуститься не позволил. Совещание действительно представительное: директора всех ярославских торфопредприятий, среди которых, конечно же, блистает Королёв, оглушающий нас своим хриплым басом, и дорожники, те, что ответственны за вывозку торфа с полей и на которых сейчас все шишки валятся, поскольку не хватает ни вагонов под погрузку, ни мотовозов, чтобы составы вывозить…

Мне кажется, наш новый раскоп не произвёл на гостей должного впечатления. Потрогав черепки (почему-то каждому непременно хочется черепок сломать — крепкий ли?!), они разбились на группы, продолжая прерванные споры. Возле меня остались только Королёв и Данилов, раскрасневшийся больше обычного от жары и горячих разговоров.

— А ты, Вася, вот у этого кладоискателя спроси — прав я или нет, — проговорил Королёв, кладя свою тяжёлую лапищу на моё плечо и как бы разворачивая меня лицом к главному инженеру. — Вот этот приятель твой, — теперь он обращался ко мне, — хочет новую ветку тянуть и посёлок на Половецко-Купанском массиве строить. А зачем, спрашивается? Техника на уже разработанных массивах нужна. В нашем Кубринске мы ещё только начинаем, и такими темпами работать — на пятьдесят лет с гаком хватит. Здесь у них — лет на пятнадцать-двадцать. Ну чего ты, чего на меня смотришь? — повернулся он к Данилову. — Тебе бы только дороги строить! А вот начнёшь там строить, тебе этот сейчас же

счёт подаст: плати на папуасиков! Он и там их найдёт.

— Да я не против механизации, Вячеслав, пойми! — возражал разгорячённый главный инженер. — И не хуже тебя знаю, что техники не хватает. Но ведь о перспективе подумать надо! Сколько сейчас в Переславле жителей? Тысяч пятнадцать, не больше… А по перспективному плану, который сейчас утверждают, — до ста тысяч. Тут, даже если об одном топливе говорить, старыми разработками не обойдёшься. Надо вперёд глядеть!

— И я говорю, что надо вперёд глядеть, да только не так! — вдруг разъярился Королёв. — Вперёд да вперёд, а что там? Сто тысяч человек в Переславле будет? А на кой чёрт они там нужны?! Ведь от этих лесов, от озера они только мокрое место оставят. Засрут всё вокруг! А вместо того чтобы за голову схватиться, крикнуть: «Да что же вы, черти, с природой делаете?!» — вы все, как попугайчики: строить, строить! Взять бы вас всех да…

— Постой-постой, не горячись! — удерживал его багровый Данилов, расстёгивая воротник у рубашки и приспуская узел пропотевшего, засыпанного торфяной пылью галстука. — Планы-то не наши. Их нам сверху спускают, что тут сделать можно? А линию до Половецко-Купанского отсюда протянуть — проблем никаких…

— То-то — сверху, — разом остыв и стыдясь своей минутной вспышки, пробурчал Королёв и полез в карман за папиросами. — Сверху… А вы снизу думайте! Поставил новую плотину в Усолье, именинником ходишь, а толку…

— Может, скажешь, что плотина твоей рыбе мешает? — вдруг неизвестно почему именно за плотину обиделся Данилов. — У тебя твоя Игобла есть, вот там и лови! А здесь плотину надо ещё выше поставить, чтобы озеро не мелело. Сам знаешь, там сейчас по берегу скважины бурят, отсос пойдёт прямо из озера. А мы тут Вёксу подопрём, вот и не будет озеро мелеть, ещё лучше станет!..

Теперь уже забеспокоился я и поспешил вмешаться.

— Подожди, Матвеич! — обратился я к Королёву, который закурил и готовился сказать что-то обидное своему оппоненту. — Действительно существует план расширения Переславля? А что же тогда с озером будет? Воды-то излишней в нём нет, одна Вёкса только. И на кой ляд расширять этот город? Стоит он в стороне от железной дороги, ресурсов собственных нет…

— Есть такой план, — перебил меня Королёв. — Недавно на сессии принимали. Я против выступил и только выговор заработал. А за что? За то, что посоветовал сделать то, о чём ты говоришь: прежде собственные внутренние ресурсы подсчитать.

Хватит ли, например, воды? А леса? А продуктов? Сможет ли наш район прокормить такой город? Нет, не может…

— Сейчас не может, — уточнил Данилов. — А через пять лет сможет.

— Это когда ты Вёксу окончательно запрудишь, что ли? — покосился на него Королёв. — Так тогда у тебя вода не только возле бани — у плотины гнить будет, у тебя всё Плещеево озеро зацветёт! Будешь вместо ряпушки карасей разводить… А, что там говорить! Всё равно не от тебя и не от меня это всё зависит! Нас не спросят, — махнул он рукой и снова повер- нулся ко мне. — Кончай ты сегодня свою работу, Леонидыч, и поехали вместе с нами водку пить, благо он нас сегодня угощает! — Королёв мотнул головой в сторону Данилова. — Да и Свекольников вон рукой машет — все уже по вагонам сели…

Данилов был ещё красным, но на его лице уже стала обозначаться прежняя мальчишеская улыбка, и, когда он повернулся, уши под солнцем вспыхнули двумя весёлыми красными фонариками.

— Давай, Леонидыч, правильно наш кубринский король говорит, никто нас не спросит…

Но ехать с ними на банкет я отказался наотрез.

41

Человек бывает удивительно гибким и пластичным. Что перед ним растения, приживающиеся на новой почве, или насекомое со своей защитной окраской? Казалось бы, уже навсегда отлиты характер, речь, привычки какого-либо человека, но вот попадает он в другую среду, и та, как горный поток или накат у берега моря, начинает его дробить, окатывать, шлифовать, пока не сравняет с другими… или не раздробит окончательно!

Вот и сейчас, поглядывая на Михаила и Славу, я смотрю, как они вживаются в экспедиционный быт.

Конечно, сказывается разница между ними, потому что Слава здесь свой, в полном смысле слова. В большинстве окрестных сёл у него дальняя или близкая родня, которая то наезжает в Москву, привозя переславские новости, то принимает его с родителями здесь каждое лето. Даже говор не выделяет его из окружающих: может быть, чуточку правильнее, чуточку литературнее, но именно «чуточку». Москва ещё не перестроила его крепкий крестьянский костяк, лишь обострив смётку и практичность, ускорив во много раз замедленные реакции села. Но стоило ему снять с себя московский костюм (к слову сказать, ничем не отличающийся от тех, в которых ходят здесь его сверстники по воскресным дням), разуться, схватить первую порцию загара, как уже трудно стало отличать его от остальных на раскопе. Сам, без моей подсказки, он выспросил у молчаливого Игоря, где лучше ловится на Вёксе рыба, какие порядки на танцах в клубе, освоился с лодкой и мотором, с новыми для него черепками на раскопе — и теперь выглядит так, словно бы всю жизнь прожил в этом доме и каждое лето копал на Польце!

Правда, и основания у него для этого есть: два предшествующих сезона Слава, что называется, «верой и правдой» работал в моей экспедиции на другом берегу озера, пройдя достаточно ответственный путь от простого землекопа до моего помощника. Да, кое в чём он может поучить и Олю и Игоря. С этой троицей я спокоен. А вот Михаил…

Он другой. Я пытаюсь понять его, подобрать к его душе какой-либо ключ, но всё оказывается довольно неудачно. Дерево без корней? Потребитель? Да, пожалуй. То производное городских окраин, которое, как правило, несёт в себе разрушение, оказавшись между двумя полюсами: землёй и городской цивилизацией. Два полюса творчества, два центра созидания, а между ними — пустырь, поле, по которому то смерчи проносятся,

то путник его пробежит, запахнувшись от порыва ветра, то катится всякий мусор, создавая толчею и видимость деятельности… Интерес Михаила к чему-либо, как я заметил, всегда кратковремен, словно, узнав, он сразу же устаёт от этого знания или от сознания, обязывающего к действию. Он поглядывает свысока на местных ребят, на рабочих, на нашу работу, а по-моему, и на любую работу вообще: недаром земля для него «грязная».

Вот и сейчас, оказавшись под начальством Славы, который учит его разбираться в черепках, работать совком и лопатой, он считает себя незаслуженно обиженным и спрашивает меня: когда я сделаю его начальником? Очень боюсь, что не сделаю…

Так получается, что Вадим — потомственный интеллигент, отпрыск захиревшего аристократического древа, человек артистической натуры — куда ближе к Роману, Павлу, Пичужкину, к тому же Петру Корину, чем Михаил. Может быть, действительно потому, что и тут и там — «корни»? Те глубинные, многочисленные, древние, которые не только питают дерево, но и создают эту самую почву, рождая в людях чувство сопричастности одному делу, одной судьбе, одинаковой ответственности? Когда и дело, казалось бы, самое личное, оборачивается другой стороной и оказывается, что оно — не для себя только, да и в первую очередь не для себя…

В самом деле, стал бы Роман плести корзины на продажу, если бы жил на необитаемом острове? Зачем? Но вот огород разводить бы стал и вкладывал бы себя в него так же, как сейчас, потому что в этой работе для него важен не только экономический результат, но ещё и возможность самоутверждения. А Корин? С его фантастическими уловами? Из восьми пудов уклеи — точно знаю! — он себе вряд ли десяток килограммов оставил: закоптил для детей и внуков, ну и немного на рынок. А остальное всё тут же разошлось — по соседям, в столовую посёлка, в детский сад, в больницу… Нет, не задаром, но конечный результат опять получаете я не столько денежный, сколько человеческий, общественный…

С северо-запада, со стороны Сомина озера, всплывает грозовое облако — высокое, клубящееся, ослепительно белое на чёрной тяжёлой подошве. Теперь грозы нас не забывают. День начинается жарой, к обеду он наливается духотой, и не успеешь оглянуться, как очередная гроза наваливается на тебя из-за леса в стрелах молний и кипящем, клокочущем ливне. Вот и это облако; клубится, растёт ввысь, вспучивается грибом, и надо давать команду, чтобы скорей заворачивали находки и подчищали раскоп.

Пашка вернулся из больницы. Он ходит ещё более тихий, чем обычно, весь перебинтованный, бледный и худой и смотрит на мир одним глазом. Выйдет, посидит на бережку, выкурит папиросу и уходит домой, лежать. Героем себя не чувствует и только жалеет, что врачи пить пока запретили…

Павел вернулся из больницы. Он ходит ещё более тихий, чем обычно, весь перебинтованный, бледный, худой и смотрит на мир одним свободным глазом. Выйдет, посидит на бережку, выкурит папиросу и уходит опять домой — лежать.

42

После работы пропадаем на реке. Слава привёз мои ласты и маску, вода уже согрелась, и мы поочерёдно исследуем подводный мир Вёксы.

Первый раз я спустился под воду здесь же. Я не увидел экзотических рыб, каких бы то ни было фантастических красок, зловещих чёрных мурен, электрических скатов и гипнотизирующих барракуд. Но это был новый мир, ранее недоступное пространство, которое теперь я мог открывать и осваивать. Он позволял передвигаться не в двух только, но в трёх измерениях, и ограничен я был лишь запасом воздуха, который могли удержать лёгкие.

С тех пор обычная рыбалка отступила на второй план.

Не в том дело, что я охотился под водой. Держась руками за корень или затопленную корягу, можно было до озноба наблюдать за повседневной суетнёй рыбёшек в водорослях, узнавать их повадки, отмечать распорядок дня, следить за их поисками пищи. Обо всём этом раньше я ничего не знал.

У каждой большой рыбы, например, была своя охотничья территория, своё «жизненное пространство», на которое не следовало заплывать другим, свои стада малявок, свой дом — коряга или куст водорослей. Плотва ходила небольшими стайками, толклась, пощипывая съестное, под нависающими торфяными берегами, шныряла в зарослях под песчаным дном. Окунь оказывался большим домоседом: спускаясь под воду, почти всегда его можно было встретить возле одного и того же куста водорослей. Проплывая мимо, можно было видеть, как он медленно и с достоинством прячется от тебя за такой куст, следит за твоими движениями и при этом воинственно растопыривает плавники: попробуй-ка сунься!

Самые крупные окуни не давали себя разглядывать и, мелькнув, исчезали в зарослях.

Плавая один, я полагал, что окуни просто уходят в сторону, с дороги. Оказалось, что это совсем не так. Разобраться помог мне Юрий, мой московский приятель, тоже любитель подводного плавания в Вёксе.

Как правило, мы плавали рядом, плечо к плечу, но однажды, прочёсывая яму перед домом, где всегда было много язей, я вырвался вперёд. Юрий немного отстал и шёл за мной следом. На выходе из ямы начинались заросли водорослей, в которых время от времени передо мной мелькал огромный окунь, категорически отказавшийся быть пойманным или подстреленным, — ни на

червя, ни на блесну он не поддавался, а подстрелить его я не успевал. Так было и в тот раз. Мелькнув на мгновение передо мной, окунь скрылся в зелёной чаще. Зная, что искать его бесполезно, поскольку он всегда бесследно исчезал, я плыл вперёд и остановился, только услышав обращённые ко мне крики приятеля. Оказывается, избежав встречи со мной, окунь зашёл сзади, пристроился в кильватер и плыл чуть ли не под моими ластами, наверное, любопытствуя: что надо в реке такой огромной рыбе?

И сколько бы мы этот опыт ни повторяли, окунь всегда оказывался нашим конвоиром!

А вот у корзохи, как здесь называют подлещика, характер совсем иной.

Это рыба большая, глупая, с большими, словно бы удивлёнными глазами. Она ходит у дна в высокой и редкой траве; завидев плывущего охотника, дёргается, мечется из стороны в сторону, потом делает полукруг и встаёт против течения прямо под пловцом. Здесь она замирает, уверенная в собственной безопасности. Тут её и надо стрелять: сверху вниз — самый выгодный и точный выстрел.

Но у нас нет подводного ружья. Я понадеялся на Славу, тот оставил его в Москве, и теперь вся надежда на Юрия, которого я жду через неделю. А пока ребята осваивают подводное снаряжение и учатся нырять бесшумно, не взбивая ластами воду и не распугивая рыб.

43

Маленький каменный цилиндрик зеленоватого оливина. Не зная, на него и внимания не обратишь, а для меня он — поди же ты! — сейчас самая важная находка.

Странно, не правда ли? Тем более что сам по себе этот цилиндрик — всего лишь отброс, высверлина из фатьяновского топора. Такой же отброс, как кремнёвые осколки, вылетавшие из-под руки мастера при изготовлении каменных орудий. Фатьяновские черепки здесь, на берегу реки, попадаются довольно часто. Но ведь это ещё не гарантия, что фатьяновцы на этом месте жили! Горшок можно было принести и так, топор — найти, захватить в качестве трофея, выменять. Но вот такой отброс никому в голову не пришло бы взять с собой. Это означает, что хотя бы один каменный сверлёный топор был сделан именно на этом месте: оббит, зашлифован и высверлен полым костяным сверлом так, что после сверления из него выпал вот этот маленький каменный цилиндрик.

Археолог имеет дело не с человеком вообще, а исключительно с человеком деятельным. Не с созерцателем, а с творцом. Остановись тот на мгновение в прошлом, и это мгновение исчезнет, поскольку право на бессмертие и память обретается только трудом.

Впрочем, при чём здесь бессмертие? Что общего имеет отпечаток папиллярных линий на внутренней стороне черепка с руками, которые когда-то извлекли из небытия этот сосуд, лепили его, свивая глиняные ленты, украшали его узорами? Сильные, нежные, горячие, цепкие, неустанные, создавшие за свою жизнь сотни таких горшков, эти руки исчезли, отслужив свой срок, но именно такие отпечатки позволяют отличить созданное *этими* руками от создания таких же, но других.

И всё-таки…

Современная машинная цивилизация основана на стандарте — стандарте мысли, одежды, пищи, искусства, которое стало ремеслом. Массовое потребление предполагает соответственно массовое же производство. В этом наше время удивительно напоминает эпоху первобытности. Только там стандарт именовался традицией.

Формы предметов, освящённые ритуалом и традицией, не должны были меняться. Любой узор был не украшением только, а определённым смысловым кодом — знаком принадлежности роду и племени, символом предназначения вещи. Техника выделки орудий, узаконенные традицией формы, навыки работы — всё это

передавалось из поколения в поколение.

Но если так, то кто же был творцом нового, того, что не значилось дозволенным, не было этой традицией освящено?

Новое создавали руки людей. Те самые руки, от которых остались лишь кое-где отпечатки папиллярных линий, свидетельствующие, сколь изящны, сколь чувствительны были эти пальцы, привыкшие осязать не синтетику, не металл, а дерево, камень, шелковистую шкуру зверя, живую воду ручья и упругую кору веток. Они, эти руки, вводили в жизнь ежеминутно что-то новое, поправляя, изменяя трафарет традиций.

Вещи рождались в руках человека. Он давал им жизнь, он их лепил, выбивал, извлекал из небытия, увидев в куске кремня и топор, и наконечник копья, и фигурку животного, вроде той, что была найдена несколько дней назад. И хотя форма была предопределена заранее, каждое движение, освобождавшее её из бесформенности, оказывалось индивидуальным. По тщательности отделки, по тому, как ложились сколы, как от долгого употребления блестит пришлифованное пальцами пятно на теле орудия, по тому, как сам привычно скользнёт в твою руку извлечённый из земли нож или скребок, можно увидеть сделавшие его руки. А через них — и человека.

Потому что руки могут сказать о человеке гораздо больше, чем его фигура, его лицо…

44

Над Вёксой отгремели грозы, и снова наступила великая сушь. Сохнет песок на раскопе. Под насыпью у моста нет-нет да появится едкий синеватый дымок над сброшенным под откос торфом. Рано в этом году утвердилось лето! Разогретая земля гонит из себя всё новые побеги трав, взрывается кипенью цветов на полянах и вырубках, и к полудню в вязком лесном зное начинает плавать горьковатая смолистая истома.

Теперь уже все наши усилия сконцентрированы у реки, на первом раскопе.

В плотном чёрном слое, каменеющем под июньским солнцем, лопата двигается елееле, так много здесь черепков, кремнёвых отщепов, каменных орудий… Раньше каждый из школьников легко управлялся на двух, а то и на четырёх квадратах сразу. Теперь у каждого свой квадрат — четыре квадратных метра, а двигаемся мы вглубь вдвое, а то и втрое медленнее, чем прежде. Слой приходится разбирать совком, ножом и кистью освобождать слежавшиеся черепки, чтобы во всем разобраться ничего не повредить. И я жду, что вот-вот мы пробьём этот каменеющий чёрный панцирь и дойдём до слоя, в котором сохранилась кость, а стало быть, и костяные предметы.

О том, что такой слой есть, я знаю давно, ещё с первой осени, когда над Польцом нависла внезапная угроза разрушения.

Как часто бывает, строительство началось с никому не нужной здесь канавы, протянувшейся к реке от места, занятого современным зданием станции. Ковш экскаватора выворачивал из-под земли шлифовальные плиты мелко-зернистого розового песчаника, обломки сосудов, кремни. Но по мере того, как машина двигалась к реке и песок становился всё более влажным, в нём начали мелькать обломки костей и первые костяные орудия — гарпуны с редко расставленными зубьями, наконечники стрел, похожие на длинные иглы, сломанные рыболовные крючки, костяные мотыги, долота, орудия из рога лося, куски рогов со следами надпилов… Теперь канава заброшена, успела зарасти мелкими сосенками, но я уже знал, где что следует ожидать при раскопках.

— Это что-то новое. Такую керамику я ещё не видел. Её специальным значком на плане отмечать или как? — спрашивает у меня подошедший Слава и протягивает толстый пористый черепок, неожиданно лёгкий по сравнению с теми, к которым мы привыкли. — И на соседних квадратах у Игоря такой же нашли…

Вот-вот, то самое, что я с нетерпением жду!

— А цвет слоя не изменился?

— Вроде бы стал чуть светлее и помягче. Но, сам знаешь, я могу и ошибиться! В этих квадратах мы уже на следующий горизонт вышли, вот когда по всему раскопу пройдём — тогда уже всё ясно станет. Ты мне скажи, что это за черепки? Тоже какие-нибудь абашевцы?

— Нет, это волосовские черепки. Для этих людей ещё только забрезжила заря металла. Абашевцы, как ты знаешь, были животноводами и металлургами. Они жили после фатьяновцев, возможно, в чём-то наследовали им… А волосовцы фатьяновцам, по-видимому, предшествовали. Они были охотниками, рыболовами и, возможно, первыми в этих местах огородниками…

— …от которых и ростовчане пошли, да?

— Уймись…

Мы подходим к квадратам, где была найдена волосовская керамика, и я вижу, что слой из чёрного стал коричневатым, в нём больше крупнозернистого песка и появилась та мягкая рыжая труха, которая остаётся с течением времени от множества истлевших рыбьих костей.

— Вот это и есть слой, о котором я тебя предупреждал, — говорю я Славе. — Поставь сюда кого-нибудь внимательного из ребят, чтобы чистили как можно осторожнее: должны пойти кости, и… в общем, может быть много интересного. Так что нужен глаз и хорошая рука.

— Может быть, я сам буду здесь чистить? — предлагает Слава и, опережая мой вопрос-возражение, добавляет: — А отмечать находки может и Михаил, он уже в курсе дела. Что скажешь?

— А может, я тоже хочу здесь расчищать? — неожиданно протестует Михаил, как всегда подошедший посмотреть и послушать.

Можно, конечно, но…

— Миша, разве вы кончили зачищать стенку на втором раскопе?

— Я… Ну, там ещё немного, и я подумал, что здесь…

— Всё понятно, Миша. Стенку нужно зачистить сегодня же, чтобы её можно было сфотографировать, и вы это сделаете лучше, чем кто-либо другой. А потом, если есть желание, пожалуйста, разбирайте этот слой до конца! Договорились? Вот и хорошо. И знаешь, Слава, — поворачиваюсь я к своему помощнику, — начинай эту керамику отмечать уже на новом плане, ну, скажем, прибавив в треугольник ещё крестик. Помни: главное сейчас — кости…

Я перехожу к Игорю и Ольге. На их участках тоже кое-где показался коричневый слой, и среди вынутых черепков я нахожу

волосовские. Очень хорошо! Значит, всё это не случайно и я могу рассчитывать здесь уже не на единичные волосовские вещи, но на слой, а стало быть, и на волосовские костяные орудия.

…«На переходе от камня к металлу». Первые украшения из меди. Первые маленькие лезвия ножей и шилья. Впрочем, всё это совсем недостоверно, и, сдаётся мне, медь появляется впервые не у самых волосовцев, а только у их отдалённых потомков, сохранивших отличительный знак своего происхождения — вот эти толстые лёгкие черепки, пористые от выгоревших примесей толчёных раковин, коры, травы, украшенные столь же обязательными оттисками двойного зубчатого штампа.

Родственники? Может быть. А может быть, и нет. За тысячу с лишним лет многое могло произойти.

Так, у волосовцев ранних, пришедших откуда-то с северо-запада, быть может, с берегов Балтики, мы находим украшения из балтийского янтаря. Янтарные подвески, фигурки, бусы буквально усыпают их скелеты, когда удаётся наткнуться на могильник этих людей.

Но меди или бронзы у них нет. Всё из камня — прекрасные широкие кремнёвые кинжалы, похожие на кинжалы додинастического Египта, сегментовидные рыбные ножи, кремнёвые фигурки, служившие то ли амулетами, то ли просто украшениями, и тщательно вышлифованные желобчатые тесла. А наряду с этим столь же ювелирно изготовленные костяные долота, проколки из трубчатых костей птиц, роговые мотыги, пешни и — в отличие от кремнёвых — удивительно натуралистические изображения зверей и птиц. Не то чтобы у этих загадочных людей костяных орудий было больше, чем у остальных, нет. Почему-то случилось так, что слои поселений волосовцев в отличие от их предшественников и следующих за ними по времени других племён неизменно оказываются лежащими во влажном песке, сохраняющем кость, тогда как у других всё это исчезло без следа, если, конечно, не считать болотных поселений. Вот и на Польце, похоже, то же самое…

Хотел бы я знать, за каким лешим двинулись эти люди со своих насиженных мест в Восточной Прибалтике или оттуда, где они сидели до этого, в наши леса? И не только в наши — в Карелию, к Белому морю, на теперешний русский Север.

Как можно видеть по их большим могильникам, селились они всегда надолго, основательно зарываясь в землю на самых подходящих для этого местах. Они несли в эти леса не только янтарь — они несли свой отличный от здешних жителей взгляд на мир, новые идеи отношения к этому миру, новые возможности его преобразования.

Кремнёвые фигурки, которые археологи находят на их поселениях, в конце концов тоже своего рода тайнопись, ибо не для развлечения, не для минутного любования извлекали они из кремня всех этих маленьких человечков, медведей, лис, гусей и уток, змей и многое другое, чему по неведению своему мы не можем подыскать имени. Что-то мы сможем узнать, о чём-то догадаемся сравнивая и сопоставляя, но это навсегда утраченное звено останется для нас загадкой, привлекающей своей иррациональной тайной, заставляющей верить, что именно в ней и лежит секрет исчезнувшего в тысячелетиях народа.

Не первый раз мне становится не по себе, когда, смотря на сверкающую под солнцем Вёксу, я думаю, что она вот так же текла мимо этих берегов и двести лет назад, и восемьсот, когда, тонко просвистев, вонзилась в песок стрела с железным остриём, и четыре тысячи лет назад, когда тут стояли хижины загадочных волосовцев, и раньше, много раньше…

Течение реки — как течение времени: что-то оно смывает, что-то оставляет, и в момент внезапного прозрения чувствуешь себя как бы между двух волн — одна выбросила тебя на песок, оставила и откатилась, а ты со страхом и недоумением ждёшь другой, которая вот-вот нахлынет и унесёт тебя снова в бесконечность…

Задумавшись, я не сразу услышал, что меня зовут. Игорь стоял рядом и тихонько повторял:

— Андрей Леонидович, вы посмотрите там у меня… Вы посмотрите, Андрей Леонидович, гарпун вроде бы костяной там…

— Гарпун?!

— …и осторожно так чистил кисточкой, а всё равно крошится! Я уж сказал, чтобы там пока ничего не трогали на этом квадрате, дело такое, что попортить всё можно. Вы уж сами, Андрей Леонидович, посмотрите. Я говорил Вячеславу Михайловичу, а он сказал, чтобы вас позвать…

— Всё понял, Игорь, спасибо. Так где он, твой гарпун?

Точно, гарпун. Темно-коричневый, поблёскивая корочкой шлифовки, гарпун обозначился среди песка и коричневой трухи во всей своей красе. И большой! Пожалуй, даже больше того, что я нашёл в обломках на Теремках. Крупные зубцы увенчивают один его край, и, кажется, был цел даже насад — до того, как по нему прошёлся совок или лезвие лопаты. В общем-то, сохранился не сам гарпун, лишь его шлифованная оболочка: внутри под тонкой глянцевой корочкой видна костяная труха.

М-да, придётся здесь повозиться…

Вокруг меня столпились школьники, сбежавшиеся со всего раскопа. Пусть смотрят! Кончиком перочинного ножа я выбираю

песчинки вокруг гарпуна, едва дотрагиваясь кисточкой, сметаю их в сторону и в то же время стараюсь прикрыть бумагой и собственной тенью гарпун от солнца, чтобы оно не высушило сырую кость, не разорвало бы окончательно её своими лучами.

— А где же Слава?

— Я здесь. Что, за бээфом сбегать?

— Пошли лучше Михаила. Впрочем, вот и он сам… Миша, вы знаете ящик под окном? Да, тот самый, вьючный, в котором спирт. Но спирт сейчас не нужен. Там стоит бутыль с ацетоном — я думаю, вы отличите ацетон от спирта? Вот и хорошо. БФ — клей БФ — под кроватью. Возьмите пустую бутылочку и разведите в ней БФ. На десять частей ацетона — одна часть клея, не забудете? И обязательно захватите тоненькую кисточку, слышите, Миша, кисточку!..

Михаил исчезает. Сейчас он принесёт состав, которым мы по капле будем пропитывать эту костную труху, обволакивая поверхность гарпуна белой пористой плёнкой. Чехол этот сохранит общую форму предмета, не даст ему деформироваться, в то время как проникающий внутрь раствор будет собирать и прижимать друг к другу ненадёжные хрупкие частицы костяного тлена.

Я снова присаживаюсь на корточки, склоняюсь над гарпуном, чтобы его лучше очистить от песчинок, и в этот момент раскалённая игла вонзается в мой локоть. Слепень! От внезапного укуса рука дёргается, и нож, который до того послушно скользил по-над костью, со всего размаху вонзается в гарпун, выбрасывая его обломки на поверхность раскопа.

Так-то вот…

— Ну что смотрите? Сколько раз вам говорить, чтобы в раскопе не толпились? — с нарочитой строгостью обращается Слава к зрителям. — И гарпун самый обыкновенный, туда ему и дорога, благо весь трухлявый был… Всё равно морока с ним только одна! Следующий крепче будет. Правда, Игорь?

Нехотя все расходятся по своим местам. Игорь шмыгает носом и пытается собрать обломки на лист бумаги. Что ж, если целого гарпуна у нас нет, то по этим кусочкам можно будет допытаться восстановить его в рисунке.

В этот момент появляется запыхавшийся Михаил с бутылкой и кистью.

— Где гарпун? — спрашивает он у Славы, тяжело дыша.

— Гарпун? — переспрашивает Слава и мрачно шутит: — Слепни растащили! Пока ты прохлаждался… А бутылку поставь в тенёк, ещё пригодится. Перерыв! — возглашает он, взглянув на часы Михаила.

* * *

Есть слово: нельзя иначе.
И снова — как будто рядом
Опять — и ветра, и дачи,
Деревни и палисады…

Проходишь, как в сон, — сквозь щели,
Сквозь зной, сквозь жару и холод
Воспоминаний.
Через
Мглистый туман былого.

Только ведь сам, как миф, ты!
Столько — уже не свяжешь.
Липы — как эвкалипты,
Елей лихая тяжесть…

Вот и пришло начало:
Просишь у жизни сдачи.
Тратишь себя — всё мало!
Может ли быть иначе?

45

Казалось бы — что мне? — а последние дни не могу отделаться от какой-то тайной тревоги после разговора с Даниловым и Королёвым. Как будто что-то должен сделать… но что и как? Озеро меня волнует, озеро! Его судьба. Впрочем, судьба озера — судьба края: маленького древнего города, чей чистый и тихий облик сложился за восемь столетий, этих лесов, полей, болот, лесных речек… А центр всего, сердце этих мест, которое управляет и климатом, и уровнем почвенных вод, мощью леса, цветением и увяданием трав, птичьими голосами, словом, жизнью всей, — оно, Плещеево озеро.

И чем больше я думаю о его дальнейшей судьбе, чем больше вспоминаю всё, что собрано его исследователями, что сам я о нём знаю, тем тревожнее на душе.

Насколько удалось выяснить, план реконструкции Переславля действительно существует. Ведь, кажется, что проще: хочешь создать новый большой промышленный центр — так и создавай на пустом месте, удобном для подъездных путей, сырья, железнодорожных магистралей, или в ещё только осваиваемом краю, куда отовсюду потянутся новые молодые жители, у которых их собственная судьба окажется тесно связанной с судьбой нового города. Так нет же, всё наоборот! Почему-то для таких «реконструкций» выбирается всегда город древний, который надо не то что перепланировать — снести с лица земли и заново построить!

А при этом, естественно, и расходы в десятки раз больше, и вред для окружающей природы, и неудобство для жителей — старых и новых одинаково — не подсчитать…

Всё это грозит Переславлю, который собираются увеличить в шесть с половиной раз. Зачем?! Неужели нельзя нигде в другом месте построить комбинат киноплёнки? Достаточно того, что первый же выброс сточных вод с маленькой фабрики, построенной здесь в середине тридцатых годов, уничтожил всех раков не только в Плещеевом озере, Вёксе, озере Сомино, но и по всей Нерли Волжской. Очистные сооружения? Ну допустим, что они будут, даже очень хорошие. Предположим даже, что, как запланировано, все сточные воды после очистки пойдут не в озеро, а в обход него, куда-то за Сомино, в Нерль. Ладно. Пусть гибнет Нерль, часть Верхней Волги у Скнятина, где давно уже царствуют сине-зелёные водоросли. Главное-то не в этом. Главное — в той воде, которая необходима для нового города и его новой промышленности, воде, которую рассчитывают качать и прямо из

озера, и из скважин, опущенных к тем водоносным пластам, что питают само озеро.

Сердце края. А что произойдёт с сердцем, если перерезать сосуды, подводящие к нему кровь?

Чем больше я наблюдаю озеро, чем больше я о нём знаю, тем увереннее говорю: нет, Плещеево озеро — не чаша, налитая водой. Её нельзя пополнить или убавить, вычерпать до дна и снова налить, как те рыборазводные садки, куда по весне запускают молодь, чтобы к осени спустить воду и снять урожай рыбы.

Озеро — это живое существо, сложный организм, или, говоря современным языком, «система» со своим кровообращением, своими уникальными обитателями, энергетическим балансом. И всё это складывалось, создавалось не за годы, не за столетия, а за десятки тысячелетий, проверялось, притиралось, видоизменялось, чтобы наконец отлиться в эту столь совершенную форму, пленяющую наш глаз и воображение.

Всё ли мы знаем о нём?

О Плещеевом озере — его растительности, рыбах, планктоне, микро- и макрофауне, химическом составе, температурном режиме написано вроде бы много. Листая зимой в библиотеке эти труды, прикидывая и сравнивая с собственными наблюдениями, я видел, что и это «множество» не так уж велико. Известен ли нам секрет его чистоты? Нет. Как и почему в этом уникальном водоёме — нашем европейском Байкале — со времён последнего ледникового периода сохранился уникальный вид сига, переславская ряпушка? Что такое его воронка: карстовый провал? Или, может быть, это чудо природы было создано ударом гигантского метеорита миллионы лет назад? А может быть, это остаток широкого и глубокого каньона, который проточили в осадочных породах ледниковые потоки предшествующих оледенений? Всё это лишь догадки, более или менее вероятные.

А вот доказательство того, что это действительно живой организм, в котором ничего «ни убавить, ни прибавить» нельзя, — такое доказательство существует.

Одна из удивительных особенностей Плещеева озера — обилие родников, поднимающих из его глубин к поверхности мощные восходящие струи ледяной воды. Зимой, когда снег и лёд покрывают озеро толстой бронёй, струи протачивают эту броню снизу, как будто бы на дне озера установлены мощные гидромониторы. Приток извне в озеро невелик — весенние паводки и дожди поднимают его уровень всего лишь на несколько десятков сантиметров, в обычное же время лета мелководные закраины и обширность зеркала водоёма, по логике вещей,

должны были бы привести к его испарению и загниванию: несколько ручьёв и три маленькие речки, к числу которых можно причислить и Трубеж, в водном балансе озера особой роли не играют. Всё оно держится на глубинных подводных фонтанах, которые создают в озере сложную систему внутренних, роднящих его с живым организмом течений, охлаждают его в самые жаркие месяцы, освежают, препятствуя развитию гнилостных бактерий, и сохраняют возле дна, где держится ряпушка, температуру, близкую к нулю, — температуру древнего приледникового водоёма, в котором эта ряпушка когда-то прижилась.

Там, глубоко в земле, созданный за миллионы лет природой, работает безотказный гигантский рефрижератор, регулирующий и поддерживающий эту уникальную гидросистему. Выключи его, переведя его фреоновые потоки на городской водопровод, — и придёт конец озеру…

Об этом и говорил Королёв, нападая на нашего главного инженера, который был ни в чём не виноват. Впрочем, на Вёксу-то он и сейчас покушается. Хочет ещё выше плотину поднять, чтобы было своё, «Купанское море». Ему что, он приезжий, городской, не понимающий, что ничего нет проще, как безвозвратно погубить водоём. Стоит его только запрудить, остановив бегущую живую воду, как она начнёт застаиваться, загнивать; из края в край, а потом и вглубь её захватят вездесущие сине-зелёные водоросли, возникшие ещё в докембрии, от засилья которых природа мучительно очищалась два с половиной миллиарда лет, — и придёт конец водоёму, ибо что делать с этими водорослями, никто сейчас не знает…

Неужели такая судьба когда-нибудь может постичь и Плещеево озеро? Страшно подумать. Реальная опасность уже нависла, и надо что-то делать для его спасения. Впрочем, тут ведь вопрос не частный: создавать на месте маленького древнего города новый, современный — не то ли самое, что на старое дерево посадить молодой привой? Опытные садовники знают, что старые корни держат только свой ствол; новым побегам нужны новые корни и новая почва…

46

Мы прорвались сквозь четыре тысячелетия, слагавших этот чёрный и маркий культурный слой, где перемешаны народы, эпохи, культуры, и очутились на белом песке древней озёрной отмели. Вот тут-то и начал я хоть что-то понимать. Если не в людях, то хотя бы в собственном раскопе.

Нет, не случайно оказалась здесь и костная труха, и волосовская керамика.

На фоне белого озёрного песка теперь хорошо виден огромный коричнево-серый овал, заполненный черепками, кремнем, костями рыб и животных. То там, то здесь из этой толщи появляется типичный для волосовцев широкий, с прямым краем скребок, обломок какогонибудь костяного орудия, мягкие, размокшие от сырости, но такие характерные для них пористые черепки. Жилище. Точнее, вытоптанное в полу углубление от жилища, очерчивающее его прежнее жилое пространство. Маловато осталось? Что поделать — спасибо и на этом! И сохранилось всё только потому, что после волосовцев на этом месте долго жили берендеевцы, засыпав впадину своими черепками и отбросами, плотно утрамбовав всё своими пятками.

Такая «начинка» сохранила низ впадины от размыва, когда уровень Вёксы поднимался и культурный слой, лежащий сверху, оказывался полностью смытым вот до этого основания. В этом и заключена разгадка «костеносности» волосовских слоёв. Владельцы балтийского янтаря, изготовлявшие такие характерные сосуды, прекрасные кремнёвые ножи и фигурки, появились в наших местах, когда уровень рек и озёр стоял чрезвычайно низко — ниже, чем когда бы то ни было после. Вот почему довольно скоро места их поселений стали подтапливаться водой, были перекрыты новыми отложениями песка и ила, надёжно законсервировав в своей толще от быстрого разрушения кости рыб, животных и изделия из них.

Сейчас мы методично разбираем рыхлый рыжеватый слой, выстилающий дно жилой впадины, пытаясь извлечь из него максимум информации.

Слава опять идёт ко мне — значит, что-то нашёл.

— Ничего особенного, снова волосовская керамика, — говорит он в ответ на мой вопрошающий взгляд. — А вот это, посмотри, мне кажется, костяная подвеска. Только странная она какая-то. И не из зуба, а просто из куска кости…

Да, на кость похожа, и лёгкая она, только, сдаётся мне, материал этот поплотнее кости будет… И не камень: маленький

чёрный кусочек с округлыми краями, как бы несколько обгоревший. Заметив у одного края углубление, я попытался травинкой выковырнуть набившиеся туда песчинки, но ямка оказалась сквозным отверстием, просверлённым с двух сторон.

Игорь, который и нашёл эту подвеску, заглядывал через плечо Славы.

— А на плане вы отметили, Игорь?

Он кивнул и показал план: подвеску нашли внутри жилища, возле одной из не существующих уже его стенок.

Странная всё же эта кость… Смочив палец, я притронулся к ней, но, убедившись, что на воду подвеска не реагирует, опустил её в реку. От пальцев по воде поплыла струйка коричневой мути, и…

Ах, как был хорош этот золотисто-красный кусочек ископаемой смолы, когда он лежал на моей ладони и в паутине его трещинок, в свежем изломе маленького скола билось и горело — не наше — жаркое солнце третичного периода! Время изъело поверхность, она стала матовой, тусклой, но стоило её опять намочить, как на минуту к янтарю возвращалась его молодость и он снова сверкал и горел, как в то время, когда впервые был извлечён из синеватой плотной глины Куршской косы…

— Янтарь? — чуть дрогнувшим голосом спросил Слава. — Вот недаром, значит, ты говорил, что с волосовцами всегда янтарь бывает… А ты чего глядишь? — накинулся он на подошедшего Михаила. — Игорь вон нашёл янтарь, а ты почему не находишь?

— Вот посмотрю и тоже найду, — парировал тот. — Мне проще найти, я копаю, не то что некоторые…

Выписана этикетка с указанием места находки, найден пустой спичечный коробок, а я всё перекатываю на ладони эту янтарную подвеску, украшавшую ожерелье неведомой мне женщины, и понимаю, что никакая фантазия, никакая логика не позволят мне узнать, при каких обстоятельствах, в какой трудный час была потеряна эта драгоценность — всего лишь для того, чтобы через четыре с половиной тысячи лет определить возраст таких вот черепков… И только-то?

47

Ди-ка-ри-ха… Мягко, с придыханием я произношу это слово, перекатывая его во рту, словно спелую ягоду земляники, наслаждаясь запахом её и предвкушая острую сладость сока, который разольётся пронзительной свежестью с чуть уловимой кислотой, когда языком прижмёшь к небу шероховатый упругий плод.

Третий год я повторяю это имя.[15] Третий год, как на свидание с любимой, я вырываю из переславского лета две недели, забыв на это время о коричневых подушках торфяных болот, покинув Вёксу с её бесчисленными комарами, стоянками, черепками, вырвавшись из плена смолистых сосновых боров, променяв всё это на крутые высокие склоны над озером, поросшие дубняком и орешником, на далёкие горизонты в предвечерней дымке, куда каждый вечер скатывается шарик солнца, сплющиваясь и растекаясь, словно капля расплавленной меди из маленького фатьяновского тигелька…

Обычно это случается в августе, когда из окрестных садов тянет острым, кисловатым ароматом наливающихся соком яблок и будят меня по утрам не гудки мотовозов, а разноголосая перекличка деревенских петухов и самые первые лучи солнца, ещё не добравшиеся до тенистой низины Вёксы.

Здесь всё иначе, всё по-другому. Вместо большой, многолюдной экспедиции — всего лишь десяток ребят, славных деревенских мальчишек и девчонок, которым не надо объяснять, как держать лопату, которым всё интересно, и дело, которое ты делаешь, оказывается и их делом тоже, потому что это самая что ни на есть «их» земля, на которой и Криушкино стоит без малого десять, а то и больше веков. Куда до Криушкина Москве! Так оно и есть. Стоит только полазать по откосам, продираясь сквозь чащу кустарника, чтобы под деревней на склонах увидеть разрытые курганы, а чуть выше, на месте современных огородов — чёрное пятно самого раннего поселения, первоначальной деревни, от которой пошла и эта, Криушкино, — пошла как побег от корня.

Плотно садится человек на землю!

И всё здесь основательно и добротно, начиная от земли, пласты которой из года в год, из столетия в столетие удобряли, засевали, вскапывали и боронили, придавая ей густо-чёрный благородный цвет плодородия, и кончая густым яблочным настоем осени, каждый год отмечающим радостный конец страды земледельца; добротно, как эта широкая деревянная кровать, на которой можно разметаться хоть поперёк, — «княжеская» кровать,

на которую клали новобрачных в той же клети, где я лежу сейчас, скинув алое стёганое одеяло и чувствуя, как сквозь кожу входит в тело свежесть и бодрость раннего солнечного утра…

За маленьким, полузабитым досками окошком сверкает глянцевая листва раскидистой вётлы, шелестящей возле дома. У завалинки что-то кудахчут куры, слышится наставительное «ко-ко-ко» петуха. Всё, как было год и два назад, как будет ещё не раз в этом году, а может быть, и на следующий год.

Вот только нет ещё яблок, прячущих свои зелёные завязи в листве садов, тех яблок, от запаха которых я выходил немного одуревшим каждое утро.

Под окном большой деревянный ларь, кадки. Притулился в углу оставшийся от прошлого сезона рулон упаковочной бумаги — не надо в этом году сюда брать! — рейка для теодолита, полосатые разноцветные метровые рейки. Тут же в ящике лигнин, пёстрые коллекционные мешочки, связки колышков, что из года в год забиваем на новых раскопах. Под потолком на железном крюке висит старый фонарь, в другом углу — полушубки и телогреи. Под ними стопкой сложены чистые — выколоченные и выстиранные — мешки для яблок и для картофеля… Вот ведь совсем из головы вон, что приехали мы сюда не для отдыха, а за картофелем — кончилась в Купанском картошка!

Впрочем, об этом пусть заботится Слава, к которому от Саши перешли обязанности нашего экспедиционного завхоза: Криушкино его родная деревня, здесь у него в каждом втором доме родственники или свойственники, всех он знает здесь, пусть и добывает.

За приоткрытой дверью скрипят половицы.

Сторожко, боясь разбуди меня, ставит самовар Евдокия Филипповна, маленькая, ссохшаяся старушка, как-то полузабытая сыном, уехавшим в Переславль. Поэтому нас, приезжающих на раскопки, она встречает как собственных детей, не зная порой, как обогреть и обиходить. И, с благодарностью принимая хлопоты её, всякий раз я думаю со щемящей болью, что порою совсем немного нужно для старого, завершающего жизнь человека: даже не забота и внимание, а лишь разрешение проявить заботу, разрешение принять участие в чужой жизни, внося в неё свою посильную лепту как утверждение смысла своего, ещё длящегося существования.

Вот и теперь она суетится спозаранку, боясь разбудить ненароком и в то же время стараясь, чтобы всё было готово, лишь только я открою глаза… Но сегодня — воскресенье. Сегодня можно и не торопиться вставать, благо день «неприсутственный».

Я снова утыкаюсь в подушку и чувствую себя словно

плывущим по озеру. Веет ветер; от висящих в углах сухих связок трав тянет запахом полыни и ромашки; с плеч моих сваливаются все заботы, и я снова такой же, каким бродил здесь много лет назад с рюкзаком и ружьём, ещё ничего не зная ни о неолите, ни о фатьяновцах, разбивая на берегу палатку и выкидывая на шесте — ох уж эта романтика! — чёрный «роджер», пробитый достаточным количеством утиной дроби…

Но как же начиналась Дикариха?

Может быть, с первой разведки? Или раньше, ещё в первый приезд на охоту? Кольнуло ли в сердце тогда предчувствие, дрогнуло ли что-нибудь во мне, когда с набитым рюкзаком, с ружьём за плечами я проходил внизу по берегу? Что-то было, но что? Теперь не вспомнить, как это всё начиналось, исподволь, намёком, как начинается где-то на равнинах путь среди однообразных полей, приводящий к холоду горных вершин.

Это было буйной и радостной весной 1959 года, когда разом начали сходить снега, обнажая дымящуюся в истоме пара волглую землю, когда на озере лопался громами лёд и половодье затопило низкие берега Вёксы, так что на лодке можно было идти напрямик, расталкивая льдины, борясь с водоворотами и вылезая по колено в воду на зелёные топкие луговины…

Дикариха началась для меня внезапно той буйной и радостной весной, когда разом начали сходить снега, обнажая дымящуюся в истоме пара волглую землю, когда на озере с пушечным громом лопался лёд, а половодье затопило низкие берега Вёксы так, что на лодке можно было идти напрямик, расталкивая льдины, борясь с водоворотами и только изредка влезая по колено в воду на зелёные топкие луговины, чтобы одолеть неожиданно подвернувшийся бугор или корягу.

Мы жили тогда в Усолье втроём — моя приятельница, её друг и спутник, числившийся тогда лесником и поэтом, молодые, влюблённые друг в друга, в весенний лес, в плотву, что золотистой стопкой подавала нам на завтрак из печи хозяйка, — плотву, которую мы ловили утром и вечером, а днём бродили по тёплому солнечному лесу, взбирались на дюны у Куротни и смотрели, как, пробираясь через навороченные у берега ледяные торосы, входят по пояс в воду рыбаки с длинными тонкими удочками.

В один из таких дней мы отправились на озеро. Оно было вспухшим и солнечным. Справа в тростниках гомонили рыбаки, которых никак не могли разогнать патрули рыбнадзора, а здесь вода подступила под самые кусты, и в переплёте их корней в любовном азарте билась и плескалась ошалевшая от весны и солнца плотва. В прозрачной холодной воде над песчаным дном

метались чёрные стрелы спинок, а в озере, далеко, что-то ухало и лопалось, словно из его глубин поднимались огромные пузыри газа.

Жизнь наполняла нас всклень, как это озеро, выступившее из обычных своих берегов. Каждое ощущение, каждый звук, каждая мысль или слово, произнесённые тогда, отпечатывались в памяти глубоко и резко, как будто этому дню было суждено стать переломным в наших судьбах, открыв перед каждым нечто такое, что повернёт его жизнь и будет направлять её все последующие годы.

От Кухмаря в нашу сторону по воде брёл человек. Я заприметил его ещё далеко, когда он казался лишь чёрной точкой, медленно перемещавшейся по вспухшей воде и временами исчезающей в кустах, если встречалось преглубокое место. Наконец он приблизился к нам настолько, что стало видно — это ещё один рыбак из местных, стремящийся, как и все, в тростники за Вёксой. И тогда, не сговариваясь — лишь только он поравнялся с нами, — мы пригласили его к нашему костерку. Будто специально предназначенная для него, в лодке нашлась свободная кружка, и пускай рубиновая жидкость далеко не доставала до её половины — дело было не в вине, он это понял без объяснений, — всё это разворачивалось каким-то символическим, нам самим до конца непонятным действом всеобщей взаимосвязанности. И хмельны тогда мы были не от сухого грузинского вина (ну что, в самом деле, одна бутылка для четверых здоровых и молодых людей?), а от воды, воздуха, от солнца, от нашей молодости, когда всё, казалось нам, ещё только начинается…

Уже прощаясь, рыбак пригласил нас к себе в Криушкино, видневшееся на высоком восточном берегу озера.

— Вы Вальку Рыжего спросите, — говорил он, широко улыбаясь, — меня, значит, так меня кличут! И лодка у меня есть, всегда на озеро сходим…

Я ответил, что в Криушкино, конечно, приеду, только мне нечего там делать, нечего копать.

— И всё равно приезжайте! — тряхнул головой на прощание Валька Рыжий. — Ваше дело такое, может, что и найдёте…

Он ушёл дальше по берегу, к тростникам, где ждали его другие рыбаки.

Майские праздники кончались, но, собираясь в Москву, мы решили идти в Переславль пешком, вокруг озера, — мимо Кухмаря, мимо Александровой горы с Ярилиной плешью, где славяне славили своего весеннего солнечного бога, жгли костры на Ивана Купалу и водили хороводы.

Тогда-то, проходя под Криушкином и по привычке смотря на стенки свежих канав вдоль дороги, я увидел черепок. Сапёрная лопатка в ту пору всегда была у меня в рюкзаке, а этого черепка я ждал давно. Три или четыре года подряд я проходил по бугру перед большим оврагом и шестым чувством ощущал, что здесь должно что-то быть. Но каждый раз ничего не находил. А тут была свежезачищенная канава, и в её стенке, словно специально для меня, была обнажена половина сосуда с непонятным орнаментом.

Другая половина, разбитая на куски, лежала на дне кювета.

Большой овраг, выходивший на этот бугор, назывался Дикарихой.

Я приехал сюда на раскопки через два месяца. Здесь не было видно чёткого культурного слоя, и было непонятно, как оказался тут целый сосуд, да ещё всего-навсего в пятидесяти сантиметрах от поверхности земли? Три лаборанта — Илья Морозов, Римма, Света Фингерт — и восемь криушкинских ребят составили мой отряд. Мы заложили траншею через весь бугор от дороги к озеру и начали раскопки.

Приехал я сюда тем же летом, через два месяца после находки. Здесь не было видно чётко обозначенного культурного слоя, и совсем было непонятно, каким образом тут оказался целый сосуд, да ещё так близко от поверхности?

Три лаборанта, приехавшие со мной, да восемь криушкинских ребят составили нашу экспедицию. Мы заложили траншею через весь бугор, от дороги к озеру, и начали раскопки. Каждое утро мы спускались по крутому склону, скользя по ещё влажной траве, а назад поднимались тяжело дыша, останавливаясь, чтобы перевести дух, потому что лето было самое жаркое из всех, которые я помню в этих местах, и озеро отступило от берегов, обнажив илистые закраины, по которым бродили пёстрые колхозные коровы.

Случилось это на второй… нет, всё же на третий день раскопок: мы успели не только снять дёрн, но углубились ещё на сорок сантиметров ниже.

В сухой пыльной супеси нельзя было увидеть никаких пятен. Изредка под лопатой взвякивал кремнёвый отщеп, иногда лопата выбрасывала черепок с ложнотекстильным узором. Два или три скребка — вот и весь наш улов за те два с половиной дня, что мы здесь работали. Нечего говорить, особенного энтузиазма это не вызывало ни у нас, археологов, ни у криушкинских ребят. А тут ещё и летний зной! После опыта первого дня работы мы решили изменить распорядок дня и делать большой обеденный перерыв на четыре часа, во время которых можно было не только спокойно

отобедать, но и переждать в тени дома полуденную жару.

Но пообедать не удалось.

Едва мы успели сесть за стол, как в окно постучали. Я выглянул. Возле крыльца стояла целая делегация, мал мала меньше, а во главе её — здоровый парень, как потом оказалось, брат того самого Вальки Рыжего, с которым я познакомился весной. По виду его чувствовалось, что он очень собой доволен.

Я вышел на крыльцо.

— Вы там не всё ещё докопали, — с довольной улыбкой сообщил мне парень под восторженными взглядами ребятни. — Мы там покопали сейчас… и вот что нашли…

С этими словами он протянул мне маленький горшочек — целый, без единой трещинки, по наружному краю которого шла змейка зубчатого зигзага. Остатки земли внутри и снаружи, его общий вид, схожий с первым, найденным в майские дни сосудом, — всё это не оставляло сомнения в его происхождении.

Накричать на таких «помощничков», отвести душу. Ну а толк из этого какой? Они-то из лучших побуждений, и в мыслях не держали напортить, сами и принесли… Э-эх!

— Лучше бы вы этого не делали, — наконец проговорил я, стараясь унять дрожь в руках, которыми крепко держал горшочек. — Ведь мы там ещё не кончили работу. А вы нам теперь очень многое испортили!

Парень был обескуражен. Улыбка неловко сползала с его лица.

— Извините, когда так… Конечно… Не знал я, как говорится. А то мы помочь хотели, чтобы как лучше, значит…

— Помочь? Да. Хм! Помочь… Очень хорошо, помочь! Хотели! Только в следующий раз вы сначала спросите, как это лучше сделать, ладно? — сказал я как можно мягче. — Хоть место-то вы помните, где его нашли?

— А как же! — Парень явно обрадовался перемене разговора. — Там и ямка осталась, всё как есть… Пойдёмте, сейчас покажу! Да вы же обедали, наверное?..

Обед? Какой уж там обед!

Сказав своим, что жду их на раскопе, что перерыв отменяется, я скатился вниз по зелёному склону оврага вслед за малышнёй. Второй сосуд. Значит, могут быть и ещё? Но почему они здесь?

Место, где стоял второй горшочек, ничем не отличалось от окружающего его грунта, как я ни вглядывался. Но в тот же день мы нашли ещё два сосуда, а на следующий день, когда к уже бывшей траншее был прирезан новый раскоп, — ещё три.

Все они были примерно на одной глубине и все различались. Одни сохранились целыми, другие были раздавлены тяжестью

земли, но их можно было целиком собрать и склеить. Были среди них горшочки с плоским дном, чаши вроде пиал, горшки с яйцевидным низом, крутыми боками и вполне современной горловиной с перехватом. Одни были украшены очень скромно — всего поясок под венчиком из трёх ямок, или, наоборот, выпуклин-жемчужин; другие несли на себе сложный узор из перемежающихся оттисков зубчатого штампа с зигзагами и свисающей книзу бахромой.

Ничего подобного до этого видеть мне не приходилось, но главное всё же заключалось не в узорах, которыми были украшены сосуды, а в их целости. После россыпей неолитических черепков, из которых в редком случае удавалось собрать часть сосуда, так странно было расчищать, фотографировать, а потом вынимать из земли, осторожно заворачивая в лигнин, целые сосуды!

Находить их было не только интересно — находить их было приятно…

И лишь на пятый день, когда у нас прибавился и опыт и сноровка, а главное, глаза привыкли к грунту и почва стала чуть более влажной, я увидел светло-серые пятна, в которых стояли эти сосуды. Пятна могильных ям

На этом месте был могильник. Могильник без погребённых.

Если бы я видел только культурный слой, то сказал бы, что копаю плохонькое поселение культуры ложнотекстильной керамики, потому что черепки были почти все ложнотекстильные, от больших яйцевидных сосудов с отогнутым венчиком, под которым шёл ряд ямок или выпуклин-жемчужин.

Но в этом же культурном слое были обломки… фатьяновских сосудов! Причем фатьяновцев не ярославских, а большей частью восточных, балановских.

Так, может быть, это фатьяновское поселение, перекрытое слоем ложнотекстильной керамики? Но причём здесь тогда могильник?

В могильнике была загвоздка. В могилах стояли разные сосуды!

Загадкой был уже самый первый. Он был похож на высокую чашу или пиалу с круглым дном, вертикальными стенками и чуть профилированным венчиком, так что края слегка отгибались наружу. Нижняя его часть не была орнаментирована, и только от перелома круглой чаши дна к вертикальным стенкам вплоть до венчика всё пространство было разделено на зоны отпечатками тонкого зубчатого штампа, а в этих зонах помещался зигзаг из пяти-семи косых зубчатых насечек — типичный фатьяновский узор! А тесто сосуда, наоборот, ложнотекстильное: чистая глина и в ней большие зёрна толчёного гранита — дресва. Итак,

орнамент фатьяновский, тесто местное, как и выделка — ленточный налеп, а форма приближается к формам сосудов ещё одной культуры бронзы — к абашевской. И все три культуры оставили в Переславском районе свой след, даже абашевцы.

В двух километрах от Дикарихи, на Кухмаре, П. Н. Третьяков нашёл абашевский курганный могильник

Но ведь от этого не легче! Если растения и животных можно скрещивать и получать гибриды, в которых присутствуют признаки обоих компонентов, то о гибридизации культур (читай — сосудов) речи быть не может. Правда, о том, что такое «культура», археологи спорят до сих пор.

Но таков был только первый сосуд. Второй походил на него отчасти, но имел уже уплощённое дно и не такой великолепный орнамент. А третий был просто ложнотекстильный — невысокий, сплошь покрытый мелкой рябью от зубчатого штампа. У него было плоское дно с закраинами, и, встреть я его в другой компании, ничтоже сумняшеся отнёс бы к началу, если не середине первого тысячелетия до нашей эры…

Трудно смириться с тем, что переиначивает прежние представления, не укладываясь в привычную схему опыта. Ну как может быть могильник без погребённых? Может быть, они просто исчезли, растворились в этой лёгкой, пылевидной супеси? Недаром и ямы выкопаны так мелко… Ведь ничего другого предположить нельзя! Да, бывают могилы без погребённых, кенотафы — гробницы, курганы, склепы, — но только в том случае, если человек умер на стороне, на чужбине, пропал в безвестности. И чтобы оплакать его смерть, чтобы молитвами, плачем и жертвами утишить боль живых от утраты, а душе покойного, мятущейся и одинокой, указать путь в царство мёртвых, подобные кенотафы устраивались не только в глубокой древности, но ещё древними славянами.

А здесь — нет, здесь было не так.

Не были рассчитаны эти мелкие ямы на тела покойных — не оставалось для них места, потому что они были малы, а если и случались достаточно велики, то в центре их оказывались поставленные туда сосуды. Горшки с заупокойной пищей. Рядом с горшками лежал то кремнёвый скребок, порой несколько, то нуклеус-ядрище, от которого отщеплялись кремнёвые пластинки, то кремнёвые отщепы. И — о радость! — в одной из ям оказался маленький бронзовый кинжальчик, а в другой — бронзовое височное кольцо, вещи, прямо принадлежавшие умершему человеку. Впрочем, и от человека кое-что оставалось. В нескольких случаях рядом с каменными скребками и сосудами мне удавалось найти следы небольшого свёрточка — может быть,

из кожи или ткани, — в котором лежали остатки молочных зубов, по-видимому сохранявшиеся при жизни человека, а после его смерти положенные в эти странные могилы.

Значит, с детских лет кто-то собирал и хранил эти свидетельства взросления, передавал их в чьи-то заботливые руки, чтобы после смерти человека предать земле и их…

Многое можно заметить при раскопках такого могильника. И следы оград вокруг ям, и остатки тропок, ведущих ко входу в ограду, и множество лёгких костров, горевших между могилами и вокруг всего могильника, — костров, на которых, вероятно, не раз и не два полыхала сухая золотистая солома, оставляющая не угольки, а только жар, прокаливающий докрасна почву, и лёгкий серый пепел.

Почему солома? Потому, что люди эти уже знали земледелие, жили оседло, вероятно, здесь же, рядом, на берегу озера, но значительно выше, чем лежат более ранние неолитические стойбища: там, где над песками залегают тяжёлые супеси и лёгкие суглинки, где хватает влаги и почва по весне достаточно мягка и сочна, чтобы её поднимать и засеивать злаками. Пшеница и ячмень — вот что возделывали эти люди, и зёрна этих злаков я неизменно обнаруживал в глине, из которой были вылеплены сосуды, поставленные в могильные ямы.

Век бронзы, век металла — век огня и земледелия. И отнюдь не в печи только сходились зерно и пламя. Нет, в сознании человека в то время устанавливается и утверждается таинственная взаимосвязь между затаённой в зерне жизнью, пробуждающейся под властными лучами солнца, и пламенем костра, превращающим холодный камень в яркий, послушный воле человека пластичный материал, превосходящий своей прочностью прежний камень. Этот новый материал уже одним существованием своим опровергал прежние представления о неизменности, долговечности, постоянстве форм предмета, подобно тому, как таинство пробуждения жизни в зерне опровергало прежние представления о смерти.

Вот почему вместе с открытием секрета плавки и возделывания земли в сознании человека утверждалась идея трансформизма, идея метаморфозы.

Берегов Плещеева озера эти идеи достигли во втором тысячелетии до нашей эры, в период одного из великих переселений народов. Тогда в движение пришёл, казалось, весь мир. Легендарные арийцы из Средней Азии и Прикаспия вторглись в долину Инда, сея смерть и разрушение; хетты потрясали своими походами Египет и Ассирию; двигались обитатели Западной и Северной Европы от берегов северных

морей; волны кочевых народов катились по причерноморским степям, и в наших лесах появились фатьяновцы.

Черепки фатьяновских сосудов оказались и на Дикарихе, внеся на первых порах ещё большую путаницу в общую картину.

Если бы не целые сосуды и замеченные наконец ямы, я утвердился бы в мысли, что копаю заурядное поселение позднебронзового или раннего железного века с «ложнотекстильной» керамикой. Да, на могильнике всё же был небольшой культурный слой. И слой этот имел прямое отношение к могильным ямам: сосуды из ям иногда оказывались точными копиями сосудов из слоя. Что же, выходит, слой этот откладывался именно в то время, когда здесь хоронили? Иными словами, люди жили на своём же кладбище? Это абсурд. Между тем черепки из слоя встречались в земле заполнения могильных ям. И не только черепки с «ложнотекстнльным» орнаментом. Здесь же, в ямах, я находил и фатьяновские черепки!

«Хорошо, — говорил я себе, — пусть так. Скорее всего на этом месте когда-то было кратковременное фатьяновское поселение. И место для фатьяновцев удивительно удобное: берег озера закрыт от северных ветров высокими склонами и, наоборот, открыт солнцу. Рядом — ручей со свежей водой, от него ещё видна ложбина; внизу у воды — сочная пойма, заросшая густыми травами, на которых и теперь выпасается колхозное стадо… Можно предположить, что фатьяновский скот приходил сюда на водопой, здесь его доили, горшки бились, отсюда и те осколки, которые мы подбираем сейчас. Значительно позднее, когда память об этих первых животноводах исчезла, по соседству с родником и оврагом возникло поселение людей, изготовлявших горшки с «ложнотекстильным» орнаментом. Но ручей остался, коровы у них тоже были, всё повторилось сначала. Только потом, может быть, потому, что селение перенесли на другое место, повыше, здесь устроили кладбище…»

Но подобные самоуговоры мало помогали. Среди густого скопления находок в культурном слое вдруг открывались могильные ямы, в которых стояли самые что ни есть поздние горшки — с плоским дном и невысоким поддоном, — при этом в земле, которая эти ямы заполняла, вообще не оказывалось ни одного черепка, ни фатьяновского, ни «ложнотекстильного».

А на сосудах из явно более поздних ям я неизменно обнаруживал… фатьяновский орнамент. Ну как тут не прийти в отчаяние?

Трудность заключалась ещё и в том, что в те годы такой могильник не с чем было сравнить, он был первым. Вот и приходилось ломать голову.

Топот на крыльце прерывает воспоминания. Слышен приглушённый разговор, затем в сенях громыхает и катится пустое ведро, прогибаются половицы, и в щель заскрипевшей двери просовывается белобрысая голова Славы:

— Ай-яй-яй! Дрыхнуть изволите, товарищ начальник? А ведь рабочие уже на раскоп пошли! Нехорошо, нехорошо…

— Брысь, Славка! Сегодня воскресенье.

Но он уже вошёл, а за ним, сопя, пролезает Михаил. Небось на работу так прытко он не встаёт… Всё, уже не поваляться!

— Что скажете, гвардейцы?

Михаил хмыкает и выставляет большой палец:

— Девчата здесь кадровые, не то что в Купанском! Когда сюда перебираться-то будем?

— Ну и ну! Верно, опять с петухами легли? — укоризненно качаю головой.

— А как же! — Слава улыбается во весь рот. — Произвели глубокую разведку. И картошка есть. Хоть два мешка, хоть три… Хорошая картошка, не вялая.

— Проснулся ли, Леонидыч? — робко перешагивает порог Евдокия Филипповна. — Поди, обормоты эти разбудили! Уж я их и пускать не хотела, думала, отоспишься. Чай, всё крутишься, всё торопком, и передохнуть тебе некогда… Ну что бы когда просто приехал, как все москвичи приезжают?!

— Так ведь, Филипповна, на то она и жизнь, чтобы крутиться! Вот и вы с самого утра на ногах, а какие у вас заботы?

— И-и, Леонидыч, у старого человека делов много. Да и не спится теперь, видно, всё в молодых годах проспала! А делов — то огород, то скотинка… Одна я. Делать не станешь — кто сделает? Ну, вставай, вставай, коли так! И самовар поставила, и картошки сварила, яички куры сегодня снесли, небось слышал утром, всё квохтали… Есть-то, чай, будешь! Егоровна вон творог приносила, прослышала, что ты приехал, да я её назад отослала. Спит, говорю, потом зайди…

— А вы как, питались? — спрашиваю у ребят, начиная одеваться.

Вместо ответа Михаил хлопает себя по животу. Звук получается тугим и выразительным.

…После завтрака, который в сравнении с нашими довольно скромными и однообразными харчами — Прасковья Васильевна готовить не мастерица — показался мне роскошным, мы отправились на Дикариху.

Порядок домов, выходящих на озеро окнами, стоит чуть ниже деревни и в стороне от неё, занимая место древнего славянского поселения и называясь Кундыловкой. Почему — до сих пор

допытаться не мог: не знают. Изба Евдокии Филипповны, одна из самых старых, стоит в дальнем от Дикарихи конце, почти над отрогом другого оврага, Гремячего, в глубине которого бьёт ключ и откуда берут лучшую для самовара воду. Поэтому к Дикарихе улица идёт как бы в гору, дома поднимаются всё выше по склону и наконец кончаются.[16]

Проходишь ещё один огород, вдоль которого плетётся тропа, и сразу выходишь на обрыв.

Место это я облюбовал ещё в самое первое лето, и каждый вечер приходил сюда смотреть на закат, на плывущие тучи, вспыхивающие то золотым, то красным, которые под конец словно наливались тяжёлой лиловой кровью, увлекающей их за горизонт, в темноту ночи. Отсюда виден весь Переславль, окрестные церкви и монастыри, далёкие холмы, лежащее глубоко внизу озеро — с устьями ручьёв, зарослями тростинка, отмелыми берегами — и уходящие вправо, к Волге, зелёные волны лесов.

Отсюда как на ладони виден лежащий внизу четырёхугольник старого раскопа, обозначенный отвалами по краям и кучей земли в центре. Два четырёхугольника — по обе стороны дороги. В этом году они должны соединиться. Дорогу начинают перестраивать, собираются её мостить, и дорожный отдел разрешил нам её вскрыть.

— …Я ещё подумал: и чего они весь день возле дороги копают? На геологов не похоже, на дорожников — вроде тоже нет… Может, думаю, раскопки какие? Ну и подошёл… — слышу, как Слава рассказывает Михаилу о нашем первом знакомстве.

Помню, как всё это было. Как раз на четвёртый день, когда начали открываться сосуды, на отвалах появился вихрастый, атлетического сложения паренёк в плавках, что прямо изобличало его московское происхождение: в деревне все в это время работают. Между тем он не только знал по именам всю ребятню, работавшую у меня на раскопе, но и разговаривал с ними весьма покровительственно и насмешливо, что те принимали как должное. Поздороваться с нами он не догадался, но болтал не умолкая, задавая вопросы и тут же отвечая на них своими домыслами и предположениями.

Наконец я не выдержал.

— Москвич? — спросил я паренька.

— Ага, — с готовностью откликнулся тот, — а что, очень заметно?

— Ещё бы тебя не заметить! Один только язык на три четверти у плеча… благо, он у тебя без костей! Советы давать, я вижу, ты горазд, а вот сам лопату вряд ли в руках держать умеешь. Верно?

Кто-то из малышей, стоящих на отвалах, хихикнул.

— А вы меня испытайте, — с обезоруживающей откровенностью ответил вихрастый. — Вот возьмите к себе… Я многостаночник: могу языком, могу, если надо, и лопатой…

— Если не проспишь завтра утром — приходи с лопатой, — ответил я. — А сейчас уже конец работы скоро…

На следующее утро Слава, как звали паренька, пришёл вместе со всеми к шести часам. Пришёл и остался с нами до конца раскопок — неистощимый балагур, весельчак, ни минуты не закрывающий рта, но работник действительно отличный. Он каждое лето отдыхал в Криушкине у деда с бабкой и был, что называется, здесь «своим» москвичом.

Зимой, разыскав меня в Москве, он попросился на следующее лето. И я его взял — на этот раз уже в качестве помощника, на которого мог вполне положиться…

Разгадать загадку Дикарихи удалось не сразу. Помогли все те же черепки. И ямы, в которых они были найдены.

Если выкопать яму в чистом грунте, а потом засыпать её этой же землёй, то в засыпке окажутся перемешаны чистый песок и глина с комьями дёрна. Так будет от верхних слоёв до дна ямы. Вот там, на самом дне могильных ям, вернее, в их нижней части, и следовало искать разгадку: какие черепки там лежат? Если бы во всех ямах внизу, ниже уровня культурного слоя, оказались одинаково черепки фатьяновские и более поздние, было бы ясно, что могильник возник после того, как здесь отложился культурный слой. Но в том-то и дело, что набор черепков в могильных ямах был неодинаков.

По составу встреченных черепков все ямы оказалось возможным разделить на три группы: в одной из них не было решительно никаких черепков, хотя они лежали под наиболее насыщенными находками слоями, в другой оказались только фатьяновские черепки, а в третьей — и фатьяновские и ложнотекстильные. Так всё стало на свои места.

Могильник возник во второй половине второго тысячелетия до нашей эры на берегу озера и чистого светлого ручья, вытекавшего из родника, по-видимому, в небольшой сосновой рощице, от которой остались следы корней в грунте. Тогда там и были выкопаны первые могильные ямы, в которые, кроме сосудов, не попало ни одного постороннего черепка.

Позднее на Дикарихе появились фатьяновцы. Маленький посёлок владельцев кладбища, как можно думать, находился чуть поодаль, по направлению к Кухмарю, но фатьяновцы остановились именно здесь, в священной роще. Почему? Да потому, вероятно, что у них не было иного выхода.

Что-то произошло с группой этих древних животноводов. Быть может, они спасались от какого-то врага, подобно тому, как два с половиной тысячелетия спустя половцы, спасаясь от татар, искали защиты у русских князей.

Оказавшись на чужой территории, фатьяновцы вступили в священную рощу, отдавая себя под защиту местных богов и духов предков, признавая их своими заступниками, готовые войти в их племя. Храмы всегда служили прибежищами преследуемым, и если боги не всегда помогали, то виноваты в этом, как правило, оказывались всё же не боги, а люди.

Что случилось с фатьяновцами? Могильник, как мы видим, продолжал расти и потом. Но вот что интересно: в следующих по времени могильных ямах, где встречаются фатьяновские черепки вместе с ложнотекстильными, на некоторых сосудах появляется самый что ни на есть фатьяновский узор!

Так, может, их всё же приняли?..

Необъясненным оставалось «поселение» ложнотекстильной керамики. Меня смущала незначительность находок и словно нарочитая небрежность многих орудий, как будто сделаны они были не для работы… И слишком мало было керамики — не больше трёх десятков сосудов, часть которых даже удалось склеить.

Разгадку я нашел только в прошлом году — и не здесь, а в Молдавии.

Вместе с Г. Б. Фёдоровым на его «Антилопе» мы возвращались из Алчедара в Балцаты. Возле одного села машина задержалась: заливали воду. Неподалеку, на противоположной стороне долины, виднелось деревенское кладбище — небольшой участок земли, обнесённый загородкой. Внутри — ни травинки, вытоптанная и голая земля. Я привык, что в России деревенские кладбища занимают, как правило, самые красивые и зелёные места, над могилами шумят деревья и ни серп, ни коса не трогают буйной и сочной травы.

Контраст меня поразил.

— А здесь такой обычай, — рассеял моё недоумение Георгий Борисович. — Здесь они, наоборот, вырывают всю траву. А когда приходит день поминовения усопших — собираются на могилы, пьют, едят и обязательно бьют ту посуду, в которой принесли пищу. Так что всё кладбище бывает усыпано черепками…

И тут я вспомнил о Дикарихе. А не является ли её «культурный слой» такими же остатками тризны, которая символизировала непрерывающуюся связь с ещё живущими членами рода? Тогда можно объяснить и эти слабые кострища, и то, что подклеиваются воедино отдельные черепки, и многое другое. Только

вот как связать с такой тризной кремнёвые орудия?

Но и это оказалось возможным.

Дикариха была первым памятником такого типа. Но уже на следующий год Т. Б. Попова, сотрудница Исторического музея, раскопала на Оке курганы, в которых тоже не было погребений, зато стояли сосуды, очень похожие на дикарихинские. А в насыпи курганов были кремнёвые орудия, обломки сосудов, угольки и следы кострищ.

Естественно, сначала она предположила, что курганы были насыпаны на месте ранее бывшей стоянки и эти черепки и орудия попали в насыпь из культурного слоя. Но проверочные раскопы, заложенные вокруг, показали, что никакой стоянки и в помине нет.

Это были тоже остатки тризны — только однократной.

Наш могильник относился к бронзовому веку — к самому концу его, когда на юге уже всходила заря железа. Но это была «бронза» без бронзы. За всё время раскопок мы нашли только три маленьких бронзовых предмета: миниатюрный кинжальчик, скорее символический, чем настоящий, тонкую бляшку с пупочкой и в самой древней яме височное кольцо с широкой раздвоенной лопастью… Вот и всё.

— А где же здесь черепки? — недоуменно спрашивает Михаил, потоптавшись на старых раскопах, пока мы со Славой обсуждаем, как лучше нам подготовиться к новым, откуда начинать и куда направить отвалы грунта.

— Черепки? Ишь чего захотел! — смеётся Слава. — Это тебе не Польцо. Тут каждый черепок на счету, хотя бы самый маленький. Знаешь, как Дикариху нашли? Вот послушай…

И он рассказывает своему приятелю то, о чем я вспоминал сегодня утром. Нет, конечно, совсем не то, а лишь самую общую суть, о которой я рассказываю всегда ребятам перед началом раскопок, чтобы им было интересно работать. А всё остальное, главное, — оно всегда остаётся закрытым для других.

Вот и сама Дикариха — маленькое кладбище, затерянное во времени, на которое я случайно наткнулся майским днём… Оно ничем не отличается от других, древних и современных, наполненное знаками скорби об ушедших, горькой памятью о них. Отсюда и кострища, на которых горели поминальные огни, и разбитые сосуды от ежегодной тризны, и тропки, ведущие в ограды, протоптанные ногами тех, кого, в свою очередь, сожгут где-то на стороне их дети и сородичи, чтобы потом, на родовом кладбище, поместить то, что, по мнению живущих, олицетворяло ушедшего…

Прощай, Дикариха, до скорой встречи!

48

…Мы ступаем по песчаному полу дома, покинутого его обитателями почти пять тысяч лет назад; ступаем след в след, будто и не было этих быстротекущих тысячелетий; подбираем оброненные людьми вещи и, склеивая черепки, в сознании своём пытаемся склеить призрачную картину былой жизни.

Чьей жизни — их или нашей?

Ведь сколько бы лет ни прошло, но, слепленные из тех же атомов, мы остаёмся плоть от плоти всех живших когда-то на этой земле, их кровь течёт в нас, мы видим их сны; и желания, смутные и тяжёлые, поднимаются в нас из глубин подсознания и толкают на поступки, в которых мы не всегда можем отдать себе отчёт… Сколько их, прежних, в нас — единственных и неповторимых?! И не только людей — трав, деревьев, животных, птиц, бегущей быстротекучей воды… Даже на этом маленьком клочке земли — сколько людей прошло через него, сколько топталось здесь, утрамбовывая то голыми пятками, то жёсткими каблуками этот прибрежный песок…

А если бы возможно было их всех собрать, подарить им хотя бы один день бессмертия, свести друг с другом, впустив их в нашу жизнь и нас самих приобщив к этому вечному потоку прошлого, к опыту его?

Но жизнь мудрее нас, и поток времени, размывая память о нас, некогда живших, скупо и строго отбирает лишь то, что потребуется тем, неведомым, идущим нам на смену из тьмы небытия, — нам самим, преображённым и себя не узнающим…

Вот и ещё один красный тёплый янтарик, рдеющий как уголёк далёкого костра. Среди черепков и холодных марких углей ловкие живые пальцы обнаружили его и извлекли на солнечный свет из небытия. И не в драгоценности его дело, а в том, что, сам пришелец, он хранит в себе «подорожную» тех людей, которыми был принесён сюда из далёкой Прибалтики — переходя из рук в руки, плывя по таким же речкам в челнах из берёсты или странствуя по лесным тропинкам в кожаном мешочке, расшитом иглами ежей и сверлёными раковинами.

Здесь, на полу жилища волосовцев, уже каждый черепок, каждый скребок, каждая косточка оказываются исполнены значения. Они и вводят нас в ту жизнь; на них, как на опорных реперах геодезистов, возникают очертания исчезнувшего мира, и красный затаённый огонь кусочка янтаря вдруг освещает увиденное внезапно прорывающейся догадкой.

В таких предметах всегда есть что-то иррациональное, и

разнятся они от других находок, от тех же скребков, как мысль отличается от её результата. Рабочий инструмент, утварь — всё это заземлено и утилитарно. Движение души и мысли возможно ощутить, лишь прикоснувшись к бесполезной, казалось бы, красоте, вычлененной человеком из окружающего его мира неясным желанием овладеть солнечным бликом, яркой вспышкой цвета, манящим очертанием, в котором глаз угадывает нечто не поддающееся выражению. И уже через эту иррациональность перекидываешь мостик к тайной мысли, выдающей себя то амулетом из кости, вырезанной в виде медвежьего зуба, то подвеской из резца бобра, вроде тех, что лежат во впадине древнего жилища.

Иногда мне становится страшно, когда, раскладывая по пакетам кости, я вижу воочию, как изменился человек за эти тысячелетия, как неизменна природа, не поспевающая за человеком. Кое-что человек уже успел уничтожить, но лоси ещё живут в наших лесах. Они расплодились особенно широко за послевоенные десятилетия на зарастающих вырубках, на молодых лесопосадках, но бобры на берегах Плещеева озера были выбиты ещё до появления здесь Петра I. Были выбиты в прошлом, потому что сейчас они нет-нет да появляются в результате многолетних усилий звероводов, пытающихся возродить на лесных речках колонии этого симпатичного трудолюбивого народца.

Вот и в здешних краях, где некогда на озёрах, ручьях и болотах стояли их хатки, бобры были выпущены перед самой войной. И исчезли. Все полагали, что опыт оказался неудачным и бобры погибли. Впору было начинать всё сначала, но оказалось, что бобров похоронили преждевременно.

Они объявились за год до моих первых раскопок на Польце, причём довольно курьёзно, о чём мне ещё тогда рассказал Володя Карцев, и теперь изредка появляющийся в нашем доме.

Лето было ещё суше и жарче, чем нынешнее, вода в Вёксе и в озере приспала, на перекатах ниже усольской плотины лодки скребли днищами о камни и дресву, а от Польца до Плещеева озера по берегу можно было пройти не замочив ног. То там, то здесь над лесами всплывал дымок, за которым взрывались лесные пожары, на полях трескалась каменеющая земля, и только на купанских торфоразработках творилось что-то необъяснимое: всё заливала вода.

Удивительный факт был налицо, хотя верить ему никто не хотел. Однако, поскольку дело касалось производства, а работать из-за воды было нельзя, специальная комиссия взялась за обследование магистрального канала, по которому вода с фрезерных полей и из Купанского болота выходила прямо в озеро

Сомино. Канал был длинным, он шёл через старые карьеры, оставшиеся от того времени, когда торф резали вручную ещё лопатами, и которые успели с тех пор зарасти почти непроходимыми зарослями осинника и березняка по стенкам. Здесь-то и наткнулись члены комиссии на причину непорядка.

В тишине заброшенных карьеров, куда не забредёт ни охотник, ни случайный прохожий, где много вкусной и мягкой осины, обосновалась колония бобров. Борясь с засухой, они поднимали свои плотины, и в конце концов вода пошла назад, на фрезерные поля.

Что было делать? Ломать плотины? Это казалось самым простым и разумным решением, но бобры с ним не согласились. Несколько раз они восстанавливали разрушенные плотины и запруды, и столько же раз люди приходили и ломали их — до тех пор, пока бобры не ушли куда-то ещё. И лишь потом кто-то на предприятии догадался, что проще прокопать новое колено магистрального канала, на этот раз прямо в реку. Нет, не из-за бобров — из-за того, что весь канал заилился и уже не мог служить как вначале. Бобры не были в этом виноваты. Как выяснилось напоследок, они только потому и начали строить здесь свои плотины и хатки, что вода в канале начала застаиваться, а сам он — мелеть…

Осенью следующего года я бродил по перемычкам старых карьеров, осматривал разрушенные бобровые плотины, поваленные и разделанные на короткие чурбачки деревца, остатки хаток и думал, как важно было для человека общение с этими природными ирригаторами и строителями.

Я не оговорился, общение — вот наиболее верное слово. С присущим человеку высокомерием мы почему-то замечаем только один аспект взаимоотношений человека и животного, аспект потребительский, смотря на дикое — вольное — животное лишь как на объект охоты, источник пищи, кожи, меха, поделочных материалов. Один берет всё это вместе с жизнью животного, а другой… даёт? Ну а как это всё выглядит с точки зрения животного? Только ли потенциального убийцу видит оно в человеке? Пожалуй, нет. Иначе не стали бы звери тянуться к человеку, искать его внимания и дружбы, как то было всегда, вплоть до настоящего времени, когда льнёт к человеку уже и хищник. Выгода? Безопасность? Сытость?

Или же впрямь зверю нужно что-то иное, что может он получить только от человека?

Какой же у зверя с человеком общий интерес?

А он есть, и, по мере того, как современная наука открывает во всём живущем разум, заменяя им «инстинкт», измышленный

теологами, дабы только в одном человеке утвердить бессмертие души, вопрос этот встаёт всё более остро перед нами, рождая мысль об ответственности человека за судьбу его «братьев меньших»… Ведь это они когда-то учили человека.

В самом деле, изучая повадки зверей и птиц, приглядываясь к ним, становясь поневоле этнологом, охотник древности бессознательно перенимал у них опыт приспособления к окружающей среде, к природе. Искусству возводить хижины, строительству запруд и заколов для ловли рыбы он учился у бобров, перегораживающих лесные ручьи и речки. Они же были для него первыми лесорубами, и очень вероятно, что именно резец бобра подсказал человеку идею резца и долота. И первые жилища, пригодные для наших холодных зим, как можно видеть, человек строил, оглядываясь на конструкцию бобровой хатки. Но главный урок, который могли бобры дать человеку, — урок исключительного миролюбия и терпимости, которые царят на территории бобровых колоний. В бобровой хатке вместе с её хозяевами живут змеи; на искусственных водоёмах, поднятых бобрами, гнездятся водоплавающие птицы, здесь же ловит рыбу выдра. Мирные, неустанные строители, бобры подсказывали человеку возможность перестройки природы, что сами они осуществляли с неизменным старанием.

Вот почему мне не кажется удивительным, что человек, благодарный за науку, объявлял своим родоначальником, духом-покровителем то или иное животное, подсказывавшее в трудную минуту решение, заботившееся о членах рода.

В отличие от своих предшественников, боги-герои могли всегда предъявить конкретный список заслуг перед людьми, отнюдь не ограниченный своим общим к ним благорасположением. Озирис был первым земледельцем Старого, а Гайавата — Нового Света; Прометей подарил людям огонь, как это делали все Прометеи на всех континентах, а Ильмаринен был первым кузнецом в холодной Карелии. До них были боги-дарители. Они дарили людям тепло, свет, обильную пищу, устанавливали обильные рыбой или зверем годы. Казалось бы, между героем и богом разница невелика. Но в этой смене понятий лежит как бы «инфляция идеи». По мере того как иссякали дары богов, человек начинал понимать, что обречён искать свой собственный путь — тяжёлый, трудный, на котором каждый шаг стоит жизни, где каждое личное завоевание имеет цену лишь тогда, когда его можно распространить на остальных

Именно тогда впервые — плохо ли, хорошо ли — забрезжила догадка младшего Карамазова о «единой слезинке». Стал меняться критерий — изменилась и награда. Трудно, очень

трудно было стать человеку богом. Но вместе с тем лишь небольшое расстояние всегда отделяло бога от человека — не мощь, не власть, нет: любовь и сострадание. Любовь и понимание.

Так бог становился Человеком…

49

Последний день больших раскопок. Завтра уже не придёт под окна многоголосая крикливая орава ребятишек, чтобы со звоном и спорами разбирать из-под навеса лопаты, доискиваясь по каким-то тайным меткам, где чья.

Теперь у меня остаются мои ребята и Оля с Игорем. С завтрашнего дня начинается обработка находок, их классификация, предварительное изучение, склейка черепков. На раскопе я буду вычерпывать профили ещё не засыпанных стенок раскопов, зарисовывать их, отбирать различного рода образцы, писать отчёт. Ну и время от времени будем вести разведку, выбираясь на Сомино озеро, спускаясь по Нерли, чтобы в августе продолжить раскопки на Дикарихе, когда приедет мой приятель, тоже археолог, из Ленинграда.

Слава подходит ко мне с планом и протягивает папку:

— Второй раскоп закончен, товарищ начальник. Всё!

И словно эхо откликается Игорь:

— Раскоп закончен, Андрей Леонидович! Всё перекопали…

Школьники стоят, опираясь на лопаты. Ещё не наступило время положенного перерыва, и, привыкнув к работе, они ощущают сейчас какую-то растерянность, смотря на вскопанное дно раскопа, где для них уже нет места. Но вместе с тем и удовлетворённость: всё-таки они справились с заданием, строительство может продолжаться, а для них наступают долгожданные каникулы. Да, всё. На первом раскопе нам осталось зачистить стенки, чтобы сфотографировать, а потом и засыпать их. До следующих раскопок.

Следующие раскопки? Когда они будут? Через год? Через десять лет? Вполне может случиться, что тогда Польцо будет копать кто-либо из этих ребят, если его поманит к себе история, и, вернувшись в такое же, как это, лето на Вёксу, он невольно вспомнит эти раскопки, этот день и, может быть, поймёт то, что чувствую я сейчас, глядя на перевёрнутые, перебранные руками отвалы земли.

Земли человеческой…

— До свидания, ребята! Счастливого вам лета!

Последние школьники ещё виднелись на мосту через Вёксу, когда ко мне подошёл Данилов. Вот с кого надо было бы всём нам брать пример: такой заряд оптимизма заключён во всём его облике, такая уверенность дышит в каждой чёрточке его сияющего лица, что, ей-богу, моего Василия Николаевича можно было бы прописывать всем в качестве безотказного лекарства

против меланхолии и уныния!

А ведь я знаю, что далеко не всё у него идёт гладко, да и трения с начальством за последнее время как-то уж очень стали явными.

— Ну что, — приветствовал он меня, как всегда, крепко пожимая руку, — завершающий аккорд — и конец? Или только очередной перерыв в наступлении на наше хозяйство? Совсем ребят отпустил?

— Отпустил. Пусть отдыхают. Но для нас здесь работы ещё непочатый край… Так что не рассчитывай на скорое завершение — раньше чем через месяц прокладывать водопровод не позволим.

Главный инженер махнул рукой.

— Водопровод! Вспомнил! Никто его здесь и не собирается строить. Ещё весной всё перепланировали. Ты со своими черепками и не заметил, что мы с той стороны насыпи его пустили. Всё уже выкопано, поставлено, засыпано… Ты думаешь, там времянка, как я тебе говорил когда-то? Не беспокойся, всё фундаментально сделано, и никаких дополнительных затрат не понадобится. Проморгал ты этот кусочек, проморгал!

Действительно, проморгал. Хотя подозрения были. А мог бы заметить, что с некоторых пор мой приятель перестал интересоваться, когда же мы освободим территорию для строительства. Ну а что касается новых дотаций… В конце концов все мы реалисты, и я прекрасно понимал, что всё возможное я и так получил со строительного управления.

Поэтому я рассмеялся и хлопнул Василия Николаевича по плечу:

— Знаешь, Вася, все мы не лыком шиты! Неужели же ты думаешь, что у меня глаз нет? Но есть и соображение. Ты навстречу мне пошёл, до весны проект не переделывая? Пошёл. Ну и спасибо. Теперь ты проект переделал? Переделал. И за это спасибо…

— А здесь-то за что, чудак человек?

— За то, Вася, что строительство на эту сторону больше не полезет и оставшаяся нераскопанной часть сохранится для будущих археологов, которые рано или поздно сюда придут, чтобы узнать о прошлом куда больше, чем это удалось нам…

Он посмотрел на меня хитро, и улыбка раздвинула его рот до ушей, которые засветились красными фонариками.

— А я-то считал, что ты больше о себе стараешься, чем о других! Думаю, дай ему возможность, так всё здесь разнесёт, на обоих берегах, под корень сроет… — И посерьёзнел. — Правильно это. Вот и Слава Королёв, с которым мы тут у тебя поцапались…

Когда он меня за плотину ругал, тоже ведь прав был, что тут скажешь. Но и я прав, — встрепенулся он с петушиной лихостью. — Придумаем ещё, как и реку запрудить, и воду чистую оставить! Правда, не мне это уже, наверное, делать придётся… Вон в Калинин зовут, там места у меня родные…

— Со своим не сработался? — спросил я, понимая на что намекает главный инженер.

— Со своим, — согласился Василий Николаевич и вздохнул. — Да какой он, к шуту сказать, свой? Нет у нас с ним понимания. Думаешь, так бы легко он тебе деньги отпустил, если бы я его каждый день не грыз? Чёрта с два! Ну да ладно. Сделали мы с тобой дело? Глядишь, не здесь, так ещё где-нибудь сделаем! Как это дружок твой ярославский поёт: «…Не надо печалиться, вся жизнь впереди…» Вот и у нас с тобой тоже жизнь — и если не вся, то всё-таки впереди большая и лучшая часть, верно?!

50

…После обеда я сидел за сметой, подсчитывая оставшиеся финансы и израсходованные человеко-дни. Дней накопилось много, средств осталось мало. Михаил и Слава были на реке, где поочерёдно до посинения испытывали новую конструкцию копья для подводной охоты — сочетание бамбукового колена удилища с алюминиевой вилкой на конце.

Через открытую дверь до меня донёсся голос Юрия:

— Здесь он? Или опять куда-нибудь уехал?

Юру я ждал с двенадцатичасовым поездом. Он писал, что приедет сразу же, как только закончится экзаменационная сессия в его институте. По моим расчётам, последний экзамен должен был быть дней пять назад. Своего приятеля я ждал все эти дни, и сегодняшний должен был быть последним. Но вот и двенадцатичасовой поезд пришёл, а Юрия всё не было. Дорогу сюда он знал не хуже меня, и беспокоился я только об одном: чтобы вместо Купанского он не оказался, скажем, в Кандалакше или в Коктебеле, от него это можно было ожидать.

— А вот и я! — сказал Юрий, входя в комнату и сбрасывая рюкзак. — А почему ты не на работе? Я решил, что ты уже на Дикариху перебрался: на раскопе никого нет, стенки почти все присыпаны… Где же остальные?

Вместо того чтобы ехать на поезде, Юрий, по старой памяти, как это делали мы раньше, приезжая на рыбалку, отправился по берегу пешком, поскольку мотовоза, как он объяснил мне, нужно было ждать около получаса. Поэтому он шагал по шпалам, по береговым стоянкам, попутно залезая в озеро, и вместо двенадцати часов прибыл в четыре. Всё это он объяснил, распаковывая свой рюкзак и выкладывая вещи, которые я заказал ему в письме.

— А ружье привёз?

— Ружье привёз. И продукты тоже. Писем тебе нет. А кормить будешь?

— Кормить буду. У тебя ведь, как всегда, ни ложки, ни миски, ни кружки?

— Ну, ты это брось! Я сам их заворачивал в газету…

Юра копается в рюкзаке. Появляются круглые батарейки для фонаря, два пузырька диметилфталата, маски, ласты и трубки, шерстяные носки, одеяло, бутылка с подсолнечным маслом, которое в изобилии имеется в здешних магазинах, пачки сахара, кофе…

— Странно… Ведь сам клал в рюкзак!

Не было такого, чтобы Юрий взял с собой миску и кружку. Всё что угодно, только не это!

Пока разогреваются уха и макароны, оставшиеся после обеда, мы идём на реку: Юра — ещё раз умыться, я — с ружьём. Михаил сидит на берегу синий, завернувшись в мохнатое полотенце, и, клацая зубами, пытается что-то объяснить Славе, который, взбивая воду ластами, периодически исчезает в яме. При виде подводного ружья Михаил вскакивает, почти вырывает его у меня из рук и начинает отчаянно кричать приятелю, чтобы тот отдал ему маску и ласты.

— Это тоже твой? — спрашивает Юрий, который знаком по прежним экспедициям только со Славой.

— Ну ч-что, п-приехал? Здорово! — Слава вылезает из воды и, дрожа, стягивает с себя маску. — А м-мы уже на Ди-дикарихе были!

Михаил плюхается в воду, краем уха схватив, как надо заряжать ружье. Берегитесь теперь, язи!

— А что, есть рыба? — спрашивает Юрий.

— Во! — разводит руками Слава. — И даже больше! Я сейчас щуку видел. Под самыми корягами. Ещё маска есть?

— Есть. Только я сам посмотрю сначала…

Но Слава, подпрыгивая, чтобы согреться, уже мчится к дому.

— Проворные ребята, — говорит Юра, намыливая голову.

Над рекой разносится торжествующий вопль. От неожиданности Юрий выпускает из рук мыло, и оно, бледнея, медленно уплывает на дно.

Михаил, совершенно ошалевший от восторга, отплёвываясь и взмучивая воду, потрясает гарпуном с трепещущим на нём подъязком. Вернувшийся с маской Слава ещё больше синеет — на этот раз от зависти.

На вечернем совете принята программа на ближайшие дни.

Завтра и послезавтра заканчиваем профили и закапываем стенки. Если останется время — начнём камеральную обработку. В субботу после полудня отправляемся на Сомино. Гуляем два дня; Слава с Мишкой хотят пойти в Хмельники к Славиному деду, а оттуда — в Бармазово. Теперь это просто небольшая полянка в лесу, носящая название деревни, сгоревшей во время литовского нашествия. Хмельниковцы рассказывали, что там находили монеты, какие-то вещи, а я, прочёсывая этот район в 1957 году, наткнулся на старое деревенское кладбище. И вот ребята решили отправиться в «собственную» экспедицию, получив от меня инструкции и запасшись всеми раскопочными принадлежностями, вплоть до маленькой бутылочки с разведённым на ацетоне «БФ». Нас с Юрой манит Нерль и Сомино.

51

Страсть забирает человека быстро и прочно. Открытый ребятами совсем недавно подводный мир с появлением ружья словно приобрёл новую ценность и обширность. Время исчисляется «от воды до воды». Если по утрам мы просто купались, то теперь вопрос, кто встанет раньше, стал вопросом личного соперничества: первый вставший завладевает ружьём.

Утром вода тиха и прозрачна. Её ещё не перемешали моторы, за ночь осела муть, и рыбы разбредаются по подводным лугам на кормёжку.

В яме под корягами затонувших кустов притаились язи.

Утром солнце высвечивает яму до дна. Медленно, стараясь не шуметь, подплываешь к холодной серовато-зелёной глубине, откуда словно чёрные кораллы поднимаются сучья затопленных кустов. Сгибаешься пополам, выбрасываешь в воздух ноги и стремительно пикируешь на дно. Под коряги нужно подбираться снизу. Вначале нас пугало это чёрное неподвижное кружево, когда кажется, одно лишь неверное движение — и сучья схватят тебя, вцепятся в ласты, и ты будешь, задыхаясь, барахтаться в подводном плену…

Страх прошёл после первых погружений. Яма стала привычной и обжитой. Мы узнали ходы и выходы, знаем, где и как надо повернуться, и, поднимаясь, слушаем, как ломаются под водой чёрные веточки с лёгким льдистым звоном.

На завтрак у нас снова появляются жареные язи.

Днём, в перерыве между работой, мы берём лодку и отправляемся вверх по реке, за Польцо. Здесь среди зелёных коридоров с жёлтым песчаным дном, где вспыхивают в иле обломки раковин, и колышущимися стенами, сотканными из зелёных нитей водорослей, мы ищем щук.

Чем меньше рыбёшка, тем она храбрее и любопытнее. Пескари, щурята, плотничья и окуневая мелюзга, юркие серебряные брызги верхоплавок — все они толкутся перед тобой, лезут к маске, щекочут ухо, и, даже размахивая руками, не сразу удаётся их отпугнуть. Они словно знают, что при таких размерах на них не позарится ни один подводный хищник, притом огромный. Уклея — та держится осторожно, обходит стороной, как, впрочем, и плотва, пытающаяся сохранить между собой и пловцом известную дистанцию. Обходной маневр, неторопливая ретирада за куст, в яму, под затопленное дерево — вот арсенал уловок окуней. Язи бросаются от охотника стремглав, и поразить их можно только при молниеносном пикировании сверху, как это

удаётся нам делать на яме перед домом.

Поэтому самой благодатной добычей оказывались щуки, ни одним движением не выдающие своего присутствия и подпускающие охотника на верный выстрел, если только он успевал его сделать.

Щук не сразу удавалось распознать в тёмных, толстых обрубках, висящих над дном среди зарослей, и, лишь уловив устремлённый на меня жёлтый тусклый глаз, я спохватывался, поднимал ружье, но щуки и след простыл… Зато с какой гордостью, с каким объяснимым тщеславием, выйдя победителем из такой борьбы, можно было подплыть к лодке и, не снимая маски, небрежным движением швырнуть на дно добычу!

И сейчас, когда мы с Юрием стаскиваем в лодку снаряжение, готовясь к поездке на Сомино, по-моему, Михаил колеблется: не поехать ли с нами, оставив Славу одного идти в Хмельники?

Дело в том, что ружье берём мы.

52

Сгущая темноту до плотности почти осязаемой, пламя костра выхватывает из ночи светлые стволы сосен, взъерошенные, неподвижно нависающие над головой ветви, выступающие в отдалении кусты. Но вот языки огня сникают, сокращаются, как бы уходят в себя, чтобы снова рыться среди раскалённых светящихся веток, лизать обрубки деревьев, снова набираться сил для борьбы с мраком. Сведённый с неба огонь, похищенный кусок солнца… Чудо, живущее рядом с человеком, спутник его в долгих скитаниях по земле. Тянутся сквозь тьму на огонёк люди, веря, что там, где огонь, там и жизнь; сбиваются плотнее вокруг костра, и вот уже не страшен беззвёздный мрак, холод пустынь и завтрашний день, потому что вместе с теплом в сердце вливаются новые силы и гонят прочь мысли об одиночестве…

Мы с Юрием лежим у костра, молчим, следим, как огонь пожирает ветки, подбрасываем ему новую пищу и слушаем, как постепенно всё громче и настойчивее начинает клокотать закипающий на костре котелок.

С озера доносятся сонные всплески рыбы. Ночь тиха, но и в полной тишине своей она полна множеством живых звуков. То близко, то далеко за нашими спинами потрескивают внезапно веточки, как будто там ходит кто-то большой и осторожный, выглядывая наш костёр; шуршат стебли прошлогодней травы, сухой лист, и нельзя понять — то ли это скользит змея, то ли пробирается мышь, то ли вышел на свою ночную охоту ёж… Внезапно где-то у Хмельников, далеко, начинает ухать филин, жутко, совсем по-человечески разражаясь истерическим смехом. И, откликаясь ему, в камышах тревожной разноголосицей вскрикивают утки, словно пугаясь собственных снов.

Странные мысли приходят ночью в лесу. Кажется, сколько уже исхожено, сколько ночей проведено вот так у костра — и в одиночку, и с собакой, и со спутниками. — в непогодь, в вёдро, весной, летом и осенью, в наших среднерусских лесах и на Севере, у реки, у морей, возле озёр, да и где ещё, не припомнить, а каждая ночь — своя, наособинку. Иной раз среди леса под марлевым пологом от комаров чувствуешь себя как в городской квартире; а другой раз, даже и не один. — глаз не сомкнёшь, как будто бы ходит вокруг, подстерегая твою оплошность, неведомая опасность, что-то чужое, чуждое… И сколько ни случалось мне разговаривать с бывалыми охотниками, почти каждый сознавался, что приходилось ему перед неведомым, которое так и не становилось понятным «чем-то».

Но здесь, на берегу Сомина озера, почему-то всегда я чувствую удивительный покой, сродни тому, что ощущаешь в родном своём доме. Даже эти непонятные шорохи в трески в ночном лесу, крики филина и мрак за пространством света не таят в себе ничего враждебного или тревожного, как будто над всем вокруг — озером, костром, окрестными лесами — в эту июльскую светлую ночь распростёрт невидимый, но надёжный покров, защищающий тебя от всего зла, всех враждебных сил…

Пламя сникло, костёр прогорел. Надо подбросить дров.

Сухие сучья сосны ломаются с пистолетным треском. Обломки летят в костёр, вместе с дымом взлетают искры, потом вспыхивает пламя и с гуденьем взметается вверх. Поредевшая было темнота отступает и снова плотнеет.

Словно откликаясь на наш, вспыхивает костёр в устье Вёксы. Он медленно перемещается к центру озера, и на воду от него ложится мутно-золотая полоска света, теряющаяся в серебристом сверкании лунных бликов.

— Смотри, кто-то с лучом вышел, — говорю я Юрию.

Он поднялся вместе со мной и, пока я занимался костром, успел уже расставить миски на покрытом бумагой плаще, нарезать хлеб, развернуть масло. Во втором котелке уже настоялась уха, и когда Юрий снимает крышку, из-под неё вырывается облако пахнущего рыбой пара.

— Наверное, кто-нибудь из посёлка, — говорит он, всматриваясь в далёкий огонь. — Только что-то они не ко времени… Ну как, начнём? А то перестоится…

К миске с ухой нельзя прикоснуться — до того горяча. Я сдуваю к одному краю попавших туда комаров, вдыхаю густой аромат свежей ухи и думаю, что сегодняшний день кончается так же хорошо, как он был начат.

Из дома мы выбрались уже перед полднем, отправившись на этот раз без мотора, на вёслах. Михаил и Слава помогли нам перетащить лодку через плотину, а потом мимо гряд подсобного хозяйства, мимо Купанской школы направились в Хмельники самой короткой дорогой. Они далеко опередили нас, пока мы крутились в извивах Вёксы, пробираясь к озеру, и, выйдя из камышей к островку, я только успел заметить их фигуры, мелькнувшие здесь, на Торговище, перед поворотом в лес. Но нам с Юрием некуда было торопиться. Пройдя через Сомино, мы добрались до начала Нерли Волжской. Она течёт в таких же низких, болотистых берегах, но вдвое, а местами втрое шире Вёксы, глубока, полноводна, и на её дне желтеют чистые речные поляны, окружённые густыми подводными зарослями.

Поочерёдно, иногда вместе, мы спускались с Юрием в воду,

подплывали под нависающие торфяные берега, и через час в лодке лежало уже несколько крупных окуней, порядочный щурёнок, а Юрию даже удалось подстрелить золотистого скользкого линя, забредшего сюда из илистого озера. Ершей мы натаскали удочкой.

Потом, когда солнце стало уже неприметно склоняться к вершинам леса, мы вытащили лодку на топкий берег возле Торговища или, как ещё называют это место, возле Хмельниковской горки, где находится одно из самых крупных неолитических поселений, меньшее, чем Польцо, но достаточно обширное и богатое находками. До темноты мы успели заложить два небольших шурфа и, убедившись, что слои в общих своих чертах повторяют слои Польца, разбили лагерь под соснами. Если нам завтра повезёт, как сегодня…

Уха кончилась. Разваренные, с белыми глазами, окуни лежат на дне мисок.

— А эти, похоже, сюда плывут, — замечает Юрий, поглядев в сторону озера.

Действительно, огонь на воде переместился, стал ближе к нам. Сейчас рыбаки обшаривают дно в поисках неподвижно, словно аэростаты, повисших полосатых окуней и тёмных зелёных щук. Вот огонь словно потускнел: это повернулась лодка, и стоящий с острогой рыбак закрыл от нас пламя.

— Помнишь, как в прошлом году на май мы с тобой здесь же сидели? — задумчиво произносит Юрий, откинувшись на одеяло. — Луна, туман… А на озере костры. Сколько их было? Пятнадцать?

— Вроде бы пятнадцать, — припоминаю я.

— Сначала дугой стягивались к одному берегу, потом рассыпались по озеру, снова в дугу выстроились… Никак забыть не могу. Ну, прямо танец костров! А ведь так же было в неолите, да? Вот и подумай: каменный век в ста тридцати пяти километрах от Москвы! А в этом году ты здесь на май был?

— На Сомине? Нет, не был. И озеро было на праздники закрыто. Каменный век, говоришь? Похоже. Только учесть надо, что вместо костяных гарпунов теперь стальные, из веретён, а вместо смолья, с каким ещё я когда-то здесь ходил, автомобильные скаты жгут: и горит лучше, и хватает дольше, и заготовлять смольё в лесу не надо… В общем, каменный век, но с транзистором!

Откинувшись назад, Юрий дотягивается до кучи хвороста и, ухватив нижнюю ветку, с натугой тянет по земле всю кучу. Снова ломаем сухие ветки. Костёр оживает. Жар сначала ласкает, потом разом обжигает лицо, и, отставив в сторону посуду, мы

забираемся в спальные мешки.

— Ну что, достаточно тебе сегодняшней шурфовки? — спрашивает Юрий.

— Маловато сделали. Завтра надо пораньше приняться.

— А говорил ведь, что отдыхать будем. Всегда вот ты так!

— Ладно ворчать. Спать, в сущности, и в Москве можно…

Не спится. Юра ворочается, подтыкает плащ вокруг спального мешка, примеривается и так, и эдак, накрывается с головой, на минуту затихает, но сон не идёт, и он поворачивается ко мне:

— Прочти что-нибудь.

— Что именно?

— Что хочешь. Ну, хотя бы из прошлой осени.

Я сажусь, прислоняясь спиной к холодному и шершавому телу сосны. За спиной — лес. Он безглазо смотрит на костёр из темноты, и ты чувствуешь этот полувзгляд, полуприкосновение чего-то невидимого, почти неощутимого, что словно проникает в тебя, пытаясь в тебе разобраться и тогда уже принять решение, что именно делать с тобой. На озере движется огонь — медленно, как бы раздумывая, куда пристать или не приставать вовсе, а вот так скользить по глади, разрезая мерцающий лунный свет.

Закрыв глаза, я снова чувствую на веках тепло огня — не этого, а того костра, разожжённого в одну из холодных осенних ночей на суходоле среди тоскливых бурых болот, из которых я не успел выбраться до темноты, — болот с сухостоем, чахлыми тонкими берёзками и уже закрасневшей клюквой на низких пружинистых кочках. Я пристроился под широкой раскидистой елью, костёр уже прогорел, лишь изредка вспыхивали язычки пламени, когда внезапно в освещённый круг вдвинулась из темноты голова матёрого лося с тяжёлым взглядом налившихся кровью глаз. Ноздри его были раздуты, он искал соперника и теперь смотрел на меня через костёр, наклонив тяжёлые пластины рогов, словно знал, что в обоих стволах у меня была только дробь.

Я лежал не шевелясь. Мы смотрели друг на друга не мигая — человек и зверь, может быть, тотемный предок рода, к которому тысячелетия назад принадлежали мои предки. И к которому продолжал и теперь принадлежать я сам, не ведая того, унаследовав сквозь череду поколении право на этот лес, эти болота, эти реки с их рыбой, право на то, чтобы вот так глядеть в упор на этого лесного великана. Внезапно лось поднял голову, фыркнул, то ли презрительно, то ли негодующе, и исчез, так же неслышно, как появился…

— Ладно, слушай:

Хорошо. Тишина низошла покрывалом.
Поднялись небеса и открыли другие миры.
Шорох гаснущих звёзд, глубокое мерцанье кристаллов —
Так рождаются мысли, так гаснет безумный порыв.

Еле смутно и сонно приходят, проходят виденья;
Сеткой путаных вех — перепутья, тропинки, пути…
Снова ищешь во тьме затерявшийся путь поколений…
По колено в болоте, в воде отражаясь, брести!

И, неслышно возникнув, родными пушинками снега
Дым созвездий сливается с горьким дымком от костра.
Изваянием лоси застыли в стремлении бега,
И трепещущий мускул сжимает неведомый страх.

Так шуршат тростники, так мучительны птиц перелёты,
Что, забыв о вчерашнем и вверивши душу ружью,
Ты осенними зорями снова бредёшь по болотам,
Отдавая природе и горе, и радость свою!..

Огонь на озере погас. По болоту хлюпали шаги. Потом, как бы раздвинув темноту, у костра появились рыбаки. Впереди шёл старик в ватных штанах и замасленной телогрее, из прорех которой выпирала серая клочковатая вата. За ним — молодой парень в грязном брезентовом комбинезоне, с чёрным от сажи лицом, в подвёрнутых болотных сапогах.

— Добрый вечер! Погреться можно?

— Присаживайтесь.

— Тоже по рыбу?

— Нет. Экспедиция.

— Нефть ищете? Это не ваша партия в Усолье стоит?

— Нет, не нефть. Раскопки ведём.

— Это какие же?

— Да они, батя, черепочки копают у моста.

— А-а, у Кузнецова, у Романа Ивановича, значит, стоите? То-то, смотрю, личность мне ваша знакомой показалась, — думаю, встречались али как? Вон оно что, черепочки копаете, значит! И здесь тоже копать предполагаете? Указания есть какие?

— Да, и здесь тоже. Люди-то первобытные везде здесь жили…

— Да ну? И на Хмельниковской горке? Скажи ты! А вот так ходим всю жизнь, ночуем здесь когда, а про то не знаем… Вот что наука-то значит. До всего дойдёт!

— А как рыбалка? Закололи что? — влезает в разговор Юрий.

Парень, прикуривший сигарету от головни, выпрямился.

— Есть немного…

— Ты вот подумай, и здесь нашли, — удивлялся старик. — И как же это вы, с приборами какими ищете? Верно, значит, деды говорили — мой вот, к примеру, из Хмельников я родом… Так, дескать, из самого Углича купцы сюда приезжали, здесь останавливались, товар продавали… А товар какой? Горшки больше. Сейчас всё Хмельниковская горка да Хмельниковская горка, а раньше её Торговищем звали, торговали здесь. Должно, какие-ни-то горшки у них и бились…

Все рассмеялись. Я пытаюсь объяснить:

— Нет, отец, мы постарее ищем, подревнее. Этак, чтоб им по три, по четыре тысячи лет было.

— Это как же понимать надо? Что ли, когда поляки приходили, при Грозном, а их наш Александр Невский выгнал? Так я понимаю?

Вся история перепуталась в голове старика!

— Нет, отец, ещё древнее.

— И нешто находите?

— Находим.

— Ну, пошли, батя, дай людям отдохнуть!

— Ты погоди, Ванька, погоди. Дай мне с учёным человеком поговорить! А к примеру вот — какие же люди это были? Вроде обезьян, что ли?

— Да нет, почему же? Такие же, как и мы с вами. Только железа у них не было, всё из кости да из камня делали.

— Ишь ты, додумались до чего! — В голосе старика слышится уважение к непонятному. — И находите?

— Конечно. Раскапываем и находим. Вот жили здесь, на берегу, так же, как вы, острогой рыбу били…

— Строга-то из чего у них была? Железа-то, сам говорить, не было?

— Из кости. Затачивали кость, зубцы делали, на палку насаживали и били рыбу.

— И находили вы такую-то строгу? Али только предположения есть?

— Здесь ещё нет, но у моста нашли. Так что всё точно.

— А рыба какая у них была? Про то неизвестно?

— Тоже известно. Такая же, как и сейчас: щуки, лини, сомы, окуни, плотва, налимы…

— Со-мы?! А сейчас здесь сомов нет — разве что в Кубре, у Андриянова. Может, по тем древним сомам это озеро Соминым и стало прозываться?

Старик разволновался не на шутку. Новый, неведомый мир, существовавший испокон веку в этом знакомом от рождения

мире, открывался ему сейчас. Но сын торопил его:

— Хватит, батя, ехать надо! Мало рыбы взяли. Ну, счастливо вам оставаться!

— Спасибо. Ни рыбы, как говорится, ни чешуи!

— И вам того же…

Встав, они направились к лодке — старый и молодой, оба кряжистые, с узловатыми мускулистыми руками, привыкшими и к веслу, и к топору, и к лопате, чтобы в земле копаться.

— Ишь ты, тоже люди, значит, — донеслось из темноты…

Юрий, поворочался в спальном мешке и затих.

Сон долго не шёл. Я лежал и смотрел на звезды, прислушивался к тоненькому звону комаров, что кружились над нами и отлетали, испуганные запахом диметилфталата, которым я старательно намазал перед сном лицо.

Сколько раз вот так же, на этом месте, люди разжигали костёр, и круг света, брошенный им на землю, становился — пусть на короткое время — для человека «домом». И теперь, и недавно, и много, поколений назад…

Потом звезды закачались, поплыли куда-то в сторону, вниз; они текли надо мной широкой мерцающей рекою, а спиной сквозь мешок, плащ и ветки я ощущал медленное вращение земли, которая несла нас, этот костёр, ночной лес и влажное близкое озеро сквозь темноту сияющего пространства…

Наверное, я вздремнул и очнулся, когда сквозь сон услышал, как Юра поправляет костёр. Но это был старик с сивой, немного всклокоченной бородой, без шапки, в короткой меховой телогрее, переделанной из старого полушубка. Отсветы огня плясали на его руках — старых, оплетённых верёвками синих вен; суставы пальцев распухли от застарелого ревматизма, и сгибал их он с трудом, пододвигая в огонь уже наполовину сгоревшие ветки.

Вытертые штаны до колен были замотаны онучами, на ногах были лапти, которые ещё плели иногда в Хмельниках на покос, а перепоясывал его лыковый ремень, на котором висела берестяная солоница и что-то вроде оселка.

В траве, немного поодаль, виднелось тёмное косовище.

«Вот не спится старому! — подумал я. — Ни свет ни заря на покос собрался… А косу что ж на земле положил?»

Заметив моё движение, старик поднял голову и посмотрел на меня. В свете костра лицо казалось кирпично-красным, а глаза, голубые и прозрачные, взблёскивали добро и внимательно из-под седых нависших бровей. И весь он был спокойный и уютный, этот деревенский дед с большими трудовыми руками, огрубевшими от крестьянской работы.

— Ты, извини, разбудил тебя, видно, милок! — не сказал, а

словно пропел старик. — Да вот у костерка посидеть захотелось. Авось, думаю, хозяева не обидятся, старика не прого- нят…

— Да что вы, пожалуйста! Какие же мы хозяева, костёр — он для всех светит.

— Вот и я то ж думаю! Дак ведь люди-то разные бывают. К одним сам придёшь и поговоришь, и уважение тебе сделают, и ты их уважишь. А другие так просто: ещё стороной обходи, чтоб не обидели! Разные люди, каждый на свой манер…

Старику хотелось поговорить. Видно, передумал он уже давно все свои думы, перебрал их, как нехитрый скарб, и нужен был ему собеседник, чтобы можно было выговориться, освободиться от груза, что собрал он за всю свою жизнь. И от радости, что нашёлся человек, которому всё это можно пересказать, он словно молодел на глазах, и лицо его менялось от вспышек пламени, а я думал: сколько же лет ты прожил, дед, на этой земле? Семьдесят, девяносто или все сто?

— Да вот, к примеру сказать, ночевали тут одни. Тоже на лодке приехали, с мотором, егерь с ними, Иван Егорыч, из охотхозяйства, видно, начальники большие. И палатки у них, и ружья, водки навезли — страсть! Пьют, стреляют… А что, спроси их, стрелять? Нешто охота сейчас разрешена? Птицу — её жалеть надо, жалеть! Тоже жизнь у неё своя, сроки свои. Ты по осени её бей, птицу-то, когда в перелёт идёт. А летом — одно смертоубийство это. Тоже я к ним пришёл, подсел, вроде разговор завести, а они — пошёл, говорят, отсюда, старый хрыч! Наше это место, мы всё могём! Ну да я что — пошёл. Что с пьяным-то сделаешь — ещё стрельнет тебя с перепою. Мне уж Егорыч говорит: «Уходи от греха подальше! Сам плачусь, что связался, да — приказ…» Однако схоронил птицу — не побили ни одной. А не углядишь — потом только пёрышки собирай… Беречь её надо, вот что! Разве прежде столько её было!

— А что — больше?

— И-и, куда там! По осени перевесь ставили, сотнями вынимали. А лук так, для баловства только, чтобы глаз не ослаб…

— Из лука?!

— Какой лук! Баловство одно для ребятишек! Для настоящей охоты снасть нужна. Охотник — это тебе не на моторе гонять. Ты знай, где зверя найти, как взять его лучше… Дело своё любить надо! А зверя али птицу без толку переводить — это у нас не водилось. И рыбу опять же…

— Так сейчас, отец, охота да рыбалка вроде баловства остались, как вы говорите. Не то теперь время. Другим делом люди заняты.

— А дело-то одно всегда — сам знаешь! Люди разные. Ты вот,

к примеру взять, можешь рыбу ловить? Можешь. Глаз у тебя крепкий? Крепкий. А чем, к примеру, занимаешься? Наукой… И опять же тебя всё к старому тянет: там поохотишься, там рыбу поудишь, ушицы сваришь… Всё равно как меня — нет-нет да на старое пепелище потянет. Кто, думаю, там сидит, что за люди такие?

— А вы лесник? В Хмельниках живёте?

— В Хмельниках! — не то подтвердил, не то презрительно фыркнул старик. — Лесовик, лесовик…

Бормоча, дед склонился к огню. И, разговаривая, он всё время двигался: то бревно в костёр пододвинет, то веточку поправит…

— Много копать-то будете? — вдруг спросил старик.

— Пока не знаю ещё. А удастся ли что найти — это как повезёт.

— Ну, ты найдёшь. Я тебя давно ещё заприметил — поди уж который год сюда приходишь. Видать, помнишь ещё, где что было?

— Помнить, положим, не помню — сотню лет и то прожить трудно, а здесь тысячи. Наука просто у нас такая — археология называется. Наука о древностях. Поэтому и находим. Правда, здесь ещё и везение нужно: наука наукой, да и на счастье надейся!

— Счастливые, говорят, в сорочках рождаются. Только счастье у разных — разное: одному и в золоте горько, а другому и вовсе ничего не надо — радость у него есть своя! Да что о науке говорить: когда бы сам не жил, то и не знал бы ничего, так я понимаю. Не в книжках правда, хотя тоже польза от них…

От тихого и неторопливого голоса деда подступала и накатывалась дрёма. Она поднимала волной, и, пока голова скользила по ладони, я пролетал сквозь вереницы то ли слов, то ли мыслей, вздрагивал, открывал глаза, но дрёма снова смыкала веки.

Старик глядел через костёр, ласково улыбаясь.

— Ты спи, спи. А я у огня посижу — в охране вроде. Дело наше стариковское… Человека любить надо, человека!.. И к тебе удача не так приходит, не за науку твою. Любишь то, что человек сделал, да не само по себе, а за того человека. Главное это!

Засыпая, сквозь несомкнутые щели век я видел, как старик ещё раз поправил костёр и поднял с земли то, что я принимал за косу. На конце длинной отполированной палки было привязано чёрное остриё — кремнёвый наконечник, обмотанный жилами и залитый смолой. Старик что-то мурлыкал себе под нос, глядя в огонь и поглаживая рукой древко.

Потом встал и подошёл ближе.

— Не признал… Ну да бог с ним — ещё признает! Да и где ж ему всех упомнить. Не один здесь я жил — род-то большой наш, древний… А он — пришёл и ушёл. Вот в подарок разве оставить — своего-то теперь у него нет. А мне что, я и другое сделаю! Сноровка осталась…

Старик ещё раз погладил древко копья, словно прощаясь со старым другом, нагнулся и осторожно положил его рядом со мной, наконечником в руку. Я почувствовал прикосновение холодного камня, сжал его и, собрав все силы, проснулся.

Над лесом уже вставало солнце. От росы трава казалась матово-серебристой, и в этой дымке вспыхивали маленькие капельки, преломлявшие солнечные лучи. Туман поднялся, уходил за озеро, а в лесу гомонили птицы.

Юра, вскочивший раньше меня, то прыгал и размахивал руками, делая зарядку, то бросался к почти погасшему костру и выдувал из него облака золы с бедными жиденькими искорками.

Ещё под впечатлением пережитого я разжал руку. На ладони лежал наконечник копья. Он был не чёрный, как мне показалось ночью, а серый, с крупинками чёрной земли, забившейся в изломы камня. Мы нашли его вчера в разведочном шурфе на полянке. Когда-то он действительно увенчивал длинное полированное древко, был привязан к нему жилами и залит смолой. Но всё это было очень давно.

Из развязавшегося мешочка с находками на плащ высыпались черепки.

— Что ж, мне одному костёр разжигать? — Юра повернул ко мне раскрасневшееся лицо.

Отбросив клапан мешка, потяжелевшего от ночной сырости, я поднялся.

— А старик что, ушёл?

— Какой старик?

— Ночью. Приходил к нам?

— Приходил. С парнем приходил. А потом ушли.

— И никого больше не было?

Юра с ожесточением дул на разгоравшиеся угли.

— Пока я не заснул — никого. А я и не знал, что ты во сне разговариваешь! Всю ночь: бу-бу-бу… Хотел было разбудить тебя, чтобы спать не мешал, да лень просыпаться было. Ну, вот что: вот тебе котелок. Сходи-ка ты к ручью за водой, пока я костёр раздуваю…

По пути к ручью я остановился. Далеко, в самом углу озера, на Лочме, кто-то косил.

* * *

…Из капли, просочившейся в песке,
среди корней появится ручей;
зазеленеет яркая трава,
роса слезами в воду упадёт…
Зеленым мхом и разноцветным камнем
под пенье птиц, гудение шмеля,
под сенью листьев, жаждущих прохлады,
бежит он и струится вдаль и вдаль…
Он даст начало будущей реке,
он даст приют в своих глубинах рыбам,
над ним качнутся кисти тростника,
слюдой крыла сверкнут над ним стрекозы,
и парус, побелевший от дождей,
на солнце выгоревший от скитаний,
покинет пристань. Вдаль, к другим причалам
исчезнет в предрассветной синеве…

А на вершинах гор ещё туман…
Встречай рассвет — он не для всех наступит
Единый, он несёт тоску разлуки
и радость обещаний новых встреч…

Единственный, уже неповторимый,
сверкающий, мерцающий, туманный…
Мы помним, что за тучами есть небо,
что под землёй родятся родники!

53

И этот день прошёл — сухой, жаркий, солнечный, полнившийся ожиданием каких-то свершений, но перевернулась его светлая страница, и я опять ощущаю тепло костра, тишину ночного леса, слежу за искорками, взлетающими вверх, теряющимися и исчезающими среди холодных и неподвижных искр звёзд.

Впрочем, так ли уж неподвижных?

Маленькая, сверкающая точка движется между ними по прямой, но кажется, что она плутает, останавливается и петляет, как странник, пробирающийся сквозь лесную чащу. Наверное, это и есть тот самый спутник, о запуске которого мы слышали по радио ещё в Купанском. В Купанском — словно бы уже в другом мире или хотя бы в другом измерении. Там были свои дела, свои заботы, как в городе, где человек редко-редко поднимает голову к небу, а ещё реже просто рассматривает его, как рассматривает небо охотник, завернувшийся в одеяло возле теплящегося костра, — карту судеб и свершений, карту грядущих дорог, ведущих нас к неведомым нам самим целям. Вот почему эта маленькая звёздочка, собранная и запущенная в небо человеческими руками, предстаёт чем-то совсем иным, когда смотришь на неё с неолитического поселения на берегу пустынного лесного озера.

Она заставляет тебя по-иному ощутить и Время, и Пространство, но главное — ощутить Человека.

Ведь это где-то здесь, среди дымных костров неолита, рождалась первая мечта о звёздах; здесь тянулась к ним беспокойная мысль, которой требовалось всё понять и осмыслить; здесь создавались проекты таких точнейших солнечных и других обсерваторий, какзнаменитый Стоунхендж в Англии, как центры астрономических наблюдений в Карнаке, вычислялись спирали каменных лабиринтов, лежащих на берегах северных морей. У этих костров был заложен фундамент, лёгший в основу стартовых площадок первых космических кораблей Земли, и здесь же создавались первые легенды о звёздных скитальцах, легенды о Пространстве и Времени, как завет последующим поколениям не забывать неба, ибо уже тогда человек чувствовал, что ему суждено перерасти Землю и устремиться к звёздам.

Что сказали бы эти люди, увидев нашу жизнь? Какие мысли пробудил бы в них этот спутник? Нет, конечно, не у всех — только у тех, кто почему-то считал своим долгом вычислять точки восходов и закатов, углы склонений подвижных и неподвижных

звёзд, составлять и держать в уме сложные математические выкладки, быть может, переносимые на орнамент сосудов, на украшение оружия, на костяные наконечники магических стрел.

А может быть, кто-то из них уже видел нечто подобное? Потому что человечество вряд ли одиноко во Вселенной, и хочется верить, что кто-то уже не раз преодолевал пустоту Пространства, чтобы разыскать собратьев по разуму, но каждый раз возвращался назад, убедившись в преждевременности поиска…

И глядя на пламя костра, в котором открывается нам бушующая плазма гигантских реакторов Вселенной, мерцающих искорками на черно-синем бархате неба, я начинаю догадываться, что весь этот день с его заботами, радостями и раздумьями нужен был для того лишь, чтобы с неолитической стоянки увидеть в небе эту рукотворную звезду, ощутив в себе связующее звено между прошлым и будущим. Звено не случайное, а необходимое, без которого будущего может и не быть, если в самих себе мы не почувствуем его рождения.

54

История совершенно невероятная, но чего только в экспедиции не бывает!

Как правило, на подводную охоту мы отправляемся к озеру. Там чище вода, обширнее подводные заросли, меньше лодок. Длинные широкие плёсы сменяются там глубокими ямами с корягами и солнечными отмелями на поворотах. И почему-то ни разу не пришло нам в голову спуститься в Вёксу возле Польца. Потому ли, что именно там мы купаемся каждый день во время рабочих перерывов? А вернее всего, просто потому, что всегда сокращаем путь, обходя Польцо боковой протокой мимо дома Корина.

Сегодня, возвращаясь с охоты, мы изменили своему обыкновению и пошли главным руслом. В лодке лежали три язя, несколько плотвиц и две корзохи — более чем достаточно на скромный ужин. И всё же, пристав к Польцу, я решил попытать счастья и здесь.

Отплыв от берега вверх по течению, я глубоко вдохнул и нырнул. Здешняя яма походила на длинное изогнутое корыто. В отличие от остальных она была чиста и пуста: ни коряг, ни водорослей. На дне заиленного желоба мерцала россыпь битых раковин, и только слева, со стороны стоянки, берег был крут, над ним нависали корни подмытых кустов, а на выходе из ямы под водой чернел разлапистый затопленный пень.

Дальше, за пнём, дно светлело, становилось песчаным и плавно поднималось к перекату.

Под этим пнём я и заметил щуку. Короткая, с широкой плоской мордой и тёмной змеиной спиной, она стояла неподвижно, повернувшись против течения, и только едва заметные подрагивания хвостового плавника да хищное мерцание жёлтых глаз выдавали её в этой полутьме. Я разглядел её в самый последний момент, уже готовясь всплыть, и от неожиданности промахнулся. Как на грех, вместо тройника на стрелу был поставлен одинарный наконечник с откидывающейся «бородкой».

Стрела скользнула по упругой щучьей спине, ударялась о корень и отскочила в сторону. На месте стоявшей щуки расплылось мгновенное облачко мути.

Отдышавшись на поверхности, я подтянул стрелу за шнур. Вот те на! А где же наконечник? Видимо, пока я охотился, он каким-то образом свинтился со стержня, и последний выстрел отбросил его куда-то на дно реки. Промахивались мы, как водится, часто, но наконечников гарпуна до сих пор не теряли. И,

к слову сказать, второго одинарного наконечника в запасе у нас не было. Так что волей-неволей приходилось искать.

— Поищи, поищи, — напутствовал Михаил, которому, как я заметил, почему-то всегда были приятны мои неудачи. — Так он тебя там и дожидается! Где ты его среди ила найдёшь? Тут с магнитом спускаться надо…

— Может, в самом деле не стоит искать? — осторожно спросил Юрий. — Тройников у нас два, обойдёмся тройниками…

— А щуки? Не очень-то ты с тройником на щук поохотишься! — запротестовал Слава, который всё ещё продолжал растираться после воды. — Нет, если уж искать, то всем!

Конечно, можно было искать всем, но я понимал, что от четырёх пар ласт в воде поднимется такая муть, что уже и нас самих не будет видно. И, приготовившись к долгим поискам, полез в воду один.

На песчаном, чуть заиленном дне лежали черепки с ямочно-гребенчатым орнаментом, вымытые рекой из культурного слоя, кремнёвые желваки, мелкие чёрные сучки, пропитанные влагой так, что они стали тяжелее самой воды. Между ними, похожие на такие же сучки, шевелились слепленные из песчинок, кусочков коры, стебельков домики ручейников, или, как их называли здесь, косолапок. В лучах пробившегося на дно солнца ослепительно вспыхивали распахнутые створки старых раковин.

Подводный мир Вёксы был чист, светел, удивительно хорош, и мысль о том, что мрачное пророчество Королёва может сбыться, вызвала у меня мгновенный озноб, когда я представил всё это великолепие затянутым вязким илом. а прозрачную воду — превратившейся в ту сине-зелёную зловонную жижу, которую можно видеть перед теперешней плотиной у посёлка. «Нет-нет, это невозможно», — уговаривал я себя, гоня прочь ненужные мысли.

Вновь и вновь я спускался под воду, методично обследуя дно, но заметил свой наконечник совсем не там. где он должен был лежать по моим предположениям. Удар отбросил его далеко в сторону под обрывистый берег, в тень, и там, почти невидимый, он улёгся среди похожих, только более тёмных, палочек и сучков. Я схватил его вместе с одной из этих веточек, но, ещё поднимаясь, ощутил, что в моём кулаке, кроме металлического наконечника гарпуна, зажато совсем не мокрое дерево. Самый беглый взгляд, брошенный на добычу, это предположение подтвердил. В моей руке был…

— Ну как? — спросил Юрий, когда я подплыл к берегу и встал на дно. — Бесполезно?

Вместо ответа я протянул ему руку. На моей ладони лежал потерянный было стальной наконечник с откидывающейся «бородкой», а рядом с ним — почерневший от времени и воды обломок наконечника костяного гарпуна, почти такого же, как тот, что я разрушил ножом при раскопках.

— Тот самый! — ахнул Слава. — Ну ты даёшь, начальник!

Даю? Мне кажется, правильнее сказать — беру.

55

…Медленно, постоянно путаясь, отбрасывая и снова пододвигая к себе черепки, из которых пытаешься собрать сосуд, плетёшь на светло-жёлтых выскобленных ножом досках стола хитрую и нескончаемую мозаику мелких и крупных обломков. Они рассыпаны по всему столу. Рядом на полу веранды развёрнуты жёсткие шуршащие пакеты с новыми грудами обломков горшков, разбитых пять тысячелетий тому назад.

В каком пакете искать недостающие? Каждый пакет — квадрат, каждый пакет — горизонт: десять сантиметров культурного слоя. Десять сантиметров с четырёх квадратных метров, заключающих в себе сотни лет, десятки человеческих судеб, зимы и вёсны, солнечные дни и туманные рассветы… Десятки, сотни, тысячи обломков.

«Массовый материал», как именуют керамику на археологическом жаргоне.

Время от времени на веранде появляются ребята, вносят новые пакеты и забирают с собой те, что лежат горой в углу. Свесив ноги с обрыва, они моют находки, сушат их здесь же на солнце и загорают сами, отрываясь от дела, чтобы бултыхнуться в воду и поплавать с ружьём.

Так и идёт эта наша жизнь, в которой прошлое, очень далёкое прошлое, перемешано с настоящим, образуя крепкий и нерасторжимый сплав времён и чувств.

Это и есть археология?

В самом деле, что же такое археология? Наука о вещах? Наука об эпохах? Наука о человеке и природе? Трудно ответить на этот вопрос. Каждый археолог воспринимает свою науку по-своему. Вероятно, иначе и быть не может. «А ещё интересно, что под куском металлического предмета неизвестного назначения был найден хорошо сохранившийся фрагмент гриба-поганки. Окислы металла пропитали органическую часть гриба и сохранили его форму и структуру…»

Любопытно? Многие это любят. Почему? Из-за чувства удовлетворения, что ещё в глубокой древности на земле росли такие же грибы-поганки, как и сейчас? Дескать, «и на солнце есть пятна», и были всегда, и нечего на эти пятна кивать?

Но наука ли это в подлинном смысле слова?

Есть другие. Этих больше, они сродни кладоискателям, радуются количеству черепков, косточек, отщепов, подсчитывают их, не задумываясь, для чего это надо делать и надо ли вообще, старательно усматривают мельчайшие различия в предметах,

классифицируют их, забывая, что предмет — он всегда, с самого своего зарождения, существует и не изменяется, как изменяются растения, что из сочетания двух признаков, как в биологии, не может получиться третий, обладающий исходными формами… Нет, это тоже не наука.

Это всего лишь наукообразие, за которым скрываются растерянность и бездарность.

Наука — это совсем иное.

Как моряк всматривается с мачты корабля в невидимый и неведомый берег; как охотник, склоняясь к примятой листве, пытается угадать, что за зверь здесь прошёл, когда, почему именно здесь; как физик, проводя бесчисленные эксперименты над невидимыми ему элементарными частицами, пытается понять и разгадать закономерности, управляющие галактиками, так и археолог, рассматривая найденные предметы, вглядываясь в слои, должен понять, как в жизни своей прошли через этот участок земли люди, оставившие здесь свои орудия, сосуды, свои костры. Это похоже на то, как если бы перед нами лежало решение неведомой задачи — решение то ли правильное, то ли ошибочное; и сама задача неясна ещё для нас, как неясны исходные данные. Но по частичному решению, по приближенному конечному результату мы пытаемся восстановить весь процесс, найти возможные в нём ошибки, потому что для живущих процесс решения оказывается, как правило, во многих случаях важнее, чем конечный результат.

Археолог ищет законы, которые определили ход этого процесса, ищет человека, потому что только в человеке можно увидеть проявление этих законов. В частностях, в деталях он пытается понять закономерности, управляющие всем человечеством, действующие порой и сейчас, потому что история каждого племени, каждого человека в какой-то мере является отражением всего человечества. Но и это не цель, а средство. Целью всегда было и будет будущее. Сам человек — лишь зеркало, отражающее мир. Он — масштаб всех вещей, масштаб Вселенной, отразившейся в каменных орудиях, записавшей свои законы в этих черепках — законы, которые мы ещё должны найти и научиться читать, как учимся читать летопись климата по зёрнам цветочной пыльцы или летопись космоса по радиоактивным изотопам в древних углях…

Если человек достигнет обитаемых миров, первыми учёными здесь должны стать археологи…

За последнюю неделю в посёлке появились дачники. Весенняя плотва прокладывает дорогу в лето, и постепенно, как я успел заметить, в каждом доме, или в большинстве их, оказываются

«свои» москвичи. Другие, приезжающие сюда на машинах, устраиваются на субботу и воскресенье на берегу Вёксы — на противоположном от нас берегу, где шоссе подходит почти к самой воде.

И у Романа дачная страда. Банька в огороде — сам по себе целый дом: с двумя окнами, прихожей, с печью, ничуть не напоминающей банную печь, с чердачком над потолком… Поселились в ней москвичи, и теперь Лёня, смышлёный, всем интересующийся мальчуган, перешедший в четвёртый класс, всё время вертится вокруг нас. Он с удовольствием ловит с мостков рыбу, но с ещё большим удовольствием трёт щёткой в тазу грязные черепки и кремни, раскладывает их на солнце, заворачивает в пакеты и без устали расспрашивает обо всём.

Вот и сейчас он с моими ребятами моет находки и вместе с ними бултыхается в воду, убедившись, что в этот момент за ним не следит недрёманное око матери. Маску и ласты отец ему обещал привезти в следующую же субботу из Москвы.

Вчера Лёня был молчалив, сосредоточенно наблюдал, как я шифрую и подклеиваю черепки, и, не удержавшись, я его спросил:

— Лёня, а о чём ты сейчас думаешь?

Он помолчал, посмотрел на меня внимательно и серьёзно и тихо сказал:

— О вечности.

— Что-о? — Я был поражён. — О вечности? Это почему же? И вообще, как ты себе можешь представить вечность?

Похоже, он был несколько сконфужен и удивлением моим, и вниманием, но вопрос был задан, на него следовало отвечать, и всё так же серьёзно и тихо он произнёс:

— Вечность — это когда ничего не пропадает, никто не умирает, всё сохраняется, как оно есть…

— Послушай, дружок, но ведь этого быть не может, — возразил я, отложив черепки, на которых в этот момент чёрной тушью писал порядковый номер описи и шифр. — Видишь, вот даже и эти черепки… Ну, правда, им по четыре-пять тысяч лет, но разве это вечность? И всё равно они разбиты…

— А вот вы их сохраняете, — ответил он быстро. — Вы их и делаете вечными. Они же теперь никуда уже не могут потеряться, правда? Будут лежать себе в музее, на них будут смотреть. Я и думаю, что археология — это наука о вечности. Чтобы ничего не погибало. Сначала вот эти черепки, а потом, может быть, когда-нибудь — уже и люди, и всё остальное… Научатся же этому, правда?

Так-то вот… Значит, есть ещё и такое определение нашего дела. И сейчас, откинувшись на спинку стула, чтобы отдохнули

спина и глаза, я думаю, что, может быть, в этом определении, которое дал нашей науке десятилетний мальчуган — а ему и принадлежит, собственно говоря, будущее, — заключена немалая доля истины. Вот так: никто не забыт, ничто не забыто. Пусть хотя бы в идеале. Важно, чтобы не была забыта сама эта мысль, чтобы она жила с каждым человеком всё время; чтобы каждый знал, что от его памяти, от его чувства ответственности за сегодняшний день зависит день завтрашний, и ответственность эту нельзя переложить ни на чьи другие плечи…

Теперь, когда глаза отдохнули, надо встать и обойти вокруг стола, посмотреть на черепки с другой стороны. По-иному.

Они лежат передо мной на столе, похожие и не похожие один на другой. Для неспециалиста они все на одно лицо: толстые куски обожжённой глины, чуть выпуклые с одной стороны и вогнутые с другой, покрытые густой плотной сеткой конических ямок. Лишь иногда их разделяют полосы рубчатых отпечатков или продольных зубчатых оттисков, как если бы по пластилину прокатили небольшую шестерёнку.

В детстве, в том самом детстве, от которого сохраняются странные, похожие на куски разорванных страниц обрывки воспоминаний вроде горластого соседского петуха с павлиньим хвостом, что взлетел на плетень и разрывает тишину утра отчаянным воплем, или чашки кипячёного молока с морщинящей, точно живой, ненавистной пенкой, чашки с красным ободком и синенькими точками незабудок, — в том довоенном детстве я любил, разломав будильник и вытащив самую большую шестерёнку, с которой срывалась синеватая, тонко певшая пружина, оттискивать на пластилине именно такие следы. А потом кусок пластилина мялся в тёплой руке, и из него лепились фантастические звери: Змей Горыныч, верблюд с пятью горбами, соседский петух и верная лохматая Гилода, признававшая в своём собачьем сердце только одного маленького хозяина.

С годами пластилин исчез. И я не вспоминал о нём очень долго — до тех пор, пока не увидел вот эти самые неолитические черепки, украшенные ямочно-гребенчатым орнаментом пять тысячелетий тому назад.

Для тех людей это не было игрой. Для них это было жизнью, и, оттискивая ямки и зубчики, они не думали, что именно так оставляют свои следы во времени. Они, эти люди, начинали мять и тискать глину, наверное, в том же возрасте, в каком я и миллионы моих сверстников морщили лбы над только что полученной в подарок коробкой с палочками пластилина. Даже, наверное, раньше. Но тогда не было пластилина. Была просто глина — серая, чёрная, жёлтая, темно-красная, жирная и

зернистая, которая скатывалась в колбаски на ладонях, расползалась в лепёшки, от которой становилась мутной вода и в которой вязли ноги.

Эта глина воспринималась как откровение и оставалась с ними на всю жизнь. Это был их материал.

Для нас пластилин был игрушкой. Мы забывали его через два-три года, чтобы найти в жизни другой материал, для каждого свой, на котором нам предстояло оставить свои следы для тех, кто будет жить ещё через пять тысяч лет на этой земле, чтобы в свою очередь они могли сделать из него игрушку.

…Черепки разные. Толстые и тонкие, лёгкие и тяжёлые, красные, обожжённые до синевы, белые, чёрные, коричневые, гладкие и шершавые, с выпуклинами от ямок на обратной стороне, которые хранят отпечатки пальцев, прикасавшихся к ним; с рваными острыми краями или, наоборот, гладкими и стёртыми от воды, они похожи на осколки каких-то неведомых материков, на обломки судеб людей, которые их создавали и вкладывали в них частицы своего тепла и души. И сейчас, когда я выбираю из будто неиссякаемой кучи тот единственный, ещё не найденный черепок, который только и может подойти к тому, что держу в руках, мне кажется, что я пытаюсь собрать не горшок — высокий, яйцевидный, которому уже уготовано место под стеклянной витриной одного из музеев, — мне кажется, я хочу склеить, восстановить из обломков и пробелов тот неведомый, давно исчезнувший мир, в котором жили, боролись, который создавали люди, отделённые от нас плотной стеной времени.

56

Ребята присыпают стенки раскопа, утаптывают песок, чтобы не размыло дождями и талыми водами, закапывают в углах старые шпалы. Раскоп кончен. Идёшь и вглядываешься — вдруг что-нибудь не заметил? Вдруг то, что ищешь, лежит рядом, в трёх-четырёх сантиметрах от тебя, ждёт одного лишь удара лопаты?

— Вот погляди, какая штука! — крикнул Михаил и кинул мне кусок обожжённой глины.

Глина как глина, такая же, из которой лепили горшки с ямочно-гребенчатым узором, только обожжена похуже. Когда-то человек смял кусок её в руке, оттиснув на ней всю пятерню.

Может быть, тот человек лепил сосуд. Остался этот кусок, который был слишком мал, чтобы его стоило хранить. И вот машинально, в какой-то перерыв от работы, словно подводя итоги сделанному, он очистил свои ладони от прилипшей глины, скатал её в комок, смял и бросил. Почему? Чтобы поздороваться с кем-то пришедшим, как это делаем мы, когда входящий — из другой комнаты, из другого пространства, из другого времени — застаёт нас за работой?

Но через это движение, живущее в каждом из нас, через работу, труд, связующий человека с человеком, я вдруг почувствовал, как сблизились, сомкнулись, упали отделяющие нас пространства. Случайно ли бросил он этот кусок в костёр? Или он знал что-то о свойствах времени?

Я взял этот кусок так, как держал его в последний раз гончар, вложив свои, живые пальцы в отпечатки той руки. И в прикосновении шершавой, нагретой солнцем глины почувствовал слабое пожатие, дошедшее через тысячи лет, словно благодарность за память, за интерес потомков к своим предкам, за то, что — вольно или невольно — мы восстанавливаем связь поколений, казалось бы, навсегда разорванную временем, за продолжение того общего дела, которое называется Человечеством…

Вероятно, они всё же верили в нас. Они хотели, чтобы мы стали сильнее и лучше их, умнее и красивее; чтобы каждый человек чувствовал, что он не первый и не последний на этой земле, а стоит как бы в шеренге, в строю, где левый фланг уходит в глубины прошлого, а правый, на который он должен равняться, — в будущее.

Сохранить правильное равнение — может быть, в этом и есть смысл жизни, о котором я как-то допытывался у Романа?

****

Кончаются полевые дневники. Кончаются, чтобы начинались новые, но не кончается экспедиция, как не кончается жизнь. Потому что сама жизнь — это тоже экспедиция, полная находок и открытий, тягот и разочарований, но всегда влекущая и манящая неведомым: новыми людьми, новыми встречами, новыми делами. И как в любой экспедиции, в жизни тоже ищешь — ищешь себя, своё место в мире и ту тропинку, которую ты должен проложить.

Если только сможешь.

Несколько слов о первобытной истории Волго-Окского междуречья

Центральная полоса Европейской России уже более ста лет служит ареной интенсивных археологических поисков и раскопок, позволивших археологам составить представление об основных этапах древнейшей истории этого обширного края.

Волго-Окское междуречье, в центральной части которого лежит Переславль-Залесский и Плещеево озеро, после отступления материковых льдов последнего оледенения Европы было населено немногочисленными племенами охотников, часто передвигавшихся с места на место в поисках добычи. Они ещё не знали глиняной посуды, а вооружены были лёгким оружием с вкладными лезвиями из кремнёвых ножевидных пластинок. Эта отдалённая эпоха, которую археологи называют мезолитической, или среднекаменной, ещё плохо изучена.

Около пятого тысячелетия до нашей эры, когда холодные степи или лесостепи этого края зарастают лесами, а реки и озёра в условиях более влажного, атлантического климата становятся более полноводными, постепенно развиваются рыболовство и охота, которые более надёжно обеспечивают людей пищей и позволяют перейти к оседлому образу жизни. Об этом говорят исследованные археологами многочисленные поселения с остатками долговременных жилищ-полуземлянок, массой остатков костей животных и рыбьей чешуи, каменных и костяных инструментов и обломков глиняной посуды; эта посуда появляется именно в условиях оседлого образа жизни и свидетельствует о нём. Так происходит переход от мезолита к неолиту — новокаменному веку.

В неолитическую эпоху, то есть в основном в четвёртом и третьем тысячелетиях до нашей эры, на этой территории жили племена, выделывавшие очень своеобразную ямочно-гребенчатую или ямочно-зубчатую керамику — глиняную остродонную или круглодонную посуду, украшенную орнаментом в виде частых, глубоких, круглых ямок и отпечатков зубчатого штампа. На сотнях поселений этой археологической культуры жили люди, которые, по мнению некоторых исследователей, были предками древнефинских народов Восточной Европы; по мнению других, это было дофинноугорское и доиндоевропейское население, говорившее на каком-то особом, неизвестном нам исчезнувшем языке.

В конце третьего или начале второго тысячелетия до нашей

эры поселения с ямочно-зубчатой керамикой продолжают существовать, но наряду с ними появляются поселения с другой керамикой — толстостенной, с примесями растительных остатков или толчёных раковин к глине и украшенной крупным зубчатым орнаментом. Эта древняя культура была названа волосовской, по месту первой открытой её стоянки (недалеко от Мурома). В отличие от других неолитических племён волосовцы уже были знакомы с металлом и домашними животными. Судя по находкам в Среднем Поволжье и Прикамье, создатели волосовской культуры пришли на Оку с востока, из Волго-Камского междуречья, хотя окончательно вопрос о происхождении волосовской культуры до сих пор не может считаться решённым.

Второе тысячелетие до нашей эры, когда в употребление уже широко входит металл — медь и бронза, а основой хозяйства становятся животноводство и мотыжное земледелие, было временем бурных событий. В самом его начале на Оке и в Верхнем Поволжье появляются могильники, в которых погребённые лежат на боку, в скорченном положении, а сопровождают их очень своеобразные предметы, ничего общего не имеющие с вещами местных культур. Эта новая культура, названная фатьяновской, пришла сюда с юга, юго-запада или запада: дело в том, что она принадлежит к группе родственных скотоводческо-земледельческих культур Восточной и Средней Европы, для которых характерна такая бомбовидная глиняная посуда и каменные сверлёные топоры. Племена, создавшие эти культуры, считаются далёкими предками славян, балтов и германцев. Одна из нерешённых загадок фатьяновской культуры — отсутствие явных поселений.

Немного позднее, в середине второго тысячелетия до нашей эры, когда в степной и лесостепной полосе происходило расселение из Поволжья на запад племён срубной культуры, на Средней и Нижней Оке появились поселения поздняковской культуры, очень близкой к срубной. По-видимому, поздняковская культура возникла при смешении северной группы срубных племён с остатками местного неолитического и энеолитического населения. Поздняковское население, неся с собой прогрессивное земледельческо-скотоводческое хозяйство, большие прямоугольные жилища-полуземлянки, плоскодонную посуду и другие культурные особенности, постепенно расселялось и в Волго-Окском междуречье. Следы его ведут за Волгу и далеко на север.

Сложность культурной и этнической мозаики Волго-Окского междуречья ко второй половине второго тысячелетия до нашей эры усугубляется ещё одной культурой бронзы — абашевской, от

которой дошли до наших дней большие курганы. Наиболее полно памятники абашевской культуры изучены на Южном Урале и в Среднем Поволжье. Происхождение этой весьма своеобразной культуры, не похожей ни на одну из предыдущих, до сих пор не выяснено, но следы её заметны в более поздних, древнефинских могильниках начала железного века в Прикамье и на Оке.

В конце второго тысячелетия до нашей эры в результате сложного взаимодействия между местными и различными пришлыми племенами в Волго-Окском междуречье сформировалась новая, уже монолитная культура, для которой была характерна глиняная посуда с текстильными отпечатками и ещё кремнёвый инвентарь. От этой культуры в начале железного века взяла начало дьяковская культура укреплённых городищ, предшествовавшая славянам.

Нечего и говорить, что история и взаимоотношения населения, создавшего все перечисленные культуры, ещё во многом неясны; поэтому археологические исследования в Переславском районе представляют очень большой интерес. В этом сравнительно глухом крае, лежащем в стороне от таких больших речных путей древности, как Ока и Волга, с течением столетий оседали новые группы пришлого населения, но продолжали жить и древние местные племена, очень долго сохранявшие свои традиционные культурные черты. Такое смешение старого и нового привело здесь к созданию своеобразных культурных сплавов, отражающих очень сложные исторические процессы. Разобраться в них, распутать эти клубки подчас очень нелегко.

Автор книги «Голубые дороги веков» Андрей Леонидович Никитин в 50-х годах был студентом Московского университета и моим учеником; он участвовал в нескольких моих экспедициях, в частности на стоянке Сунгирь близ Владимира. Так у него сформировался интерес к изучению древнейшей, первобытной истории нашей Родины, и очень скоро он выступил уже как самостоятельный исследователь. Однако помимо научной его влекла и литературная работа, которой он отдавал немало времени ещё на студенческой скамье. И всё-таки, даже уйдя в литературу, А. Л. Никитин не хочет расставаться с археологией. Это желание принимает новые интересные формы, примером которых служит его книга. Ну что же, для популяризации нашей науки подобных книг очень не хватает. Пожелаем молодому автору успеха на этом пути.

1968

Доктор исторических наук профессор О. Я. Бадер

Географический указатель

Александрова гора. 44
Андрияново село. 123
Аринберд город. 7
Бармазово пустошь. 118
Беклемишево деревня. 13
Большая Песошница стоянка. 21
Вёкса река. 6, 13, 20, 21, 25, 49, 62, 80, 82, 84, 95, 102, 126, 127
Вёкса станция. 13, 16
Вёкса-3 стоянка. 21
Владимирова проезд. 5
Гора-Новосёлка село. 26
Гремяч гора. 91
Дикариха стоянка. 107–113
Игобла река. 16, 17
Кармир-Блур город. 7
Клещин город. 6, 33, 49
Козья горка. 25, 35
Копнино село. 89
Криушкино деревня. 105
Кубринск посёлок. 13, 16, 94
Кундыловка (в Криушкино). 111
Купанское болото. 114
Купань село. 30, 31
Куротня река. 90
Кухмарь урочище. 109
Лочма река. 125
Монаший остров. 25
Мшарово посёлок. 89
Нагорная улица. 111
Нерль Волжская река. . . 6, 25, 26, 102
Новгород город. 7
Новое село. 10
Овражная улица. 111
Плещеево озеро. 27, 49, 65, 93, 102, 103
Плещеевская улица. 8
Ржев город. 59
Рыбная слобода. 25, 49, 50, 62
Сомино озеро. . 6, 25, 49, 102, 114, 118
Талицы деревня. 88
Теремки стоянка. 65, 68

Торговище стоянка. 21, 120, 122
Трубеж река. 10, 49
Урёв. 6, 62
Усолье село. 24, 31, 44
Фатьяново деревня. 77
Хмельники село. 26, 90, 118
Хмельниковская горка. 120, 122
Черниговская улица. 111

Именной указатель

Александр Сергеевич. . 5, 14, 29, 46, 75
Анатолий. 83, 85, 86, 90
Антонина Петровна. 51
Афанасьевы. 3
Бабаниха. 62
Бочаров Сергей Тимофеевич. 64
Бочковы. 8
Вадим Васильевич. 5, 14, 18, 20, 29, 35, 44, 83, 85, 86, 88, 96
Валька Рыжий. 107
Валя. 38, 39
Вячеслав Михайлович. . 90–92, 95, 97, 99–101, 104, 105, 111–113, 117, 118
Данилов Василий Николаевич. . 18, 70, 81, 94, 95, 116, 117
директор школы. 70
Дюма Александр. 50
Евдокия Филипповна. 105, 110
Иван Егорович. 123
Карцев Владимир. . 38–40, 43, 89, 114
Кирилл монах. 25
Кирьянова Наташа. . . . . *см.* Валя
Корин Пётр. . . . 12, 16, 48, 54, 60, 61
Корнилов Валерий Николаевич. . . . . *см.* Данилов Василий Николаевич
Королёв Вячеслав Матвеевич 15, 16, 19, 89, 94, 95
Королёв Игорь. . 51–53, 61, 76, 88, 96, 99–101, 104
Корольков Вячеслав Матвеевич. . . . . *см.* Королёв Вячеслав Матвеевич
Кравченко Николай Петрович. . . . 86
Куза Андрей Васильевич. . . *см.* Вадим Васильевич
Кузнецов Константин Романович. 13, 64, 67
Кузнецов Павел Романович. 13, 17, 18, 20, 48, 88, 96
Кузнецов Роман Иванович. . 12, 17, 30, 54–57, 61, 75, 76, 96, 122
Кузнецова Лидия Романовна. 13
Кузнецова Прасковья Васильевна 12, 29, 30, 48, 56, 61, 75, 88, 111
Лапшин В. А. 32
Масин Н. П. 19
Михаил. . 90–92, 96, 99, 104, 113, 117, 118, 127, 130
Михайлов Назар Павлович. 30
Михайлов Степан Назарович. 31, 32, 38

Морган Л. 59
Морковников Валентин Иванович. . . . *см.* Свекольников
Морозов Илья. 107
Нестеров Юрий. 39, 41, 46
Новожилов Виктор. 8, 62, 67, 89
Новожилова Анна Егоровна. 62
Новожиловы. 6
Ольга. 52, 54, 99
Пётр I царь. 81, 91
Пичужкин Владимир Александрович 59, 60, 83
Попова Т. Б. 113
Пришвин Михаил Михайлович. . 8, 24, 30, 31, 91
Римма. 107
Савельев Павел Степанович. 32
Свекольников. 94
Смирнов Василий Иванович. . . 61, 68
Смирнов Михаил Иванович. . . 20, 91
Спицын Александр Андреевич. . . . 20
Третьяков Пётр Николаевич. 8, 20, 61, 109
Уваров Алексей Сергеевич. . . . 32, 77
Фёдоров Г. Б. 112
Филимон священник. 8
Фингерт Светлана. 107
Шмарова Зина. 51, 52
Юрий. 117–120, 125
Юрий Долгорукий князь. 10

Предметный указатель

автостанция. 11, 76
бобры. 66, 114, 115
Богородицко-Сретенский монастырь. 11
ботик «Фортуна». 82, 91
варница. 24
височное кольцо. 39
волосовцы. 100
жилище. 103, 114
черепки. 99
высверлина. 97
гарпун. 100, 101
Данилов монастырь. 24
долото. 23
захоронение. 39, 41–46, 108
зернотёрка. 72, 73
корова. 66
кошка. 61, 86
кремень. 59
культурный слой. 22
курий бог. 77
ложнотекстильная керамика. 84
лось. 66, 121
мезолит. 28, 58
монастырь
Богородицко-Сретенский. . . . 11
Данилов. 24
Никитский. 25
Троице-Сергиева лавра. 24
мост на Вёксе. 8, 19, 20
наконечник. 22, 127
неолит. 28, 57
нефть. 122
Никитский монастырь. 25
охра. 31
очаги. 75
палеолит. 28
Пезанпроб. 91
петеряг. 86
плотина. 25
подъёмный материал. 22
пыльца. 27

радиоуглеродный анализ. 74
раскоп. 75
роза ветров. 71
рыба. 97, 119
окунь. 97
плотва. 13
уклея. 60, 61
щука. 119, 127
скобель. 23
скребок. 23
спутник. 126
стоянка
Большая Песошница. 21
Вёкса-3. 21
Дикариха. 107–113
Теремки. 65, 68
Торговище. 21
тесло. 23
топор. 22, 77, 79
торф. 87
Троице-Сергиева лавра. 24
тюкалка. 86
узкоколейка. 8, 9, 12, 13, 117
фатьяновцы. 76–79, 98, 112
церковь
Введенская. 8
закладка. 41
Сорокосвятская. 49
Спасо-Преображенский собор. . 11
црен. 24
янтарь. 100, 104, 114

Оглавление

От редакции. 3
Дороги веков. 4
1. Сборы (29 апреля). 4
2. Где оно, Польцо?. 6
3. Переславль-Залесский (30 апреля). 9
4. Семья Кузнецовых. 12
5. Идёт плотва (2 мая). 13
6. С острогой на озеро (3 мая). 17
7. Финансы экспедиции (4 мая). 18
8. Беда с мотором. 19
9. Размечаем раскопы (8 мая). 20
10. Знаки прошлого (6 мая). 21
11. Едем на Сомино озеро (11 мая). 24
12. Морщины земли (10 мая). 26
13. Стоянка у соляных источников (12 мая). 28
[Стихи] (13 мая). 37
14. Володя Карцев и височное кольцо (16 мая). 37
15. Славянский могильник у Козьей горки (17 мая). 41
16. Погребение в условной ладье (19 мая). 43
17. Лето пришло (20 мая). 47
18. Пётр Корин (21 мая). 48
19. Рыбная слобода (22 мая). 49
[Стихи] (23 мая). 51
20. Наши первые рабочие (24 мая). 51
[Стихи] (26 мая). 52
21. Пробный раскоп (27 мая). 53
22. Роман Иванович Кузнецов. 54
23. Как жили люди на Польце (29 мая). 57
24. Геодезист Пичужкин (30 мая). 59
25. Ход уклеи (31 мая). 61
26. Урёв: стоянка Теремки (2 июня). 61
[Стихи] (4 июня). 68
27. Зачем нужна археология (6 июня). 68
28. Школьники на Польце. 70
29. История одного очага (7 июня). 71
30. Три слоя древних очагов (7 июня). 74
31. Фатьяновцы (9 июня). 75
32. Что останется после человека?. 80
33. Участники экспедиций. 83
34. Открытие железа и открытие тюкалки (10 июня). . . . . .

35. Форма предмета как символ идеи. 87
36. Катастрофа на узкоколейке (12 июня). 87
37. Обошлось (13 июня). 88
38. Школьники из Копнина. 89
39. Валы на Куротне (16 июня). 90
[Стихи] (17 июня). 94
40. Совещание по развитию торфоразработок. 94
41. О созидателях и потребителях (18 июня). 95
42. Подводный мир Вёксы (19 июня). 97
43. Высверлина: важная находка. 97
44. Волосовская керамика и гарпун (20 июня). 98
[Стихи] (21 июня). 101
45. Какая опасность грозит озеру. 102
46. Волосовский янтарь (22 июня). 103
47. Дикариха (23 июня). 104
48. Величие бобров (24 июня). 113
49. Василий Николаевич Данилов (27 июня). 116
50. Юра привёз ружьё. 117
51. Подводный мир Вёксы (29 июня). 118
52. Ночь на Торговище (30 июня). 119
[Стихи] (2 июля). 125
53. Под спутником. 126
54. Наконечник гарпуна. 126
55. Что такое археология (4 июля). 128
56. Раскоп закончен (5 июля). 130
Несколько слов о первобытной истории Волго-Окского междуречья. *О. Я. Бадер* . . 132
Географический указатель. 134
Именной указатель. 135
Предметный указатель. 136

От публикатора fb2-версии

В настоящем файле, подготовленом для библиотеки Либрусек (http://lib.rus.ec/), нумерация страниц удалена в тексте книги, но все отсылки к страницам сохранены в географическом, именном и предметном указателях, а также в содержании (в котором к тому же есть точная датировка описываемых событий). Это позволяет с точностью до главы найти нужный термин, что вполне достаточно для чтения неспециалистом.

Для специалистов, нуждающихся в корректном указании цитат рекомендую pdf-файл http://vedomsha.narod.ru/nikitin-1980.pdf

J.R.

notes

Примечания

1

Никитин, А. Л. На древней земле Залесья / А. Л. Никитин // *Коммунар*. — 1964. — 16 августа. — С. 4.

2

Куза, А. В. Славянский могильник в пос. Купанское близ Переславля-Залесского / А. В. Куза, А. Л. Никитин // *Краткие сообщения Института археологии*. — 1965. — № 104: Средневековые памятники Восточной Европы. — С. 117–120.

3

Экспедиция плыла на лодке отца Филимона, священника Введенской церкви г. Переславля. Он жил в доме № 8 по Плещеевской улице. — *Ред.*

4

П. Н. Третьяков проводил раскопки на Польце в 1938 году. (*Третьяков, П. Н.* Верхне-Волжская экспедиция / П. Н. Третьяков // Краткие сообщения Института истории материальной культуры. — М., Л.: Издательство АН СССР, 1939. — Т. 1.) — *Ред.*

5

Может показаться, что белый камень возили из Волжской Булгарии; это мнение ошибочно. Хорошее объяснение даётся в книге: *Викторов, А. М.* Белый камень / А. М. Викторов, Л. И. Звягинцев. — М.: Наука, 1981. — С. 18, 79–81. — *Ред.*

В действительности фрески были сняты в 1892 году. (*А., С.* Из архива Археологической Комиссии Владимирской губернии: Переславский Преображенский собор / С. А. // Известия Археологической комиссии. — СПб., 1908. — Выпуск 26: Вопросы реставрации. — С. 62–74.) — *Ред.*

7

Эта дрезина была подарком Василия Сталина узкоколейной железной дороге, напоминанием о военно-воздушном полигоне, бывшем когда-то возле Переславля. (*Герасева, М.* Царская охота / М. Герасева // *Переславская неделя*. — 2003. — 30 апреля. — С. 8.) — *Ред.*

8

Дело было в сентябре 1957 года. (*Куза, А. В.* Славянский могильник в пос. Купанское близ Переславля-Залесского / А. В. Куза, А. Л. Никитин // *Краткие сообщения Института археологии*. — 1965. — № 104: Средневековые памятники Восточной Европы. — С. 117–120.) — *Ред.*

Столб ставился в 1956 году. (Там же.) — *Ред.*

Сейчас автор с удовольствием отмечает, что представления тех лет о методах раскопок А. С. Уварова и П. С. Савельева не соответствуют действительности. В результате долгого скрупулёзного изучения музейных и архивных материалов ленинградскому археологу В. А. Лапшину удалось установить, что всё найденное в курганах П. С. Савельевым было строго документировано. Благодаря фиксации находок в журнале раскопок исследователь смог восстановить около 70 процентов всех комплексов вещей из погребений, которые были перепутаны уже после смерти обоих археологов. Научный подвиг В. А. Лапшина в этом случае оказывается подвигом и гражданским, позволившим полностью реабилитировать память о зачинателях русской археологической науки от наветов их невежественных преемников, к которым в данном случае вынужден причислить себя и автор. — *А.Л.Никитин*

11

Это были раскопки 1958 года. (*Куза, А. В.* Славянский могильник в пос. Купанское близ Переславля-Залесского / А. В. Куза, А. Л. Никитин // *Краткие сообщения Института археологии*. — 1965. — № 104: Средневековые памятники Восточной Европы. — С. 117–120.) — *Ред.*

12

Владимир Дмитриевич Карцев родился в 1941 году, а значит, в 1958 году ему было 17 лет. — *Ред.*

13

Тем не менее, Л. Б. Сукина беззастенчиво утверждает, что в Переславль Дюма с Нарышкиным не заезжали. (*Сукина, Л. Б.* Елпатьевская одиссея Александра Дюма / Л. Б. Сукина // Любитель природы: экологический сборник / Составитель А. Н. Грешневиков. — Рыбинск: Рыбинское подворье, 2002. — С. 338–343.) — *Ред.*

14

Автобусная станция была тогда в центре города, рядом с мостом через Трубеж. — *Ред.*

15

Раскопки Дикарихи начаты в 1959 году. (*Никитин, А. Л.* Дикариха (По материалам раскопок 1959–1960 гг.) / А. Л. Никитин // Материалы и исследования по археологии СССР. — М., Л.: Издательство АН СССР, 1963. — Т. 110. — С. 203–226.) — *Ред.*

16

В Переславле тоже есть Кундыловка, выселки. Сегодня это улицы Овражная, Черниговская, Нагорная, а также два Нагорных проезда. — *Ред.*